

Annotation

В мире есть Зло. Это точно знают обитатели психиатрической больницы, они даже знают его имя и должность — старшая медсестра Рэтчед. От этой женщины исходят токи, которые парализуют волю и желание жить. Она — идеальная машина для уничтожения душ. Рыжеволосый весельчак Макмерфи знает, что обречен. Но он бросает в чудовищную мясорубку только свое тело. Душа героя — бессмертна...

* * *

Кен Кизи
Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Часть четвертая

notes1

* * *

Кен Кизи

Пролетая над гнездом кукушки

Вику Ловеллу, который говорил мне, что драконов не существует, а потом завел меня прямо в их логово

«...Кто-то летит на запад, кто-то летит на восток, а кто-то летит над кукушкиным гнездом.»

Детская считалка

Часть первая

Черные ребята в белых костюмах занимались в холле сексом и, прежде чем я успел поймать их на этом, быстренько убрали шваброй все следы.

Они терли пол, когда я вышел из общей спальни: трое в скверном расположении духа, ненавидящие всех и вся – время дня, место, где они находятся, людей, с которыми им приходится работать. Когда они в таком настроении, лучше не попадаться им на глаза. Крадусь по стенке – тихий, словно пыль на моих холщовых туфлях. Но у них специальное оборудование, чтобы засечь мой страх, и потому они оборачиваются, все трое разом, глаза блестят на черных физиономиях, как металлические трубки старого радио.

– Вот и Вождь. Отлично, Вождь Швабра. Иди-ка сюда, Вождь Швабра.

Всучили мне в руки швабру и показывают, где надо прибираться, и я иду туда. Кто-то из них шлепает меня метлой по заднице, чтобы поторапливался.

– Смотри, забегал. Такой длинный, что мог бы сожрать яблоко у меня с макушки, а таскается за мной, как ребенок.

Смеются, а потом слышу, как они шепчутся у меня за спиной, наклонившись друг к другу. Жужжание черной машины, жужжание, в котором звучат ненависть, смерть и прочие больничные секреты. Они не беспокоятся, высказывая вслух свои ненавистные секреты, когда я рядом, – думают, что я глухонемой. Другие тоже так думают. Я достаточно хитер, чтобы всех дурачить. То, что я наполовину индеец, помогает мне в этой грязной жизни быть хитрым, помогает все эти годы.

Я тру пол перед дверью в отделение, когда снаружи в замок вставляют ключ. По тому, как его поворачивают в скважине – мягко и быстро, словно человек только этим и занимался всю жизнь, я понимаю, что это – Большая Сестра. Она проскользнула в дверь – с ней в отделение прорвалось немного холода, – заперла ее за собой. Вижу, как ее пальцы оставляют туманный след на полированной стали. Ногти того же цвета, что и губы. Забавно, они такие оранжевые, словно кончик включенного паяльника.

У нее в руках плетеная сумка, какие продают горячим августом на шоссе индейцы племени ампуа, похожая на ящик для инструментов, с пеньковой ручкой. Она у нее все эти годы, что я провел здесь. Узор редкий, и я могу видеть, что внутри: ни пудреницы, ни помады – ничего из обычного женского набора. В сумке тысяча всяких вещей, которые она намеревается использовать сегодня в деле, исполняя свои обязанности: колесики и всякие приспособления, зубцы, отполированные до жуткого блеска, крохотные пилули, которые отсвечивают, словно фарфоровые, иглы, часовые шипчики, мотки медной проволоки...

Проходит мимо меня, кивает. Я отхожу следом за шваброй к стене, улыбаюсь и стараюсь обмануть все ее оборудование – обмануть, насколько это возможно, не давая ей увидеть мои глаза. Если глаза закрыты, они не смогут о тебе много сказать.

В темноте слышу, как ее резиновые каблуки отстукивают по кафелю, и содержимое плетеной сумки позвякивает в такт шагам, когда она проходит по

холлу мимо меня. Шаг у нее твердый. Когда я открываю глаза, она уже прошла через коридор и входит в стеклянное помещение сестринского поста, где просидит целый день за столом и, глядя в окно, будет следить за тем, что происходит прямо перед ней в дневной комнате на протяжении всех восьми часов. Эта мысль делает ее лицо довольным и умиротворенным.

А потом... она засекает черных парней. Они все еще стоят вместе, переговариваясь. Они не слышали, как она вошла в отделение. Теперь почувствовали, что она на них смотрит, но слишком поздно. Должны были раньше думать, а не собираться группой и болтать, когда она уже на посту – в отделении. Их головы дернулись в разные стороны, лица смущенные. Она пригнулась и крадется туда, где они всем скопом попали в ловушку, – в дальний конец коридора. Она слышит их разговор, приходит в ярость и начинает лупить черных ублюдков куда попало – в такой она ярости. Она раздувается, раздувается – белая форма вот-вот лопнет на спине – и выдвигает руки так, что может обхватить всю троицу раз пять-шесть. Она оглядывается, вращая громадную голову. Никто ее не видит, только старый Швабра Бромден, наполовину индеец, прячется за своей настоящей шваброй и слишком нем, чтобы позвать на помощь.

Так что она позволяет себе все, это правда, и ее крашенная улыбка изгибается, растягивается в открытую ухмылку. Она распухает все больше и больше, она огромная, словно трактор, такая огромная, что слышу запах ее внутреннего механизма, так, будто мотор работает с перегрузкой. Я задержал дыхание, сжался. Мой Бог, на этот раз они это сделают! На этот раз они позволят ненависти вырасти слишком большой и разорвут друг друга на куски, прежде чем поймут, что делают!

Но только она начала стребать раздвижными руками черных ребят, а они стали вырываться, орудуя ручками швабр, из палат начинают выходить пациенты, чтобы выяснить, что тут за шум, и ей приходится принять прежний вид, прежде чем ее не поймали в образе ее тайного, но подлинного «я». Пока пациенты протирают глаза, пытаюсь понять, из-за чего весь сыр-бор, перед ними – главная медсестра, улыбающаяся, спокойная и холодная, как всегда. Говорит черным ребятам, что не стоит собираться кучкой и болтать, ведь сегодня понедельник – первое утро рабочей недели и столько дел...

– Да, мисс Рэтчед...

– ...У нас множество назначений сегодня утром. Может быть, у вас серьезная причина стоять здесь всей компанией и разговаривать...

– Нет, мисс Рэтчед.

Она замолчала и кивает пациентам, которые собрались вокруг нее и смотрят покрасневшими и опухшими со сна глазами. Она кивает каждому. Точный, автоматический жест. Лицо у нее гладкое, выражение точно рассчитанное и точно сделанное, как у дорогой куклы: кожа словно эмаль телесного цвета, оттенки белого и сливочного, голубые детские глаза, маленький носик, крошечные розовые ноздри – все вместе работает на этот образ, кроме цвета губ, ногтей и размера груди. Где-то, должно быть, сделали ошибку, приделав эту большую, женственную грудь к тому, что в противном случае стало бы превосходной работой, и видно, как она этим огорчена.

Пациенты не понимают, что это Большая Сестра накинулась на черных ребят; тогда она вспоминает, что уже видела меня, и говорит:

– Поскольку сегодня понедельник, не начать ли нам эту неделю хорошим стартом и не вымыть ли нам сегодня утром первым мистера Бромдена, пока в умывальной не началось столпотворение. Посмотрим, сумеем ли мы избежать некоторых... э... беспорядков, которые он обычно устраивает, как вы думаете?

И прежде чем все успевают обернуться, чтобы посмотреть на меня, скрываюсь в кладовке для швабр, закрываю наглухо дверь и не дышу. Мыться до завтрака – это самое худшее. Когда тебе удастся закинуть что-то в себя, ты становишься сильнее, да и просыпаешься наконец. И те ублюдки, которые работают на Комбинат, не так уж готовы напустить на тебя одну из своих машин вместо электрической бритвы. Но если ты бреешься до завтрака, как она хочет заставить меня сегодня утром – в шесть тридцать утра в комнате из белых стен и белых ванн, и длинные люминесцентные лампы на потолке устроены так, чтобы не оставить никакой тени, и лица вокруг тебя визжат и воют, пойманные в зеркала, – тогда никаких шансов уцелеть от их машин.

Я спрятался в кладовке и затаился. Мое сердце готово выскочить из груди, и я стараюсь не бояться, стараюсь держать свои мысли подальше отсюда – стараюсь вернуться назад и вспоминаю деревню, большую реку Колумбию, как однажды мы с папой охотились на птиц в кедровой роще у Дэлз... [1] Но всегда, когда пытаюсь уйти мыслями в прошлое и спрятаться там, страх на дрожащих ногах прокрадывается, прорывается сквозь воспоминания. Я чувствую, как самый младший из черных парней идет через холл, он идет по нюху, он чувствует мой страх. Он открывает ноздри, словно черные воронки, его безразмерная голова подпрыгивает на шее, когда он шмыгает носом, и он всасывает страх, разлившийся по всему отделению. Вот теперь он учуял меня, я слышу, как он фыркает. Он не знает, где я спрятался, но он чувствует запах и вышел на охоту. Я стараюсь стоять спокойно...

(Папа велит мне стоять тихо, говорит, что собака почуяла птицу где-то справа, близко. Мы взяли собаку – пойнтера – у одного человека в Дэлз. Все деревенские собаки ничего не стоят, они – метисы, говорит папа, они годны лишь на то, чтобы есть рыбьи кишки, и в них нет породы. А у нас – собака, у нее – инстинкт! Я ничего не говорю, но уже вижу птицу в жесткой щетине кедра, она сторбилась серым узлом из перьев. Пес внизу описывает круги, слишком много запаха, чтобы он верно указал нам добычу. Птица в безопасности до тех пор, пока не двинется. Она держится молодцом, но собака продолжает нюхать и бегать кругами. Она все громче и все ближе. И тогда птица не выдерживает, крылья раскрываются, она срывается с кедра прямо под выстрел папиного ружья.)

Самый мелкий из черных парней и один из тех, что побольше, хватают меня раньше, чем я успеваю сделать десять шагов от кладовки, и тащат меня в умывальную. Я не сопротивляюсь и не устраиваю шума. Если ты вопишь, они только сильнее на тебя наваливаются. Душу вопль в горле. Держусь, пока они не добрались до висков. Нажали кнопку, включают меня на такую громкость, словно это и не звук вовсе, и все вопят на меня, зажав уши из-за стеклянной стены, лица превратились в говорящие круги, но изо рта – ни звука. Мой звук поглощает все другие звуки. Они снова включают туманную машину, и туман сгущается вокруг меня, словно снег – белый и холодный, как снятое молоко, и такой плотный, что я даже мог бы в нем спрятаться, если бы они в меня не вцепились. Сквозь туман я не могу видеть и на несколько дюймов перед собой. Единственное, что удается расслышать сквозь вопль, который издаю сам, – это то, как кричит и раздает указания Большая Сестра, расталкивая пациентов с дороги со своей плетеной сумкой. Я слышу, как она входит, но все еще не могу заткнуть свою сирену. Я воплю до тех пор, пока она не оказывается рядом. Они повалили меня, а она тем временем сжала плетеную сумку и сунула мне в рот.

(Быстрая гончая лает из тумана, она встревожена и потерянна, потому что не может видеть. Никаких следов на земле – только те, которые оставляет она сама. Она нюхает вокруг холодным, в красных пятнышках носом и не может учуять никакого запаха, кроме собственного страха, страха, который пышет в ней, словно пар.) Это в конце концов сожжет и меня, когда я расскажу все – о больнице, о ней, о ребятах и о Макмерфи. Я молчал так

долго, что все это с ревом вырвется из меня, словно потоп, и вы подумаете: парень, который говорит все это, заговаривается или бредит. Вы думаете, что все это – слишком ужасно, чтобы произойти на самом деле, что это – слишком чудовищно, чтобы быть правдой? Но пожалуйста, подождите. Мне и по сей день трудно сохранять рассудок, думая об этом. Но это – правда, даже если этого и не было никогда.

* * *

Когда туман рассеялся, я сидел в дневной комнате. На этот раз они не потащили меня в шок-шоп, а заперли в изоляторе. Не помню, завтракал я или нет. Наверное, нет. Я вспоминаю несколько таких утр. Когда меня запирали в изоляторе, черные ребята быстро все приносили – предполагалось, что для меня, но они съедали все сами, – и, пока они трое завтракали, я лежал на вонючем матрасе и смотрел, как они уничтожают яйца и тост. Я носом чуял жир и слышал, как они жуют тост. А в другой раз они принесли холодную кукурузную кашу и заставили есть – даже непосоленную.

Этим утром я ничего не помнил. Они втолкнули в меня столько этих штук, которые называют пилюлями, что я ничего не соображал, пока не открылась дверь палаты. То, что дверь палаты открылась, означает, как минимум, что уже восемь часов и что я провел в отключке в изоляторе примерно час с половиной. В это время техники по приказу Большой Сестры могли прийти и установить что угодно.

Слышу шум из-за двери, он идет откуда-то из холла, вне моей видимости. Я знаю, что дверь дневной комнаты начинает открываться в восемь и открывается и закрывается тысячу раз за день, ш-щ-щ, щелк! Каждое утро мы сидим в линеечку по обе стороны дневной комнаты, мешая после завтрака картинку головоломки, слушая, как ключ гремит в замке, и ждем, кто к нам пожалует. Больше и заняться нечем. Иногда появляется какой-нибудь юный стажер – из будущих врачей, проживающих при клинике, чтобы посмотреть, что мы собой представляем до приема лекарств. ДППЛ – так они это называют. Иной раз это жена, навещающая здесь благоверного, – на высоких каблуках, с сумочкой, плотно прижатой к животу. Иногда это группа учителей средней школы, которых проводит с экскурсией этот придурок, Связи с общественностью, который вечно хлопает влажными ладонями и говорит, как он рад, что в этом заведении для душевнобольных уничтожено само понятие старомодной жестокости: «Какая бодрая атмосфера, вы со мной согласны?» Он суется вокруг школьных учителей, которые для безопасности жмутся друг к другу, ухватившись за руки. «О, когда я вспоминаю прежние времена – грязь, отвратительное питание и даже жестокое обращение, – я осознаю, леди, что мы прошли долгий путь!» Кто бы ни входил в дверь, он всегда разочаровывал, но с другой стороны – оставался шанс, и, когда ключ поворачивается в замке, все головы поднимаются, словно их потянули за веревочку.

В это утро ключ в замке дребезжит как-то странно. Значит, у двери – не обычный посетитель. До нас доносится голос парня из перевозки, нетерпеливый и раздражительный:

– Это – новенький, присмотри за ним. – И черный парень идет на зов.

Новенький. Все прекращают играть в карты и в монополию и поворачиваются к двери, ведущей в дневную комнату. Будь то любой другой день, я бы подметал холл и увидел, кого это они передают с рук на руки, но сегодня

утром, как я уже объяснял, Большая Сестра навалила на меня тысячи пудов, и я не могу пошевелиться, чтобы встать со стула. В любой другой день я бы первым увидел новенького, увидел, как он вползает в дверь, пробирается вдоль стены и стоит перепуганный, пока черные ребята не осмотрят его и не отведут в душевую, где разденут и оставят стоять, дрожа, при открытой двери, пока все трое будут бегать туда-сюда по коридору в поисках вазелина. «Нам нужен вазелин, – скажут они Большой Сестре, – чтобы поставить термометр». Она посмотрит на одного, на другого: «Не сомневаюсь в этом, – и выдаст им жестянку, в которой этого вазелина не меньше чем галлон, – но напоминаю вам, мальчики, чтобы вы там не толпились». А потом увижу двоих, а может быть, и всех троих там, в душевой комнате вместе с новеньким. Намазывают термометр жиром в палец толщиной и напевают: «Вот и ладно, мотылек, вот и ладно», а потом они закроют дверь и включают все души разом, чтобы нельзя было услышать ничего, кроме порочного визга воды, бьющейся о зеленый кафель. В другие дни я бывал там, снаружи, и все такое видел.

Но сегодня утром я сижу на стуле и только слушаю, как они его пытаются затащить сюда. Несмотря на то что я его не вижу, знаю, что это не обычный новенький. Он не скользит перепуганно вдоль стены, и, когда они говорят ему про душ, он не сдаётся, не соглашается со слабым маленьким «да», он посылает их куда подальше и громким металлическим голосом заявляет, что он, черт побери, достаточно чистый, так что – благодарю вас.

– Сегодня с утра меня уже помыли в зале суда, а вчера вечером – в тюрьме. И клянусь, они бы вымыли меня и во время поездки в такси, если бы я проявил нерешительность. Эй, ребята, похоже, что всякий раз, как меня куда-то привозят, стараются хорошенько отмыть до, после и во время самой операции. Я дошел до того, что при звуке воды бросаюсь собирать пожитки. И отстань от меня со своим термометром, Сэм, дай мне минутку осмотреть мой новый дом. Мне раньше как-то не доводилось бывать в Институте психологии.

Пациенты смотрят друг на друга озадаченно, затем их взгляды возвращаются к двери, откуда все еще звучит его голос. Он говорит громче, чем это необходимо, потому черные ребята в любом случае стоят с ним рядом. Голос звучит так, будто он говорит откуда-то сверху, словно плывет где-то в пятидесяти ярдах над ними, окликая тех, кто остался внизу, на земле. Он звучит сильно. Я слышу, как он приближается, идет по холлу, и то, как он идет, тоже звучит сильно. И конечно же он не старается проскользнуть вдоль стенки; у него на каблуках железо, и они звенят, словно лошадиные подковы. Он показался в дверях, остановился, сунул большие пальцы в карманы, ноги широко расставлены, и стоит, а ребята смотрят на него.

– Доброе хреноутро, приятели.

Над его головой приделана на веревочке бумажная летучая мышь с праздника Хеллоуин; он дотянулся и щелкнул по ней так, что она закружилась.

– А может быть, и добрый хренодень.

Голос похож на папин – громкий, полный адского пламени, – но на папу он не похож. Папа был чистокровным колумбийским индейцем – вождем, – таким же жестким и сияющим, как ружейное ложе. Этот же парень – рыжеволосый, с длинными рыжими бачками и спутанными завитками волос, выбивающимися из-под кепки, которые давно пора подстричь, и он так же широк, как папа был высок, – широк в челюсти, широк в плечах и в груди, с широкой белозубой дьявольской ухмылкой, и он сильно отличается от папы, так же сильно, как бейсбольный мяч отличается от исцарапанной кожи. Через нос и скулу проходит рубец, видать, кто-то хорошенько приложил ему в драке, и нитки все еще остались в шве. Он стоит тут, ожидая, и, когда ни один из нас не

сделал и попытки что-нибудь ответить ему, раздражается хохотом. Никто не может сказать точно, почему он смеется; ничего смешного не происходит. Но он смеется не так, как Связи с общественностью, его смех свободный и громкий, и он вырывается из его широкого ухмыляющегося рта и раскидывает свои кольца все шире и шире – до тех пор, пока они не стали разбиваться о стены отделения. Смеется не так, как Связи с общественностью. Я невольно осознаю, что это первый настоящий смех, который я слышу за многие годы.

Он стоит и смотрит на нас, раскачиваясь туда-сюда в своих бутсах, и все смеется и смеется. Он растопырил пальцы на животе, не вынимая больших пальцев из карманов. И я вижу, какие большие и побитые у него руки. Все в отделении – пациенты, персонал, и прочие – застыли перед ним и перед его смехом. Никто не пытается остановить его, что-то сказать. Он смеется, пока ему это не надоедает, а потом входит в дневную комнату. Даже когда он не смеется, звуки этого смеха окружают его, парят вокруг так, как звуки парят вокруг большого колокола, который только что отзвонил, он в его глазах, в том, как он улыбается и расхаживает, в том, как он говорит.

– Меня зовут Макмерфи, парни, Р.П. Макмерфи, и я – рискованный дурак. – Он подмигнул и пропел пару строк из какой-то песенки: – «...И где бы я ни встречал карточный стол, я выкладывал... на него... свои денежки». – И он рассмеялся снова.

Подходит туда, где играют в одну из карточных игр, цепляет карты Острого толстым могучим пальцем, косится на руку и качает головой.

– Именно эту работу я и искал, принести вам, птичкам, немного радости и устроить развлечение за карточным столом. Ничто больше не могло сделать мои дни на этой работной ферме Пендлетона интересными, так что я попросил перевестименя, ну да, понимаете. Нужно немного свежей крови. Вы только посмотрите, как эта птичка показывает свои карты каждому в этом квартале. Я обстригу вас, ребята, словно новорожденных ягнят.

Чесвик собирает карты вместе. Рыжеволосый протягивает ему руку:

– Привет, парень! Во что это вы играете? Пинокль? Джизус. Неудивительно, почему вы всем показываете свои руки. Есть здесь нормальная колода? Ну, скажем так, эта подойдет. Я ношу с собой собственную колоду – просто на всякий случай. Тут нет ничего, кроме картинок, – и вы сравниваете картинки, ясно? Каждая имеет свою цену. Пятьдесят две позиции.

Чесвик уже сидит с выпученными глазами, и то, что он видит в этих картах, никак не улучшает его состояния.

– Спокойно, парень, не запачкай их; у нас впереди много времени и много разных игр. Я люблю использовать свою колоду, потому что у других игроков уходит, как минимум, неделя, прежде чем они сумеют определить масть...

Одет он в фермерские рабочие штаны и рубашу, выгоревшие до цвета разбавленного молока. Лицо, шея и руки как буйволиная кожа – от долгой работы на поле. На голове мотоциклетная кепка – первоначально черного цвета, – кожаная куртка переброшена через руку, а на ногах ботинки, такие серые и грязные и такие тяжелые, что ими достаточно разок пнуть человека, чтобы он согнулся пополам. Он отходит от Чесвика, стаскивает кепку и принимается выбивать ею из своих боков пыльную бурю. Один из черных парней кругами ходит вокруг него с термометром, но он слишком быстр для них: он скользнул за спину Острого и принялся вертеться вокруг него, тряся руками, прежде чем черные ребята смогли его ухватить. То, как он говорит, его подмигивание, его громкий голос, его важничанье напоминает парня, который продает машины, или аукциониста на барахолке, или одного из тех подающих, которых вы видите в интермедии, на фоне развешивающихся

знамен, стоящих там в своих полосатых рубашках с желтыми пуговицами, притягивающих лица спесивой публики, словно магнит.

— Видите ли, что произошло, я сделал парочку придурков на рабочей ферме, если уж сказать всю правду до конца, и суд решил, что я — психопат. И что вы думаете, я намереваюсь спорить с судом? Да ладно, можете поставить свой последний доллар на то, что нет. Если бы это снова привело меня на те чертовы гороховые поля, я просто исполнял бы те же самые желания, что сидят в их мелких сердечках, был бы психопатом, или бешеной собакой, или последним волком, потому что мне насрать, если я никогда больше не увижу эти мотыги и сорняки до самого дня своей смерти. Тогда они говорят мне, что психопаты — это те, кто слишком много дерется и слишком много трахается, но они не совсем правы, как вы полагаете? Я хочу сказать, кто слышал сказочку о человеке, который поимел слишком много сладких девочек? Привет. Приятель, как тут они тебя называют? Меня зовут Макмерфи, и ставлю два доллара здесь и сейчас, что ты не сумеешь сказать, какие ставки в этом твоём пинболе, что за карты ты держишь в руке, чтобы в них не смотреть. Два доллара: что я сказал? Чертпобери, Сэм! Не можешь ли ты подождать полминутки и перестать тыкать в меня своим, будь он неладен, термометром?

* * *

Новый минутку постоял, оглядывая дневную комнату.

По одну сторону комнаты собрались пациенты помоложе, их называют Острыми, потому что доктора считают их все еще достаточно больными, чтобы здесь держать. Они занимают себя ручным единоборством и карточными трюками: что-то прибавляют, вычитают, и всегда остается одна и та же карта. Билли Биббит пытается научиться скручивать фабричную сигарету, Мартини ходит по комнате, обнаруживая на столах и стульях всякие вещицы. Острые вообще много ходят. Они рассказывают друг другу шуточки и хихикают в кулак (никто, кроме них, не осмеливается давать себе волю и смеяться, иначе сбегится весь персонал с блокнотами и массой вопросов) и пишут письма желтыми, коротенькими, изжеванными карандашами.

Они шпионят друг за другом. Иногда кто-нибудь из них заявляет, что не хочет спать, и один из его дружков по столу, за которым он сказал об этом, зевнет, поднимется и проскользнет к большой амбарной книге на сестринском посту и записывает информацию, которую услышал. Большая Сестра говорит, что эти записи являются частью терапевтического лечения. Но я-то знаю, что она просто выжидает, чтобы собрать достаточно свидетельств, чтобы отправить какого-нибудь парня на переделку в главный корпус, чтобы ему капитально отремонтировали голову и выпрямили кривые извилины — от греха подальше.

Парень, который записывает свой кусок информации в книгу, получает звезду со своим именем на воротник пижамы и на следующий день может поспать подольше.

По другую сторону комнаты располагаются отбросы Комбината, Хроники. Этих не просто держат в больнице, главное — изолировать их, удержать от хождения по улицам, чтобы они не дискредитировали продукцию. Хроники здесь добровольно, как признает сам персонал. Хроники делятся на Ходячих вроде меня, которые все еще могут передвигаться, если их кормить, на Коренных и Овошей. Хроники — то есть большинство из нас — представляют

собой машины с внутренним браком, который нельзя исправить. Парней с врожденным браком или браком, который был вколочен за те долгие годы, пока он бился головой обо всякие слишком твердые вещи, и к тому времени, как больница его обнаружила, уже истекал ржавчиной, словно кровью, в какой-нибудь куче старья.

Но среди нас есть пара таких Хроников, в отношениях которых много лет назад персонал допустил парочку ошибок, такие, которые были Острыми, когда появились здесь, и с тех пор сильно переменялись. Эллис – Хроник, который попал сюда как Острый, и с ним скверно поступили, когда дали ему чрезмерную нагрузку в этой поганой комнатке, где умертвляют мозги и которую черные ребята называют шок-шоп. Теперь он приколот к стене в том же самом положении, как они сняли его со стола в последний раз, в той же самой позе – руки разведены, пальцы согнуты и все тот же ужас на лице. Он прибит в таком виде к стене, словно трофей охотника. Они вытаскивают гвозди, когда приходит время есть, или время уложить его в постель, или чтобы я мог вытереть шваброй лужу, которая натекла там, где он стоял. На одном месте он простоял так долго, что его моча проела пол и балки под ним, и он проваливался через эту дыру в палату под нами, и его каждый раз теряли при проверке.

Ракли – другой Хроник, и тоже несколько лет назад поступил как Острый, но с ним переборщили на другой манер: они сделали ошибку, когда пытались что-то переделать у него в голове. Он им доставил кучу неприятностей, попав сюда, пинал черных ребят и кусал сестер-практиканток за ноги, так что они его забрали, чтобы переделать. Они привязали его к столу, и последнее, что видели за несколько мгновений перед тем, как закрылась дверь, – он подмигнул и сказал черным ребятам, когда они от него отвернулись: «Вы заплатите за это, чертовы смоляные чучела».

Через две недели они привели его обратно в палату, лысого, а на лице – блестящий, как масло, лиловый синяк и две маленькие, размером с пуговицу, затычки, по одной над каждым глазом. По его глазам можно было увидеть, как они его там поджаривали: глаза серые, полные дыма, и пустые изнутри, словно использованные запалы. Теперь целыми днями он не хочет ничего делать, только держит перед своим обожженным лицом старую фотографию, вертит ее холодными пальцами, и карточка уже стала серой с обеих сторон, как и его глаза, – скоро уже и не догадаешься, что на ней было.

Персонал считает Ракли одним из своих просчетов, но я не уверен, что он был бы лучше, если бы сборка прошла безупречно. Сборки, которые они проводят теперь, все без исключения проходят успешно. Техники приобрели больше навыка и опыта. Никаких дырок во лбу величиной с пуговицу, вообще никаких порезов – они забираются через глазные впадины. Иногда парень, который проходит через сборку, покидает палату неуправляемым, сумасшедшим и проклинающим целый мир, а возвращается через несколько недель с синяками под глазами, словно побывал в своей первой схватке, и представляет собой самую приятную, милейшую, чудного поведения вещь, которую ты когда-либо видел. Его, может быть, на месяц или два отправят домой – шляпа низко надвинута на лицо, лицо человека, спящего на ходу и бредущего в своем простом и счастливом сне. Успех, говорят они, но я знаю, что это – еще один робот для Комбината, и может быть, лучше кончить дни ошибкой, как Ракли, сидя здесь и ошупывая свою карточку и неся чепуху. Больше он ничего не делает. Эти дебилы с задержкой в развитии – черные ребята – время от времени задирают его, подходя поближе и спрашивая: «Скажи, Ракли, как ты думаешь, что твоя маленькая женушка делает в городе сегодня вечером?» Голова Ракли поднимается. В этой барахляной машине, видать, где-то сохранился шепот памяти. Он краснеет, его вены набухают. Его раздувает до такой степени, что он почти готов выдавить из своей глотки едва слышный свистящий звук. В углу рта надуваются пузыри, и он изо всех сил работает челюстью, чтобы что-то

сказать. Когда он, наконец, готов выговорить нужное, эти несколько слов превращаются в низкий, кашляющий шум, от которого у вас мурашки по коже: тттттт-трахать тел тою жону! тттттт-трахать тел тою жону! От совершенного усилия он отключается.

Эллис и Ракли – самые молодые из Хроников. Полковник Маттерсон – самый старший; дряхлый, окаменелый кавалерист Первой войны, который обычно норовит задрать своей тростью юбки проходящих сестер или преподает нечто вроде истории – по бумажке, которую держит в левой руке, – всякому, кто готов его слушать. Он – самый старый в отделении, но пробыл здесь не дольше всех – жена привезла его сюда всего несколько лет назад, когда поняла, что больше не может ухаживать за ним.

Я – из тех, кто пробыл в отделении дольше всех, со Второй мировой войны. Я пробыл в отделении дольше, чем кто-либо. Дольше, чем любой другой пациент. Только Большая Сестра здесь дольше, чем я.

Хроники и Острые, в общем, не смешиваются. Каждый остается на своей стороне дневной комнаты – так, как того хотят черные ребята. Черные ребята говорят, что так больше порядка, и дают каждому понять, где его место. Они разводят нас после завтрака, и следят за группами, и кивают. «Это верно, джентльмен, вам туда. А теперь держитесь этого направления».

На самом деле им совсем не нужно что-либо говорить, потому что другие Хроники, не считая меня, не так уж много двигаются, а Острые говорят, что они сами предпочитают оставаться на своей стороне, и приводят всякие аргументы вроде того, что сторона Хроников пахнет хуже грязной пеленки. Но я знаю, что совсем не зловоние заставляет их держаться подальше от Хроников, просто они не хотят мириться с тем, что и они когда-нибудь могут оказаться на другой стороне. Большая Сестра осознает этот страх и знает, как найти ему применение. Она напоминает Острым, когда они начинают дуться, что, дескать, вы, ребята, – хорошие мальчики и сотрудничаете с персоналом, поддерживая его политику, которая направлена на ваше лечение, в противном случае вы кончите на той стороне.

(Все в отделении гордятся этим сотрудничеством. На маленькой бронзовой табличке, прикрепленной к куску кленовой деревяшки, написано: «ПОЗДРАВЛЯЕМ, ЧТО В ВАШЕМ ОТДЕЛЕНИИ НАИМЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ БОЛЬНИЦЫ». Это – приз за сотрудничество. Она висит на стене прямо напротив книги для записей, как раз посередине между Хрониками и Острыми.)

Новенький – рыжеволосый Макмерфи – точно знает, что он не Хроник. Осмотревшись в течение минуты, он понял, что ему место среди Острых, и проходит прямо туда, ухмыляясь и пожимая руки каждому, к кому подходит. Поначалу я заметил, что все почувствовали себя неловко от его шуточек-прибауточек, от того, как он отшивал черного парня, который все еще таскается за ним с термометром, а особенно от его смеха, при звуке которого на контрольной панели начинают дрожать стрелки. Когда он смеется, Острые выглядят неловко, они как привидения, они похожи на мальчишек в классной комнате, когда один из ребят устроил слишком большой скандал с учителем в коридоре да еще забрал себе в голову, что все они должны его поддержать. Они нервничают и дергаются в такт датчикам на контрольной панели; я вижу, что Макмерфи заметил, что смущает их, но он не позволяет им сбить себя с темпа.

– Черт побери, что за унылые одежды! На мой взгляд, ребята, вы не выглядите такими уж тронутыми. – Он попытался задеть их за живое, так же как аукционист бросает шутки в толпу, прежде чем назначить цену. – Кто из вас претендует на то, что он – самый чокнутый? Который из вас полоумный больше, чем все остальные? Кто ведет эти ваши карточные игры? Это – мой

первый день, и все, что я хотел бы сделать, – это произвести хорошее впечатление на нужного человека, если только он сумеет доказать, что он и есть нужный человек. Кто здесь самый ненормальный псих из всех полоумных?

Он произносит это, обращаясь непосредственно к Билли Биббиту. Он наклоняется и смотрит на него так пристально, что Билли, заикаясь, отвечает, что не является пока самым нне-нне-нне-нненормальным из психов, хотя он – бл-бл-ближайший кандидат н-на эту должность.

Макмерфи протягивает свою большую ладонь Билли, и тому не остается ничего другого, как пожать ее.

– Хорошо, парень, – говорит он Билли. – Я поистине счастлив, что ты – второй на очереди на эту должность, но поскольку я подумываю о том, чтобы взять все это шоу целиком на себя, – затвор, приклад и дуло, – может быть, мне лучше поговорить с самым главным. – Он оглядывается, бросив взгляд туда, где несколько Острых перестали играть в карты, сцепляет руки и громко щелкает суставами. – Видишь ли, приятель, я хочу сказать, что намереваюсь стать в этом отделении кем-то вроде карточного барона и заняться безнравственной игрой типа блэкджека. Так что лучше тебе отвести меня к своему главному, и мы с ним разберемся, кто отныне будет главнее.

Никто не понимает – то ли этот парень с грудью как бочка, со шрамом на роже и дикой ухмылкой играет роль, или же он в достаточной степени свихнутый, чтобы соответствовать своим бредням, или и то и другое вместе, но все начинают подумывать, что с ним в любом случае не стоит иметь дела. Они смотрят, как этот громадный рыжий парень кладет свою красную ладонь на тонкую руку Билли, и ждут, что теперь ответит Билли. Он понимает, что нарушить молчание придется именно ему, так что оглядывается и указывает на одного из игроков в пинокль.

– Хардинг, – говорит Билли. – Полагаю, что эт-т-то – к вам. Вы – п-президент совета п-п-пациентов. Этот ч-ч-человек хочет поговорить с вами.

Теперь Острые захихикали, теперь они уже не чувствуют себя такими смущенными и рады, что произошло что-то, нарушающее обычный ритм. Все они смотрят на Хардинга, словно бы спрашивая его, сумеет ли он как следует ответить этому ненормальному психу. Хардинг положил карты.

Хардинг – бесцветный нервный парень с лицом, которое, кажется, ты когда-то видел в кино – оно слишком смазливое, чтобы принадлежать простому парню с улицы. У него широкие, но тощие плечи, и когда он пытается спрятаться в себе, скручивает их так, что почти оборачивает ими грудь. Руки у него длинные, белые и такие изящные; иногда он о них забывает, и тогда они скользят и кружатся перед ним, словно две белые птицы, пока он не спохватывается и не загоняет их в ловушку между коленями: он стесняется, что у него такие красивые руки.

Он – президент совета пациентов на том основании, что у него есть бумага об окончании колледжа. Эта бумага оправлена в рамку и лежит у него на тумбочке рядом с фотографией женщины в купальном костюме, которую тоже, кажется, видел когда-то в кино, – у нее огромные сиськи, и она придерживает лямки своего купальника, поднимая их, и искоса смотрит на камеру. Рядом с ней на полотенце сидит Хардинг – в плавках он выглядит слишком тощим – и словно ждет, что придет какой-нибудь здоровый парень и одним пинком сбросит его на песок. Хардинг жутко хвастает, что его жена – самая сексуальная женщина на свете и что по ночам одних его усилий ей недостаточно.

Когда Билли указывает на него, Хардинг откидывается на стуле и принимает важный вид, уставившись прямо в потолок и обращаясь именно к нему, а не к Билли или Макмерфи.

— Есть ли у этого джентльмена... направление, мистер Биббит?

У вас есть направление, мистер Мак-м-м-мерфи? Мистер Хардинг, — занятой человек и без н-н-направления никого не принимает.

— Этот занятой человек, мистер Хардинг, он что — крутой псих? — Макмерфи посмотрел одним глазом на Билли, и Билли закивал, быстро-быстро, гордый, что ему уделяют так много внимания. — Тогда скажите этому крутому психу Хардингу, что Макмерфи желает его повидать и что эта больница недостаточно велика для нас двоих. Быть главным — вот мое предназначение. Я был самым крутым шулером из шулеров во всякой карточной афере на Северо-Западе и самым крутым картежником на всем пути от Кореи, был даже самым крутым лушильщиком гороха на гороховой ферме в Пендлетоне, и если я теперь считаюсь психом, то должен стать до чертиков хорошим психом, просто превосходным. Передайте этому Хардингу, что или он встретится со мной как мужчина с женщиной, или же он с этой минуты считается вонючим скунсом, и ему лучше до захода солнца убраться из города.

Хардинг откидывается на стуле еще дальше, зацепив большими пальцами отвороты пижамы.

— Биббит, передайте этому юному выскочке Макмерфи, что я увижусь с ним в главном холле при полной луне, и мы разрешим это дело раз и навсегда — куй либидо, пока горячо. — Хардинг пытался растягивать слова, как Макмерфи; поскольку голос у него высокий и с придыханием, это звучало смешно. — Ты можешь также предостеречь его, чтобы быть честным, что я остаюсь самым крутым психом в этом отделении на протяжении двух лет и что я более сумасшедший, нежели любой из живущих на этом свете.

— Мистер Биббит, в свою очередь, можете предостеречь мистера Хардинга, что я — такой сумасшедший, что даже по доброй воле голосовал за Эйзенхауэра.

— Биббит! Можете сказать мистеру Макмерфи, что я — такой сумасшедший, что голосовал за Эйзенхауэра дважды!

— А вы на это можете передать мистеру Хардингу, — Макмерфи положил обе руки на стол и оперся о них, понизив голос, — что я — такой сумасшедший, что планирую снова проголосовать за Эйзенхауэра в будущем ноябре!

— Снимаю шляпу, — произнес Хардинг, склоняя голову и пожимая руку Макмерфи. — У меня не было сомнений, что Макмерфи выиграл, только вот я не был уверен, что именно.

Острые бросили все свои дела и подошли поближе, чтобы поглядеть, что за парень к ним явился. Ничего подобного в этом отделении еще не бывало. Они спрашивают его, откуда он родом и чем занимается, и я никогда раньше не видел, чтобы они так кого-нибудь расспрашивали. Он называет себя человеком долга. Раньше был просто бездельником и праздношатающейся задницей, когда его взяли в армию и объяснили, к чему у него имеется природная склонность: так же, как армия научила некоторых косить от обязанностей, а других терять последние мозги, его она научила играть в покер. С тех пор он остепенился и посвятил себя азартным играм всех уровней. Просто играть в покер, оставаться одиноким и жить где и как ему захочется, если, конечно, люди ему это позволяют, говорит он. Но вы знаете, как общество преследует тех, кто посвятил себя чему-либо. С тех пор как я услышал «зов», я прошел через такое количество тюрем в

маленьких городишках, что мог бы написать целую книгу. Они сказали, что я прирожденный смутьян. Как будто я с чем-то боролся. Дерьмо. Они ничего не имели против, когда я был обыкновенным тупым забиякой и ввязывался в потасовку; они говорили, что это извинительно, что парень, который много работает, время от времени спускает пар, так они говорили. Но если ты игрок, если они знают, что у тебя то там, то здесь в задней комнате идет игра, все, что тебе остается, – это плюнуть на их косые взгляды, и вот уже ты для них – проклятый преступник. Ерунда, у них просто рухнул бюджет от того, что они возили меня туда-сюда из тюрьги, а потом еще сюда.

Он покачал головой и надул щеки.

– Но это – ненадолго. Я знаю все ходы и выходы. Сказать правду, изнасилование и оскорбление действием, там, в Пендлетоне, были первой отсидкой – почти целый год. Поэтому я и попался. Я не имел возможности упражняться; а парень сумел встать с пола и добежать до копов, прежде чем я успел смыться из города. Очень крепкий индивидуум..

Он снова рассмеялся и начал пожимать руки, но стоило черному парню приблизиться к нему со своим термометром, тут же уселся помериться силой и вскоре уже познакомился со всеми Острыми. А потом перешел напрямик к Хроникам, словно между нами не было никакой разницы. Вы могли сказать, что он по-настоящему дружелюбен, а может быть, у него были какие-то шулерские причины для того, чтобы попытаться познакомиться даже с теми ребятами, которые зашли так далеко, что даже не помнили, как их зовут.

Он просто взял и оторвал руку Эллиса от стены и потряс ее – так, словно он политик, который вышел в народ, а голос Эллиса был так же хорош, как голос кого-либо другого.

– Приятель, – говорит он Эллису совершенно серьезным голосом, – меня зовут Р.П. Макмерфи, и мне не нравится смотреть, как взрослый мужчина тонет в собственной водичке. Не желаешь ли пойти просушиться?

Эллис посмотрел вниз на лужу возле своих ног с искренним изумлением.

– Ну, благодарю вас, – говорит он и даже отодвигается на несколько шагов к уборной, прежде чем невидимые гвозди снова не прибавят его руки обратно к стене.

Макмерфи идет вдоль ряда Хроников, пожимая руки полковнику Маттерсону, Ракли и Старине Пете. Он пожимает руки Колесикам, Ходячим и Овощам, пожимает им руки, для чего ему приходится поднимать их лапки, словно он поднимает мертвых птиц, механических птиц, удивительные создания из тончайших косточек и жил, которые свое отлетали и упали. Пожав руки всем, он обошел только Большого Джорджа, урода с водянкой, который бессмысленно усмеялся и пугливо отстранялся от антисанитарной руки, так что Макмерфи просто отсалютовал ему и, проходя, сказал своей правой руке:

– Рука, как ты полагаешь, знает ли этот старый парень обо всех злых делах, в которых ты участвовала?

Никто не понимает, куда именно он движется или с чего это он поднял такую суматоху, здороваясь с каждым, но это лучше, чем перемешивать одни и те же головоломки. Он объясняет, что частью работы игрока является необходимость всех обойти и повидаться с каждым, с кем он впоследствии будет иметь дело. Но он должен знать, что ему нет нужды иметь дело ни с одним из восьмидесятилетних Органиков, которые могли бы распорядиться игровой картой, разве что положив ее в рот и пожевав немного. И тем не менее, он выглядит чрезвычайно довольным собой, словно он такого сорта парень, который добровольно выставляет себя всем на потеху.

Я оказываюсь последним. Все еще сижу привязанным к стулу в своем углу. Когда Макмерфи доходит до меня, останавливается, снова сует большие пальцы в карманы, пятится и принимается хохотать, словно я ему показался смешнее всех других. Мне стало страшно от его смеха. Он, наверное, думает, что я сижу тут, со стянутыми коленями и привязанными к ним руками, так, словно и не слышу ничего, что все это – только моя придурь.

– Ух ты, – сказал он, – только посмотрите, что мы здесь имеем.

Очень ясно помню все, что он тогда делал. Помню, как он совершенно особенным образом прищурил глаз и слегка наклонил голову назад и посмотрел на меня поверх своего шрама цвета красного вина и захохотал. Я решил, что он смеется потому, что все это выглядит очень смешно – индейское лицо и черные сальные индейские волосы. Или он смеется потому, что я выгляжу таким слабым. Но тут же подумал, что он смеется потому, что его ни на минуту не одурачили мои попытки, прикинуться глухонемым. Как бы старательно я ни прикидывался, он меня раскусил, и смеялся, и подмигивал мне, чтобы я это понял.

– Что ты нам поведаешь, Большой Вождь? Ты похож на Сидящего Буйвола, который устроил сидячую забастовку. – Он оглянулся на Острых, чтобы убедиться, что они могут посмеяться над его шуткой. Когда же они слегка похихикали, он снова повернулся ко мне и снова подмигнул. – Как тебя зовут, Вождь?

Билли Биббит отзывается из другого конца комнаты:

– Его з-з-зовут Бромден. Вождь Бромден. Все его называют Вождь Швабра, понимаете, потому что все время персонал заставляет его п-подметать. Полагаю, он м-мало на что годен. Он – глухой. – Билли подпер руками подбородок. – Если б-бы я был глухим, – вздохнул он, – я б-бы покончил с собой.

Макмерфи пристально смотрит на меня.

– Если он встанет во весь рост, окажется немалого размера, ведь правда? Интересно, какой у него рост.

– Д-д-думаю, м-можно сказать, что в нем больше шести футов. Хотя он и большой, все равно боится собственной т-т-тени. Просто б-большой глухой индеец.

– Когда я его увидел, подумал, что он похож на индейца. Но Бромден – не индейское имя. Из какого он племени?

– Этого я не знаю, – сказал Билли. – Он уже был здесь, когда я поступил сюда.

– Я узнал от доктора, – вмешался Хардинг, – что он только наполовину индеец, колумбийский индеец, я полагаю. Вымершее племя Колумбийских Глоток. Доктор говорит, что его отец был вождем племени и передал этому парню звание вождя. Что же касается имени, боюсь, мои познания в области индейских обычаев не позволяют мне объяснить этот феномен.

Макмерфи наклоняется ко мне, стоило только посмотреть на него.

– Это правда? Ты – глухой, Вождь?

– Он г-г-глухой и н-немой.

Макмерфи морщит губы и довольно долго глядит мне в лицо. Потом он выпрямляется и протягивает руку:

— Ну, черт побери, ведь руку-то пожать он может, разве не так? Глухой или какой там еще. Ради бога, Вождь, ты, может быть, и большой, но ты пожмешь мне руку, или я буду считать себя оскорбленным. А оскорблять нового главного психа из всех ненормальных — это не слишком хорошая идея. — Произнося это, он оглянулся на Хардинга и Билли и скорчил рожу, но руку оставил прямо передо мной, здоровенную, словно обеденная тарелка.

Я довольно ясно помню, как выглядела эта рука: под ногтями была угольная чернота, как будто он работал в гараже; над суставами пальцев на тыльной стороне ладони был вытатуирован якорь; на среднем пальце красовалась грязная полоска пластыря, обтрепанная по краям. Остальные пальцы были разукрашены шрамами и порезами, старыми и новыми. Помню, что ладонь у него была гладкая и жесткая, словно кость, оттого, что он слишком часто держал в ней деревянную рукоять топора или мотыги, а вовсе не такая рука, которая, по-вашему, должна быть у картежника. Он провел рукой по моей руке — чуть скрежет не раздался. Его пальцы были толстыми и сильно сдавили мою руку, она начала чувствовать что-то особенное и стала распухать и увеличиваться, подчиняясь его руке, словно он вливал в нее свою собственную кровь. Она наполнилась кровью и силой и стала почти такой же большой, как его рука...

— Мистер Макмерфи. — Это Большая Сестра. — Мистер Макмерфи, не могли бы вы подойти сюда, будьте так любезны?

Черный парень с термометром привел ее. И она стоит здесь, стряхивая термометр, глаза бегают, пока она пытается оценить нового парня. Губы сложены треугольником, словно губы куклы, готовые получить игрушечную соску.

— Санитар Уильямс сообщил мне, мистер Макмерфи, что у него имеются некоторые затруднения насчет вашего согласия принять душ. Это правда? Пожалуйста, поймите, я очень ценю то, что вы взяли на себя труд лично познакомиться с остальными пациентами отделения, но всему свое время, мистер Макмерфи. Мне очень жаль, что я вынуждена прервать вас и мистера Бромдена, но поймите, каждый...должен следовать правилам.

Он поднимает голову и подмигивает мне, как бы говоря, что ей не одурачить его, как это сделал я, что он ее раскусил. С минуту он смотрит на нее одним глазом.

— Ты пойми, мамаша, — сказал он, — ты пойми — это уже утомляет, мамаша, что каждый то и дело напрягает меня насчет правил...

Он ухмыляется. Они стоят, улыбаясь друг другу, примеряясь друг к другу.

— ...Даже когда они считают, что я готов совершить прямо противоположное. — И тут он отпустил мою руку.

* * *

В стеклянной будке поста Большая Сестра открывала пакеты с заграничными наклейками и набирала в шприцы зеленовато-молочную жидкость. Одна из маленьких сестер, девушка, которая вечно смотрит одним любопытным глазом

через плечо, тогда как другой продолжает следить за ее обычной работой, взяла маленький поднос с наполненными шприцами, но не уходит.

— Ну что, мисс Рэтчед, каково ваше мнение о новом пациенте? Хочу сказать, что он симпатичный, и дружелюбный, и все такое, но, по моему скромному мнению, он точно переигрывает.

Большая Сестра пробует пальцем иглу.

— Боюсь, — она протыкает иглой резиновую крышку пузырька и набирает содержимое в шприц, — что это как раз то самое, на что надеются все новые пациенты: взять верх. Он один из тех, кого мы называем манипуляторами, мисс Флинн, мужчина, который станет использовать всех и вся для своих собственных целей.

— Ох! Но какие у него могут быть цели в психиатрической лечебнице?

— Да какие угодно. — Она спокойна, улыбается и целиком погрузилась в работу. — Комфорт и легкая жизнь, например; может быть, ощущение власти и уважения; прибыль в звонкой монете, а может быть, и все, вместе взятое. Иногда целью манипулятора является просто ежедневное нарушение порядка в отделении — ради самого нарушения. Такие люди есть в нашем обществе. Манипулятор может оказывать влияние на других пациентов и довести их до такого срыва, что понадобятся месяцы, чтобы все снова пошло гладко. С существующей сейчас в психиатрических лечебницах философией, которая все разрешает, им легко с этим справиться и остаться безнаказанными. Несколько лет назад все было иначе. Я вспоминаю, у нас был пациент, мистер Табер. Он был просто невыносимым манипулятором. Некоторое время. — Она подняла глаза — наполовину наполненный шприц возле лица словно маленький жезл. Ее глаза затуманились, и в них появилось мечтательное выражение. — Мис-тер Та-бер, — повторяет она.

— Но все же, — говорит другая сестра, — что на свете может заставить мужчину желать чего-то такого, нарушения порядка в отделении, и ради чего, мисс Рэтчед? Каков мотив...

Большая Сестра обрывает ее, воткнув иглу в резиновую крышку пузырька, наполняет шприц и кладет на поднос. Вижу, как ее руки потянулись к следующему пустому шприцу, смотрю, как игла подлетает, впивается, как падает капля.

— Похоже, вы забыли, мисс Флинн, что это — заведение для душевнобольных.

Большая Сестра стремится изгнать из жизни всякую реальность, словно что-то постоянно мешает ей функционировать, как отлаженная, точно рассчитанная машина. Малейший беспорядок, или неисправность, или небрежность превращают ее в тугий маленький белый узел ярости, на который натянута улыбка. Она ходит повсюду с кукольной улыбкой, изгибающейся между носом и подбородком, и со спокойным порханием глаз, но внутри она напряжена, как сталь. Я знаю, я могу это чувствовать. И она не расслабляется ни на секунду до тех пор, пока не выполнит все назначения, — она это называет «отрегулировать окружающее».

Под ее руководством все внутри отделения полностью отрегулировано. Но проблема заключается в том, что она не может все время находиться здесь. Ей приходится проводить часть времени во внешнем мире. Так что она могла бы отрегулировать и внешний мир тоже. Вместе с ней работают такие же, как она, и я их всех вместе называю Комбинатом, и это громадная организация, которая хочет сделать, чтобы снаружи все было точно так же, как у нее

здесь, внутри, потому что она уже настоящий ветеран этого дела. Она уже была Большой Сестрой, когда я попал туда, и это было так давно.

И я вижу, что с годами она становится все более и более умелой. Практика укрепляла ее и усиливала до тех пор, пока она наконец не завладела несомненной властью, которая распространяется во всех направлениях по проводам толщиной в волос, которых никто не видит, кроме меня; я вижу, как она сидит в центре этой паутины из проводов, словно неусыпный робот-наблюдатель, и плетет свою сеть с четкостью механического насекомого, каждую секунду помня о том, куда какой проводок ведет и что нужно по нему послать, чтобы получить тот результат, которого она хочет. Я был помощником электрика в учебном лагере до того, как меня кораблем отослали в Германию, и я немножко занимался электроникой, когда учился в колледже, так что я узнал кое-что о том, как оснащаются такие вещи.

Она сидит в самом центре этих проводков и мечтает, чтобы они охватили целый мир, действующий четко и эффективно, словно карманные часы со стеклянной задней стенкой, о таком месте, где режим и график нерушимы, а все пациенты, которые не являются внешними, послушны ее излучению, все они являются Хрониками в креслах на колесиках с трубками катетеров, которые вылезают из каждой штанины, чтобы сливать излишки жидкости прямо на пол. Год за годом она собирала идеальный штат: доктора всех возрастов и всех типов приходили и возвышались над ней со своими идеями о том, как должен крутиться мир; у некоторых был достаточно твердый хребет, чтобы отстаивать свои идеи, и она отмечала этих докторов глазами, сделанными из сухого льда, день за днем, день за днем, пока они не убирались, испытывая неестественный холод в спине. «Говорю вам, я не знаю, что это такое, — говорил каждый из них парню, который отвечал за персонал. — Но с тех пор как начал работать в этом отделении с этой женщиной, чувствую себя так, словно по моим жилам течет не кровь, а нашатырный спирт. Меня все время трясет, мои дети отказываются сидеть у меня на коленях, моя жена не желает спать со мной. Я настаиваю на переводе — неврологическая помойка, резервуар с алкоголиками, педиатрия — мне все равно!»

Она продолжает свое дело уже много лет. Доктора держатся три недели, три месяца. До тех пор, пока она не останавливается на маленьком человечке с большим широким лбом и широкими челюстями и с напряженным взглядом узко посаженных глаз, словно он когда-то носил очки, которые были ему слишком малы, и носил их так долго, что все его лицо стянулось к середине, так что теперь он носит очки на веревочке, привязанной к пуговице воротника; они качаются на багровом мостике его маленького носика и всегда сползают то на одну сторону, то на другую, так что он вынужден качать головой, чтобы удержать очки на уровне. Это — ее доктор.

Трех дневных черных санитаров она нанимает после долгих лет проб и ошибок. Принимает и отвергает тысячи из них. Они проходят перед ней словно длинный черный ряд хмурых масок с большими носами, ненавидящих ее и ее кукольную белокожесть — с первого же взгляда, который она на них бросала. Она оценивает их и их ненависть в течение месяца или около того, а потом позволяет им уйти, потому что они ненавидят недостаточно сильно. В конце концов она получает троих таких, которых хотела, — подбирала их по одному, не один год, вплетала в свой план и в свою сеть — и она, черт побери, оказалась права в том, что они ненавидят достаточно сильно.

Первого она получила через пять лет после того, как я попал в отделение, вертлявого, жилистого карлика цвета холодного асфальта. Его мать была изнасилована в Джорджии, тогда как папа стоял рядом, привязанный к горячей железной печи постромками от плуга, и кровь лилась ему прямо в ботинки. Мальчишка смотрел на все это из чулана, ему было пять лет, и он заработал косоглазие, стараясь выглянуть в щелочку между дверью и косяком, и после этого он не вырос ни на дюйм. Теперь его веки спускаются

от бровей, свободные и толстые, словно ему на нос уселась летучая мышь. Он их чуть-чуть приподнимает, когда в отделение попадает новый белый мужчина, украдкой выглядывает из-под них, осматривает его с ног до головы и легонько кивает – только один раз, – словно он убедился в чем-то, в чем был заранее уверен. Когда он впервые пришел на работу, он принес с собой носок, полный наркотиков, чтобы приводить пациентов в форму. Но она сказала, чтобы он больше никогда этого не делал, велела оставить эту нудную работенку для дома и научила своей собственной технике; научила не показывать своей ненависти и быть спокойным, и ждать, ждать какого-нибудь удобного случая, какой-нибудь мелкой погрешности, а потом набрасывать веревку и постепенно затягивать узел. И так все время. Таким образом ты приведешь их в форму, учила она его.

Два других черных парня появились через два года, пришли на работу с разницей только в один месяц, и оба выглядят настолько одинаковыми, что, я думаю, она сделала копию того, который пришел первым. Оба высокие, резкие, костлявые, и их лица обструганы до выражения, которое никогда не меняется, подобно наконечникам из кремния. Глаза всегда нацелены на главное. Если ты погладишь их против шерсти, они шкуру с тебя живьем сдерут.

Все они черные, как телефоны. Чем чернее они от природы, – это она поняла, перебирая длинный темный ряд, который был до них, – тем чаще готовы посвятить себя тому, чтобы чистить, скрести и содержать отделение в порядке. К примеру, форменная одежда этих парней всегда сияет, словно снег, и на ней не заметишь ни пятнышка. Белая, холодная и жесткая, как и ее собственная.

Все трое одеты в накрахмаленные белоснежные штаны и белые рубашки с металлическими кнопками по одной стороне и белые туфли, отполированные так, словно они изо льда, и у этих туфель красные резиновые подошвы, такие тихие, что они могут шнырять по холлу, словно мыши. Движения их бесшумны. Они материализуются в разных частях отделения всякий раз, когда пациент хочет побыть в одиночестве или с кем-нибудь посекретничать. Пациент уверен, что он один, когда неожиданно раздается писк, его щеки обдаёт холодом, он поворачивается в этом направлении и видит каменную маску, нависающую над ним у стены. Он просто видит черное лицо. Без тела. Стены такие же белые, как их рубашки, чистые и отполированные, словно дверца холодильника, и кажется, что черное лицо и руки плавают в этом белом царстве сами по себе, словно привидения.

Годы выучки не прошли даром, и три черных парня все чаще и чаще действуют в унисон с Большой Сестрой. Один за другим они открывают в себе способность разъединять определенные проводки и оперировать излучением. Она никогда не отдает приказов вслух и не оставляет письменных распоряжений, которые могли бы обнаружить посетители – жена или школьный учитель. В этом нет нужды. Они связаны длинными высоковольтными волнами ненависти, и черные ребята подскакивают, чтобы выполнить ее указания прежде, чем она об этом подумает.

После того как Большая Сестра набрала персонал, отделение функционирует, словно отлаженный механизм часов. Что бы ребята ни думали, ни говорили, ни делали – все просчитано месяц за месяцем вперед, основываясь на кратких замечаниях, сделанных Большой Сестрой в течение дня. Все фиксируется и идет на прокорм машине, которая – я слышал – гудит за стальной дверью сестринского поста. А оттуда возвращаются карточки ежедневных назначений, прокомпостированные узором из маленьких квадратных дырочек. В начале каждого дня должным образом датированные карточки ежедневных назначений вставляются в щель стальной двери и стены начинают жужжать: свет зажигается в спальнях в шесть тридцать: Острые быстро вылезают из постелей, иначе черные ребята могут их оттуда вытолкать

пинками и заставить работать, надраивая пол, вытряхивая пепельницы, полируя царапины на стенах, где какой-нибудь пожилой парень отдал концы днем раньше, свалился с отвратительным запахом дыма и жженой резины. Колесики опускают на пол длинные мертвые ноги и ждут, словно сидячие статуи, когда кто-нибудь подкатит им кресло. Овощи мочатся в кровать, приводя в действие звонок, и их вывозят в кафельную, где черные ребята обмывают их из шланга и натягивают чистые зеленые штаны..

Шесть сорок пять – зажужжали электробритвы, и Острые выстраиваются напротив зеркал в алфавитном порядке: А, Б, В, Г... Ходячие Хроники вроде меня входят, когда с Острыми покончено, а потом ввозят Колесиков. Трех старых парней оставляют. У них под подбородками тонкая пленка желтой плесени, их бреют на их собственных стульях в фойе дневной комнаты, кожу натягивают на лоб, чтобы она не втягивалась в пасть электробритвы.

Время от времени утром – в особенности по понедельникам – я прячусь и пытаюсь нарушить распорядок. В другой раз решаю, что будет лучше стать на свое место между А и В в алфавитном порядке и двигаться в обычном режиме, как и все остальные, не поднимая ног, – мощные магниты в полу двигают по отделению персонал, словно покупных марионеток..

В семь часов открывается столовая, и теперь все идет в обратном порядке: первыми Колесики, потом Ходячие, потом Острые берут подносы, кукурузные хлопья, бекон и яйца, тост, а в этот раз – консервированный персик на куске зеленого, в каплях, салата. Некоторые из Острых приносят подносы Колесикам. Большинство Колесиков – это просто Хроники, у которых плохо с ногами, но среди них есть трое таких, которые вообще ничего не могут делать, только сидеть, потому что у них что-то со спиной. Таких называют Овощами. Черные ребята вталкивают их в столовую после того, как все остальные усядутся, подвозят их к стене и приносят им такие же самые подносы с отвратного вида едой и маленькими белыми диеткарточками. Яйца, ветчина, тост, бекон – все это пережевывается тридцать два раза внутри беззубой стальной машины на кухне. Я вижу ее поджатые, складчатые губы, словно кишка пылесоса, и как она выплевывает комок жеваной ветчины на тарелку с таким звуком, словно в хлеву.

Черные ребята суют еду в сосушие розовые рты Овощей так быстро, что те не успевают проглотить, и вся эта мешанина сползает по их маленьким подбородкам и падает на зеленые штаны. Черные ребята осыпают Овощей проклятиями и вращением ложек раскрывают шире их рты, словно ковыряют гнилое яблоко: «Этот старый пердун Бластик, он загнулся прямо у меня на глазах. Не могу сказать точно, чем я его накормил – то ли беконным пюре, то ли его собственным траханым языком..»

В семь тридцать возвращаемся в дневную комнату. Большая Сестра смотрит через специальные очки, всегда отполированные до такой степени, что ты не можешь сказать, есть ли они на ней, кивает, тянется и отрывает лист от календаря, на один день приближая свою цель. Она нажимает кнопку и дает сигнал. Слышу, как где-то начинает дребезжать большой лист тончайшей жести. Все приходит в порядок. Острые: сидите на своей половине дневной комнаты и ждите, когда внесут карты и монополию. Хроники: сидите на своей стороне и ждите паззлы из коробки Красного Креста. Эллис: отправляйся на свое место у стены, поднимай руки, чтобы получить укол, и пидай себе в штанину. Пете: трясись своей головой, словно марионетка. Скэнлон: клади свои узловатые руки на стол перед собой, собирая воображаемую бомбу, чтобы подорвать воображаемый мир. Хардинг: начинай говорить, маши в воздухе своими голубиными руками, потом лови их, суй в подмышки, потому что большие мальчики не машут руками таким вот образом. Сефелт: начинай рыдать над тем, что у тебя болят зубы, и над тем, что у тебя выпадают волосы. Все вместе: вдохнули... выдохнули... в безупречном порядке; сердца

бьются в ритме, предписанном карточками ежедневных назначений. Звук хорошо подогнанных цилиндров.

Словно в мультфильме, где фигурки, плоские и обведены черным, разыгрывают какую-то дурацкую историю, которая могла бы быть по-настоящему забавной, если бы картонные фигурки не были настоящими парнями...

Семь сорок пять. Черные ребята движутся вдоль линии Хроников, ставя катетеры тем, кто все еще ими пользуется. Катетеры представляют собой использованные презервативы со срезанными кончиками; они примотаны пластырем к трубкам, которые проходят под штаниной к пластиковому мешку, на котором написано: «НЕПРИГОДНО К ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ». Моя работа – выливать их и мыть в конце каждого дня. Черные ребята приделывают презервативы, прилепляя их пластырем к волосам; у старых катетерных Хроников волос нет, они безволосы, словно младенцы, – все выдраны пластырем.

Восемь часов. Стены жужжат и гудят во всю силу. Громкоговоритель на потолке голосом Большой Сестры объявляет: «Лекарства». Мы смотрим в стеклянный ящик, где она сидит, но ее рядом с микрофоном нет; на самом деле она находится в десяти футах от микрофона, обучая одну из маленьких сестер, как правильно приготовить поднос с аккуратными таблетками – чтобы все они были разложены в нужном порядке. Острые выстраиваются у стеклянной двери: А, Б, В, Г, потом – Хроники, потом – Колесики (Овощам выдают лекарства, смешанные с чайной ложкой апельсинового соуса, позже). Парни идут гуськом и берут капсулы в бумажной чашечке, забрасывают их в плотку и получают стаканчик с водой от одной из маленьких сестер, чтобы запить таблетку. В редких случаях какой-нибудь дурак может спросить, что ему назначено глотать.

– Подожди минутку, дорогая, что это за две красные пилюли вместе с моими витаминами?

Я его знаю. Это большой, властный Острый, который уже заполучил себе репутацию нарушителя спокойствия.

– Это лекарство, мистер Табер, очень полезное для вас. Ну же, выпейте сейчас.

– Но я хочу знать, что это за лекарство. Господи Иисусе, я вижу, что это – пилюли...

– Просто проглотите их все, ведь мы так и сделаем, мистер Табер, – просто ради меня? – Она быстро смотрит в сторону Большой Сестры, чтобы убедиться, что ее маленькая хитрость с флиртом оценена положительно, потом смотрит опять на Острого. Он все еще не готов проглотить нечто, о чем он и понятия не имеет, даже если и ради нее. – Не расстраивайтесь, мистер Табер...

– Расстраиваться? Все, что я хочу знать...

Но Большая Сестра уже подошла – она спокойна, кладет ладонь ему на руку и парализует ее до самого плеча.

– Все в порядке, мисс Флинн, – говорит она. – Если мистер Табер хочет вести себя как ребенок, с ним и надо обращаться подобным образом. Мы старались быть с ним добры и внимательны. Очевидно, это не нашло должного отклика. Враждебность, враждебность – вот и все, что мы получили в благодарность. Мистер Табер, вы можете идти, если не хотите глотать ваши лекарства.

– Все, что я хотел, – это узнать, для чего...

– Вы можете идти.

Он отходит, ворча, и проводит утро, слоняясь около уборной и гадая насчет этих капсул. Я один раз исхитрился с теми же самыми красными капсулами, спрятал их под язык, сделал вид, будто проглотил, а потом раздавил в кладовке. Через некоторое время, пока все не превратилось в белую пыль, я увидел миниатюрные электронные схемы, как те, которые я помогал устанавливать в корпус радара, когда служил в армии, – микроскопические проволочки, сетки, транзисторы. Они рассыпались при контакте с воздухом...

Восемь двадцать. В дело идут карты и головоломки...

Восемь двадцать пять. Кто-то из Острых сказал, что обычно подглядывал за своей сестрой, когда она купалась; трое ребят, которые сидят вместе с ним за столом, чуть не передрались из-за того, кто запишет это в амбарную книгу...

Восемь тридцать. Двери отделения открылись, и рысцей вбегают два техника, от которых разит вином. Техники всегда двигаются или быстрым шагом, или рысцей, потому что их так наклоняет вперед, что приходится двигаться быстро, чтобы устоять на ногах. От них пахнет так, словно они стерилизуют свои инструменты в вине. Они захлопнули лабораторную дверь, и я придвинулся ближе, чтобы подслушать их разговор.

– Зачем нас позвали в такую рань?

– Мы должны установить контур пресечения любопытства одному шумному симулянту. Срочная работа, она говорит, и я даже не уверен, что у нас есть в запасе один.

– Мы могли бы поручить IBM сделать это за нас – было бы быстрее; дай я посмотрю в снабжении...

– Эй, будешь возвращаться, притащи бутылку чистой зерновой: без нее я не могу установить самой простой трахнутой детали, мне нужна живительная влага. Ну, это все-таки лучше, чем работать в гараже...

Их разговор похож на крутящуюся в быстром темпе пластинку или диалог из комедийного мультфильма. Отхожу раньше, чтобы меня не застукали за подслушиванием.

Два больших черных парня ухватили Табера у сортира и тащат его в матрасную. Он хорошенько пнул одного по ноге. Он вопит о кровавом убийстве. Вижу, каким беспомощным он выглядит, когда они скрутили его, словно стянули обручами из черного железа.

Они толкнули его лицом на матрасы. Один сидит у его головы, а другой стягивает штаны, открывая его спину, и стаскивает одежду до тех пор, пока персикового цвета задница Табера не оказывается в рамке измятой салатной зелени. Он изрыгает проклятия в матрас, а черный парень, который сидит у его головы, повторяет: «Все в порядке, мастер Табер, все в порядке...» Медсестра прошла через холл, смазывая вазелином длинную иглу, потом закрыла за собой дверь, так что на секунду все они исчезли из виду, затем вышла оттуда, вытирая иглу о лоскут от штанов Табера. Она оставила банку с вазелином в комнате. Прежде чем черные ребята закрыли за ней дверь, я увидел того, который все еще сидел у головы Табера, смазывая его клинексом. Пробыли там довольно долго, прежде чем дверь отворилась снова. Они вышли и потащили Табера через холл в лабораторию. Его зеленые штаны теперь сорваны, и он прикрыт отсыревшей рубахой...

Девять часов. Молодые практиканты в кожаных нарукавниках пятьдесят минут расспрашивают Острых, что они делали, когда были маленькими мальчиками. Большая Сестра с подозрением оглядывает хорошо подстриженные головы практикантов. Те пятьдесят минут, пока они находились в отделении, нелегкое время для нее. Пока они здесь, механизм начинает заедать, и она хмурится и делает пометки, чтобы проверить личные дела этих мальчишек, не было ли транспортных происшествий и тому подобное...

Девять пятьдесят. Практиканты ушли, и машина снова заработала гладко. Сестра осматривает дневную комнату из стеклянной будки; сцена перед ней снова обрела стальную ясность и упорядоченное движение смешного мультфильма.

Табера вывозят из лаборатории на каталке.

— Нам пришлось сделать ему еще один укол, когда он начал приходить в себя во время пункции, — сообщают ей техники. — Что вы скажете, если мы отвезем его напрямик в первый корпус и обработаем электрошоком, раз уж мы за это взялись, — а то жаль лишней дозы секонала.

— Думаю, это превосходное предложение. А потом мы отправим его на энцефалографию и проверим его голову: возможно, над его мозгом следует поработать.

Техники рысцой убегают, толкая перед собой каталку с пациентом.

Десять часов. Приходит почта. Иногда ты получаешь надорванный конверт.

Десять тридцать. Приходит этот тип, Связи с общественностью, за ним следует целый женский клуб. Он хлопает в жирные ладони в дверях дневной комнаты.

— О, привет, ребята. Держитесь молодцом, держитесь молодцом... Посмотрите вокруг, девочки; разве тут не чисто, не светло? Это — мисс Рэтчед. Я выбрал это отделение, потому что это — ееотделение. Она, девочки, здесь словно мать. Я, конечно, не имею в виду возраст, но вы, девочки, понимаете...

Воротник рубашки у Связи с общественностью такой тугой, что его лицо раздувается, когда он смеется, а смеется он большую часть времени, не знаю над чем, смеется высоким и быстрым смехом, словно бы и желал остановиться, но не может. Лицо красное и надутое, словно шар, на котором нарисованы глаза, нос, рот. На лице у него нет волос, да и на голове их столько, что и говорить не о чем; похоже, что он время от времени некоторые волоски приклеивает, но они продолжают выпадать и падать на обшлага, в карман рубахи и на воротник. Может быть, поэтому он и носит такой тугой воротник, чтобы отдельные волоски за него не попадали.

Он водит экскурсантов — серьезных женщин в жакетах-блейзерах — и рассказывает, как многое изменилось за эти годы. Он показывает телевизор, большие кожаные стулья, фонтанчики для питья; а потом они отправляются пить кофе на сестринский пост. Иногда он остается один и просто стоит посреди дневной комнаты и хлопает в ладоши (вы можете услышать, что они влажные), хлопает два или три раза, пока они не склеиваются, а потом складывает их, словно в молитве, под подбородком и начинает крутиться. Крутится посредине комнаты, глядя диким и яростным взглядом на телевизор, на новые картины на стенах, на питьевой фонтанчик. И смеется.

Чего такого веселого он видит, никому из нас никогда не дано узнать, и единственная вещь, которая мне кажется смешной, — это он сам, крутящийся

на месте, словно резиновая игрушка, – если вы толкнете его, он сдуется и тут же надуется снова, и выпрямится во весь рост, чтобы завертеться опять. Он никогда, никогда не смотрит в лица мужчин...

Десять сорок, сорок пять, пятьдесят. Пациенты спуют туда-сюда в соответствии с назначениями на электротерапию, трудотерапию или физиотерапию или в тихие маленькие комнатки где-то там, где стены никогда не бывают одинакового размера и полы неровные. Звуки машин вокруг достигли ровной экономичной скорости.

Отделение жужжит – звук примерно такой, какой я слышал однажды, когда футбольная команда играла в колледже в Калифорнии. После одного хорошего сезона болельщики в нашем городке так воодушевились, что оплатили нам полет в Калифорнию, чтобы мы сыграли там на чемпионате команд колледжей. Когда мы прилетели в город, нам пришлось посетить некоторые из местных заводов. Наш тренер всегда говорил, что спорт помогает учебе, а путешествия расширяют кругозор, и в каждую поездку он перед игрой таскал нашу команду по маслобойням, свекольным фермам и консервным заводам. В Калифорнии это была хлопковая фабрика. Когда мы приперлись туда, большинство ребят быстренько посмотрели и отправились обратно в автобус отдохнуть перед игрой, а я остался в уголке, стараясь не попасть под ноги негритянским девчонкам, которые бегали туда-сюда в проходах между машинами. Фабрика нагнала на меня что-то вроде сна: все вокруг жужжало, звенело и гремело, люди и машины – все слилось в один общий мотив. Именно поэтому я остался, тогда как другие ушли, и еще потому, что это напомнило мне одного мужчину из племени, который в последние дни покинул деревню, чтобы работать на дробилке гравия для плотины. Неистовый гул, лица, загипнотизированные повторением одного и того же... Я хотел выйти вместе с командой, но не смог.

Все происходило зимним утром. На мне была куртка – нам их купили, когда мы выиграли чемпионат, – красно-зеленая, с кожаными рукавами и эмблемой в форме футбольного мяча, пришитой на спине. Из-за этой куртки многие негритянские девочки на меня тарачились. Я снял ее, но они все равно тарачились. Тогда я был намного больше.

Одна из девчонок оставила свою машину, огляделась, чтобы убедиться, что старшего нет поблизости, а потом подошла ко мне. Поинтересовалась, собираемся ли мы играть сегодня вечером, и сказала, что у нее есть брат, который играет в защите. Мы немного поговорили о футболе и прочем таком, и я заметил, что ее лицо расплывается, словно в тумане. Это хлопковый пух летал в воздухе.

Я сказал ей о пухе. Она закатила глаза и прыснула в кулак, когда добавил, что вижу ее лицо словно туманным утром во время утиной охоты. Она в ответ: «И что бы мы с тобой делали, если бы остались одни, там, во время утиной охоты?» Я сказал, что она могла бы позаботиться о моем ружье, и все девушки вокруг захихикали. Я и сам посмеялся своей остроте. Мы все еще болтали и смеялись, когда она вдруг схватила мои руки и сжала пальцами. Черты ее лица приобрели резкость; я видел, что она напугана, что ей страшно.

– Давай, – прошептала она мне, – забери меня, большой мальчик. Забери с этой фабрики, из этого города, из этой жизни. Увези меня куда-нибудь: хоть на утиную охоту, хоть куда. Ну же, большой мальчик, ну?

Ее темное хорошенькое личико блестело прямо передо мной. Я стоял с открытым ртом, пытаюсь придумать, что ей ответить. Несколько секунд мы стояли друг против друга, сцепившись руками. Затем звук странно изменился и что-то начало отталкивать ее от меня. Какая-то невидимая сила зацепила эту цветастую красную юбку и потянула от меня. Она хваталась за мои руки,

а когда оторвалась от меня, ее лицо как бы раздвоилось и стало мягким и текучим, словно тающий шоколад за этим летящим хлопковым туманом. Она рассмеялась, крутанулась, и я увидел желтые ноги, когда юбка поднялась волной. Она подмигнула мне через плечо, убегая обратно к своей машине, где кипа волокон сваливалась со стола на пол; она стрелба ее и легко побежала по проходу между машинами, чтобы бросить волокно в бункер; а потом скрылась за углом, и больше я ее не видел.

Веретена, наматывающие и крутящиеся, челноки, прыгающие вокруг, бобины, пронизывающие воздух нитями, вымытые добела стены и серо-стального цвета машины, и девушки в цветастых юбках, и все вместе, опутанное белой паутиной, оплетающей фабрику, – все это, опутавшее меня и каждого, приходило на ум всякий раз, когда что-то в отделении мне об этом напоминало.

Да. Это было то, что я знал. Отделение – всего лишь фабрика для Комбината. Оно предназначено, чтобы исправлять здесь ошибки, совершающиеся по соседству, в школах, в церквях – для этого и существует больница. Когда законченный продукт возвращается обратно в общество, все решают, что он так же хорош, как и новый, иногда даже лучше, и это наполняет радостью сердце Большой Сестры. Нечто во всех отношениях изменилось и стало другим, и теперь является функциональным, хорошо прилаженным механизмом, воплощенный кредит доверия всему окружающему и чудо, к которому так приятно было приложить руку. Смотреть, как он теперь ходит по земле с хорошо сваренной арматурной улыбкой, определенный куда-нибудь в милое местечко по соседству. Он наконец приспособился к окружающему...

«Ну что ж, я никогда не видел таких потрясающих изменений, как те, что произошли с Максвеллом Табером с тех пор, как он вернулся из этой лечебницы; немного осунулся, небольшие круги под глазами, немножко потерял в весе и знаете что? Он теперь новый человек. Господи, современная американская наука...»

И свет в его подвальном окне прошлой ночью, каждую ночь. Элементы задержки реакции, внедренные техниками, дают проворность его пальцам, когда он склоняется над своей женой, наглотавшейся снотворного, его маленькие девочки – четырех и шести лет, соседи, с которыми он играет в боулинг по понедельникам; он приспособился к ним, как и был приспособлен. Так они об этом рассказывают.

Когда он наконец покидает их через предназначенное ему количество лет, город любит его всей душой, и газета публикует фотографию, как в прошлом году в день уборки кладбища он помогал бойскаутам, и его жена получает письмо от начальника колледжа о том, каким вдохновляющим примером был Максвелл Уилсон Табер для молодежи.

И даже бальзамировщики, эта парочка скупердяев и вымогателей, заколебались: «Да уж, вы только посмотрите на него: старина Макс Табер, он был из хорошего теста. Что вы скажете, если мы обиходим его по высшей и не возьмем с его жены лишка».

Все это приносит радость сердцу Большой Сестры, говорит о ее мастерстве и успехах, о всей индустрии в общем и целом. Все счастливы видеть продукт своего труда.

Но с новеньким совсем другая история. Даже самого лучшего поведения новенький нуждается в некоторой доработке, дабы привыкнуть к распорядку; вы также никогда не можете сказать, когда этот конкретный прибудет, и не будет ли он достаточно глуп, чтобы дурить всех направо и налево, устраивая настоящую неразбериху и представляя собой угрозу всей гладкости

заведенного порядка вещей. А как я уже объяснял, Большая Сестра по-настоящему готова выйти из себя, если что-то нарушает заведенный порядок.

* * *

Перед полуднем они снова включили туманную машину, но включили ее не на полную мощность – туман не настолько плотный, и я могу кое-что разглядеть, если напрягусь. Когда-нибудь я перестану напрягаться и позволю себе потеряться в тумане, как живут некоторые Хроники, но в тот раз я заинтересовался новым парнем – я хотел посмотреть, как он все воспримет, когда начнется собрание группы.

В десять минут первого туман совершенно рассеялся, и черные ребята говорят Острым, чтобы они расчистили место для собрания. Все столы вынесены из дневной комнаты в ванную через коридор напротив – и, как говорит Макмерфи, можно начинать танцы.

Большая Сестра следит за всем через окно. Она уже три часа не отходит от него, даже на обед не пошла. Пол дневной комнаты освободили от столов, и ровно в час доктор выходит из кабинета, кивает Большой Сестре, проходя мимо нее, и садится в кресло как раз слева от двери. Пациенты тоже садятся; затем подтягиваются маленькие сестры и практиканты. Когда все уселась, Большая Сестра поднимается со своего места и отходит в глубь сестринского поста к стальной панели с циферблатами и кнопками, включает что-то вроде автопилота, чтобы управлять всем, пока ее не будет, и входит в дневную комнату, неся с собой амбарную книгу и полную корзину записок. Ее форма, даже после того как она провела здесь полдня, накрахмалена так туго, что даже нигде не помялась; потрескивает на швах, словно замерзшая холстина, когда ее складываешь.

Садится справа от двери.

Только она уселась, Старина Пете Банчини поднимается и начинает трясти головой и причитать:

– Я устал, Господи. О, я ужасно устал... – Он так всегда делает, когда в отделении появляется новый человек, который, может, будет его слушать.

Большая Сестра даже не смотрит на Пете. Она просматривает бумаги в корзине.

– Пусть кто-нибудь сядет рядом с мистером Банчини, – говорит она. – Успокойте его, чтобы мы могли начать собрание.

Билли Биббит идет к нему. Пете повернулся лицом к Макмерфи и качает головой из стороны в сторону, словно сигнальный семафор на железнодорожном перекрестке. Он проработал тридцать лет на железной дороге; теперь страдает от истощения, но по старой памяти все еще функционирует.

– Я у-у-стал, – говорит он, поворачивая лицо к Макмерфи.

– Расслабься, Пете. – Билли кладет веснушчатую руку на колено Пете.

– ...Ужасно устал...

– Я знаю, Пете, – похлопывает по костлявому колену, и Пете отворачивает лицо, понимая, что никто сегодня не отзовется на его жалобу.

Сестра снимает наручные часы, сверяет с настенными, подводит свои и укладывает их в корзину. Потом берет из корзины папку.

– Итак, мы можем начать? – обводит взглядом собравшихся: не намерен ли кто-нибудь еще прервать ее; улыбается, и голова поворачивается над ее воротником.

Ребята не хотят встречаться с ней взглядом; они рассматривают свои заусенцы. Кроме Макмерфи. Он выбрал себе стул в углу и уселся так, словно заявил на него особые права, и следит за каждым ее движением. Кепка так туго натянута на его рыжеволосую голову, словно он собирается погонять на мотоцикле. Колода в его ладони открылась на одной карте, затем с громким хлопком сложилась обратно. Бегающие глаза Большой Сестры задержались на нем на секунду. Она следила за тем, как он все утро играл в покер, и, хотя не видела, чтобы из рук в руки передавались какие-нибудь деньги, он явно был не того типа, чтобы играть по правилам отделения – на спички. Колода раскрылась и с громким звуком закрылась снова, а потом исчезла где-то в его огромных ладонях.

Большая Сестра снова смотрит на часы и вытаскивает из папки, которую держит, лист бумаги. Просмотрела его и вернула в папку. Она опускает папку и поднимает амбарную книгу. Эллис закашлял на своем месте у стены; она ждет, пока он перестанет.

– Итак, в конце нашего собрания в пятницу... мы обсуждали проблему мистера Хардинга... касающуюся его молодой жены. Он утверждал, что его заставляет нервничать то обстоятельство, что на его жену постоянно заглядываются мужчины на улице, так как она наделена исключительно развитой грудью. – Она принимается искать нужное место в своей амбарной книге; виднеются маленькие закладки, отмечающие нужные страницы. – Согласно замечаниям, которые были высказаны различными пациентами и зафиксированы в журнале, мистер Хардинг заявил, что она «сама дает всяким ублюдкам повод глазеть на себя». Он также сообщил, что, возможно, самдает ей основания искать сексуального внимания на стороне. Мы все слышали, как он говорил: «Моя дорогая, прелестная, но глупая жenuшка думает, что любое слово или жест, которые не являются откровенным грубым похлопыванием, смачным поцелуем, относятся к ничему не значащим заигрываниям». – Она некоторое время продолжает тихим голосом зачитывать из книги, а потом закрывает ее. – Он также утверждал, что развитая грудь его жены временами заставляет его испытывать комплекс неполноценности. Желает ли кто-нибудь коснуться этой темы и развить ее дальше?

Хардинг закрывает глаза, остальные молчат. Макмерфи оглядел остальных ребят, подождал, не собирается ли кто-либо ответить сестре, затем поднял руку, щелкнув пальцами, словно мальчишка в классе, и Большая Сестра кивает ему.

– Мистер... э... Макмьюрри?

– Коснуться чего?

– Что? Коснуться...

– Я так понял, вы сказали «желает ли кто-нибудь коснуться...».

– Коснуться темы, мистер Макмьюрри, волнующей мистера Хардинга и его жену.

– О! Я подумал, что вы имели в виду коснуться ее самой – в этом плане.

– Итак, что вы можете... – Тут она останавливается. Она почти смущена – но только на одну секунду.

Некоторые из Острых прячут ухмылки, а Макмерфи потянулся, зевнул и подмигнул Хардингу. Затем Большая Сестра, как всегда спокойная, кладет амбарную книгу обратно в корзину, вынимает оттуда сложенный лист, разворачивает его и начинает читать.

– Макмьюрри Рэндл Патрик. Переведен по состоянию здоровья с пендлетонской исправительной фермы для диагностики и возможного лечения. Возраст – тридцать пять лет. Женат не был. Отличился во время службы в Корее, возглавив побег военнопленных из коммунистического концентрационного лагеря. Впоследствии демобилизован с позором за несоблюдение субординации. Далее следует целая серия уличных драк и скандалов в барах, арестов за злоупотребление спиртным, оскорбление действием, нарушение порядка, азартные игры и один арест – за изнасилование.

– Изнасилование? – оживился доктор.

– Формулировка, с девушкой, которая...

– Ха! Этого вы мне не пришьете, – говорит Макмерфи доктору. – Девушка не дала показаний.

– С ребенком пятнадцати лет.

– Она сказала, что ей семнадцать, док, и она сама ужасно хотела.

– Судебный врач осмотрел ребенка и зафиксировал половой акт, неоднократный половой акт, в записях сказано...

– Она сама хотела, правду сказать, иначе я держал бы штаны на запоре.

– Дитя отказалось свидетельствовать, несмотря на заключение врача. Похоже, имело место запугивание. Обвиняемый покинул город вскоре после судебного разбирательства.

– Да ладно, парень. Мне пришлось уехать. Док, позвольте, я расскажу вам. – Он наклонился вперед, опершись локтем о колено, и понизил голос, обращаясь к доктору, сидевшему напротив, на другой стороне комнаты. – Эта маленькая шлюшка к тому времени, как ей бы исполнилось шестнадцать, превратила бы меня в старое мочало. Она затащила меня туда, заморочила голову и повалила на пол.

Большая Сестра складывает лист и передает его доктору.

– Наш новенький, доктор Спайвей. – Словно внутри сложенной желтой бумаги сидит человек, и она передала листок, чтобы его хорошенько рассмотрели. – Я полагала, что смогу позже кратко рассказать вам его историю болезни, но поскольку он, по-видимому, настаивает на участии в работе группы, мы можем определиться с ним сейчас.

Доктор выудил очки из кармана халата, натянув веревочку, пристроил их на носу. Они немножко сбиваются вправо, но он тут же наклоняет голову влево и выравнивает их. Просматривая бумагу, слегка улыбается оттого, что этот новый парень так бесстыдно рассуждает, и, в отличие от всех нас, он вовсе не заботится о том, чтобы не лезть на рожон и не смеяться. Добравшись до конца листа, доктор складывает его и отправляет очки обратно в карман. Он смотрит на Макмерфи, который все еще сидит, подавшись вперед.

– У вас... похоже... нет психиатрической истории болезни, мистер Макмьюрри?

– Макмерфи, док.

– О? Но я думал... Сестра сказала... – Он снова открывает лист, выуживает все те же очки, с минуту просматривает записи, потом снова складывает лист и сует очки обратно в карман. – Да, Макмерфи. Это верно. Примите мои извинения.

– Все в порядке, док. Эта леди, которая начала тут говорить, сделала ошибку. Я знаю, некоторые люди расположены к этому. У меня был дядя, которого звали Хэллэхэн, и он однажды пошел с женщиной, которая притворялась, что не помнит, как правильно произносится его имя, и называла его Хулиганом, просто чтобы позлить. Прошел целый месяц, прежде чем он ее остановил. Но зато наилучшим образом, да уж.

– О? И как же он остановил ее? – спрашивает доктор.

Макмерфи ухмыльнулся и потер нос большими пальцами.

– Как же, ждите. Я не могу рассказать вам этого. Я держу метод дядюшки Хэллэхэна в страшном секрете, понимаете, на случай если он мне самому когда-нибудь понадобится. – Он произносит это, глядя прямо на сестру. Она улыбается ему в ответ, и он переводит взгляд на доктора. – Итак, что вы там хотели спросить насчет моих бумаг, док?

– Да. Меня удивляет, что у вас нет первичной психиатрической истории болезни. Может быть, вы подвергались анализу или провели какое-то время в другом заведении?

– Ну, контора штата и арестантские камеры...

– В психиатрическом заведении?

– А... Нет, если речь идет об этом. Это – моя первая поездка. Но я – сумасшедший, док. Клянусь, что это так. Послушайте, я сейчас вам это докажу. Я думаю, что другой доктор на исправительной ферме...

Он поднимается, вытаскивает из кармана куртки сложенный лист бумаги, проходит через комнату, наклоняется к плечу доктора и начинает тыкать пальцем в лист, разложенный на его коленях.

– Понимаете, он написал кое-что, вот тут и вот тут...

– Да? Это я упустил. Одну минуточку. – Доктор снова выуживает очки, напяливает их и смотрит туда, куда показывает Макмерфи.

– Вот здесь, док. Сестра оставила это без внимания, когда читала мое дело. Видите, тут сказано: «Макмерфи, со всей очевидностью, страдает от повторяющихся... –я только хочу убедиться, что вы меня правильно понимаете, док, – повторяющихся приступов возбуждения, что дает нам возможность предположить психопатию». Он сказал мне – прошу простить, леди, – что я чересчур ревностно отношусь к своим сексуальным обязанностям. Доктор, это и правда так серьезно?

Он спрашивает об этом словно маленький мальчик, который встревожен и озабочен, что доктор не может удержаться и прячет в воротник еще один смешок. Его очки сваливаются прямо в карман. Теперь уже улыбаются все Острые и даже некоторые из Хроников.

– Я имею в виду перебор, излишнее рвение, док. Вы когда-нибудь страдали от этого?

Доктор вытер глаза.

– Нет, Макмерфи, признаю, что не страдал. Однако меня интересует, почему доктор на исправительной ферме сделал такую приписку: «Не следует выпускать из виду, что этот человек может симулировать психоз для того, чтобы избежать исправительных работ на ферме». – Он посмотрел на Макмерфи. – Что вы на это скажете, Макмерфи?

– Доктор, – Макмерфи выпрямляется во весь рост, морщит лоб и разводит руками, как бы показывая, что он честен и открыт для всего мира, – разве я похож на нормального человека?

Доктор так старался удержаться, чтобы не захихикать снова, что не сумел ответить. Макмерфи поворачивается на сто восемьдесят градусов и задает тот же вопрос Большой Сестре:

– Похожи я?

Вместо того чтобы ответить, она встает и берет из рук доктора измятую бумагу и укладывает ее обратно в корзину. Садится на место.

– Может быть, доктор, вам следует поставить мистера Макмьюрри в известность о порядке проведения собрания?

– Мадам, – произносит Макмерфи, – разве я не рассказывал вам о моем дядюшке Хэллэхэне и о женщине, которая обычно перевирала его имя?

Довольно долго смотрит на него безо всякой улыбки. Она способна изображать улыбку, придавать лицу любое выражение, которое она намеревается на ком-нибудь использовать, но все это только видимость и не имеет никакого значения – просто рассчитанное, механическое действие, служащее ее целям. Наконец она говорит:

– Прошу прощения, Мак-мер-фи, – и поворачивается к доктору: – А теперь, доктор, если вы соизволите объяснить...

Доктор складывает руки на животе и откидывается на спинку стула.

– Да. Полагаю, я должен разъяснить основную теорию нашего терапевтического общества, раз уж мы об этом заговорили. Хотя я обычно откладываю это на попозже. Да. Хорошая идея, мисс Рэтчед, превосходная идея.

– Разумеется, и теорию также, но я имела в виду правило, которое гласит, что пациенты во время собрания должны оставаться на своих местах.

– Да. Конечно. А потом я объясню теорию. Мистер Макмерфи, первое, о чем вы должны знать, что пациенты во время собрания остаются на своих местах. Понимаете ли, для нас это – единственный способ поддерживать порядок.

– Точно, доктор. Я встал только для того, чтобы показать вам ту штуку в моей истории болезни.

Он возвращается на место, еще раз потягивается и зеваает, усаживается поудобнее на стуле, словно собака, решившая отдохнуть. Наконец устроился и внимательно смотрит на доктора.

– Что же до теории... – Доктор сделал глубокий вдох.

– Трахнуть эту жену, – говорит Ракли.

Макмерфи прикрывает рот тыльной стороной ладони и свистящим шепотом спрашивает Ракли через всю комнату:

– Чью жену?

И тут их перебивает Мартини, который глядит прямо перед собой широко распахнутыми глазами.

– Да, – вмешивается он, – чью жену? Ох. Ее? Да. Я вижу ее. Да уж.

– Я бы многое отдал, чтобы иметь такие глаза, как у этого парня, – сказал Макмерфи о Мартини – и замолчал. Он молчит до конца собрания. Просто сидит и смотрит, не пропуская ничего. Доктор говорит о своей теории, пока Большая Сестра не решает, что он потратил уже достаточно времени, и просит его умолкнуть, чтобы они могли перейти к Хардингу, и оставшееся время они говорят о нем.

Пару раз Макмерфи приподнимается со стула, словно что-то хочет сказать, но потом решает, что лучше будет промолчать, и снова откидывается назад. На его лице появляется озадаченное выражение. Он обнаруживает, что здесь происходит что-то странное. Он не может точно сказать что. Например, то, что никто не смеется. Он был уверен, что раздастся смех, когда он спросит Ракли: «Чья жена?» – но никто даже не улыбнулся. Воздух спрессовывается между стен, он слишком плотный, чтобы смеяться. Есть что-то странное в том, что здесь мужчины не могут расслабиться и посмеяться, в том, как они все подчиняются улыбающейся «мамочке» с напудренным лицом, накрашенной слишком красной губной помадой и со слишком большой грудью. Нужно немного выждать, думает он, чтобы понять, что же происходит в этом месте, прежде чем сам вступит в игру. Это доброе правило для умного шулера: вначале присмотришься к игре, прежде чем в нее вступить.

Я слышал теорию терапевтического общества такое количество раз, что могу повторить ее с начала до конца и с конца до начала – что человек должен научиться вести себя в группе, прежде чем сможет функционировать в нормальном обществе; что группа может помочь ему увидеть, где у него что не так; что общество решает, кто нормальный, а кто нет, так что вам придется ему соответствовать. И все такое. Каждый раз, как у нас в отделении появляется новый пациент, доктор углубляется в теорию, он уходит в нее по уши; и это – единственное время, когда он бывает главным и сам ведет собрание. Он рассказывает, что целью терапевтического общества является демократическое отделение, которое целиком и полностью управляется пациентами, где все решается голосованием, и оно работает над тем, чтобы вернуть нас обратно на улицы достойными гражданами. Всякое недовольство, всякая жалоба, все, что вам хотелось бы изменить, говорит он, должно быть вынесено на обсуждение группы, а не загонять внутрь себя. Вы должны чувствовать себя комфортно в своем окружении, свободно обсуждать эмоциональные проблемы с больными и персоналом. Говорите, повторяет он, обсуждайте, исповедуйтесь. И если вы услышите, что кто-то из ваших друзей в течение дня обронит что-то, запишите это в амбарную книгу, чтобы знал персонал. Это не донос, это поможет вашему товарищу. Вынесите ваши старые грехи на суд товарищей, чтобы их можно было отмыть на виду у всех. И участвуйте в групповых обсуждениях. Помогайте себе и своим друзьям проникать в тайны подсознания. У друзей не должно быть друг от друга секретов.

Наше намерение – так он обычно заканчивает свою речь – сделать все это максимально похожим на вашу собственную демократию, свободное

добрососедство, если возможно – маленький внутренний мир, который является прототипом большого внешнего мира, в котором вы в один прекрасный день займете свое место.

Может быть, он и дальше рассуждал по поводу этого пункта, но Большая Сестра на этом месте обычно заставляет его умолкнуть, и во временно наступившей тишине Старина Пете встает, мотает сплющенной головой, похожей на медный горшок, и говорит всем и каждому, как он устал, и сестра велит, чтобы кто-нибудь успокоил его, чтобы собрание могло продолжаться. Пете затыкается, и собрание продолжается.

Однажды – я могу припомнить только один раз, – четыре или пять лет назад, произошел небольшой сбой. Доктор закончил свои разглагольствования, и тут же вступила сестра:

– Итак. Кто начнет? Вспомним наши старые секреты.

Острые были ошарашены этим предложением и в течение двадцати минут сидели молча, ожидая, когда кто-нибудь начнет рассказывать о себе. Ее взгляд переходил с одного на другого – так же плавно, как переворачивают бекон. Дневная комната на долгих двадцать минут была погружена в тишину, и все пациенты застыли там, где сидели. Когда прошло двадцать минут, она посмотрела на часы и сказала:

– Должна ли я понимать это так, что среди вас нет мужчин, которые однажды совершили некие действия, в которых никогда не могли признаться? – Она сунула руки в корзину, чтобы достать амбарную книгу. – Посмотрим, что у нас записано?

Это привело в ход нечто, какое-то акустическое приспособление в стенах, которое специально включалось, когда именно эти слова слетают с ее губ. Острые застыли. Рты их одновременно открылись. Ее безразличные глаза остановились на первом человеке у стены.

И он тихо заговорил:

– Я ограбил кассира на станции обслуживания.

Она перевела взгляд на следующего человека.

– Я хотел затащить в постель сестру.

Ее взгляд быстро метнулся к следующему; и каждый подпрыгивал, словно оказывался мишенью в стрелковом зале.

– Я хотел затащить в постель брата.

– Я убил кошку, когда мне было шесть лет. О, Боже, прости меня, я забил ее камнями до смерти и сказал, что это сделал мой сосед.

– Я солгал о том, что пытался. Я отымел свою сестру!

– Я тоже! Я тоже!

– И я! И я!

Об этом она и мечтать не могла. Они шумели, пытаясь перещеголять друг друга, они шли все дальше и дальше, не останавливаясь, рассказывая такие вещи, после которых не могли бы поднять друг на друга глаз. Сестра кивала при каждом признании и говорила: «Да, да, да».

А потом Старина Пете поднялся на ноги.

— Я устал! — прокричал он громким сердитым голосом, в котором звучала медь и которого никто от него раньше не слышал.

И все заткнулись. Им вдруг стало стыдно. Это было так. Словно он неожиданно сказал что-то важное и правдивое, и это заставило их устыдиться своих детских выкриков. Большая Сестра была в ярости. Она повернулась на шарнирах и уставилась на него, улыбка каплями стекала на ее подбородок: еще секунду назад все шло так хорошо.

— Кто-нибудь присмотрите за бедным мистером Банчини, — сказала она.

Двое или трое поднялись. Они попытались успокоить его, взяв за плечи. Но Пете было не остановить.

— Устал! Устал! — продолжал он.

В конце концов сестра позвала одного из черных ребят, чтобы он увел его из дневной комнаты силой. Она забыла, что над такими людьми, как Пете, черные ребята не имеют власти.

Пете был Хроником всю жизнь. Даже несмотря на то, что в больницу он попал после пятидесяти лет, он всегда был Хроником. У него на голове были две большие вмятины, по одной с каждой стороны, там, где доктор, который принимал роды, наложил щипцы, пытаясь его вытащить. Пете впервые открыл глаза и увидел родильную комнату и всю ту машинерию, которая его ждала, и каким-то образом осознал, для чего он появился на свет, и принялся хватать все, что попадалось под руку, чтобы попытаться не родиться. Но доктор добрался до него и ухватил за голову тупыми щипцами для льда и вытащил, и заставил сдаться, и заявил, что все в порядке. Но голова Пете была еще слишком мягкой, словно глина, и, когда его вытаскивали, остались две вмятины от щипцов. Это сделало его простым — проще говоря, придурком, — таким простым, что от него требовались большие усилия, концентрация внимания и сила воли, чтобы выполнить задание, с которым легко мог справиться шестилетний ребенок.

Но не все так плохо — он был так прост, что не попал в лапы Комбината. Они были неспособны отлить его по шаблону. И тогда они позволили ему получить простую работу на железной дороге. Все, что ему нужно было делать, — это сидеть в маленьком фанерном домике, махать фонарем поездам: красным — в одну сторону, зеленым — в другую и желтым, если где-то впереди был поезд. И он это делал изо всех сил, надрывая кишки. И они не могли выбить это у него из головы, и он был один, сам по себе, у светофора. И ему никогда не вживляли никаких контролеров.

Именно поэтому черный парень никогда не пытался ему перечить. Но черный парень вовремя не подумал об этом, как и Большая Сестра, когда приказала увести Пете из дневной комнаты. Черный парень подошел и дернул Пете за руку — как вы бы дернули поводья лошади, запряженной в плуг.

— Все в порядке, Пете. Пойдем в спальню. Ты всем мешаешь.

Пете приподнял плечи.

— Я устал, — пожаловался он.

— Давай же, старик, ты устраиваешь шум. Пойдем со мной в кроватку, будь хорошим мальчиком.

— Устал...

– Я сказал, иди в спальню, старый хрыч!

Черный парень снова дернул его за руку, и Пете перестал мотать головой. Он стоял прямой и непоколебимый. Обычно глаза Пете были наполовину закрыты и затуманены, словно в них было налито молоко, но внезапно они стали ясными, словно голубой неон. И рука, за которую держался черный парень, начала увеличиваться. Персонал и большая часть пациентов переговаривались между собой, не обращая никакого внимания на старика и его старую песню о том, что он устал, полагая, что его сейчас утихомирят и собрание будет продолжаться. Они не видели, что он сжимает и разжимает кулак и он становится все больше. И только один человек это видел. Я видел, как он надувался и становился гладким и твердым. Большой ржавый железный мяч на конце цепи. Я смотрел на него и ждал, когда черный парень еще раз дернет Пете за рукав, чтобы увести его в спальню.

– Старина, я сказал, что ты должен...

Он увидел руку. Он попытался отодвинуться со словами: «Ты хороший мальчик, Пете», но немного опоздал. Пете отправил этот большой железный шар в путь, и он взметнулся прямо от его коленей. Черный парень распластался по стене и застыл, а потом стек на пол, словно стена в том месте была намазана жиром. Я слышал, как что-то хрустнуло внутри по всей стене, и штукатурка треснула в тех местах, где он в нее влип.

Остальные двое – последний парень и еще тот большой – стояли, словно окаменевшие. Сестра щелкнула пальцами, и они пришли в движение. Немедленно задвигались, скользя по полу. Маленький рядом с большим – как уменьшенное отражение в зеркале. Они уже были почти рядом с Пете, когда до них неожиданно дошло: Пете не прикреплен к проводкам, он не под контролем, как мы все, остальные, он не станет слушаться просто потому, что они отдали ему приказ, он не отдаст свою руку, чтобы они за нее тянули. Если им придется взять его, то как дикого медведя или быка, а поскольку один из них уже был вне игры и лежал у плинтуса, остальные двое призадумались.

Эта мысль пришла к ним одновременно, и они застыли, большой парень и его крошечный двойник, почти в одной и той же позиции, левая нога впереди, правая рука вытянута на полпути между Пете и Большой Сестрой. Этот железный мяч, который крутился у них перед носом, и эта белоснежная ярость позади них, они тряслись и дымилась, и даже я мог слышать, как работают их механизмы. Я мог видеть, что они подергиваются в замешательстве, словно машины, которым на полной скорости дали по тормозам.

Пете стоял там, посередине комнаты, крутя своим шаром назад и вперед, наклоняясь под его тяжестью. Теперь уже все смотрели на него. Он перевел взгляд с большого черного парня на маленького и, когда увидел, что они не решаются подойти ближе, повернулся к пациентам.

– Вот видите – это большая чепуха, – сказал он им, – большая чепуха.

Большая Сестра соскользнула со стула и двинулась к плетеной корзине, прислоненной к двери.

– Да-да, мистер Банчини, – тихо пропела она, – а теперь, если вы успокоитесь...

– Все это так и есть, ничего, просто большая чепуха. – Его голос потерял медную силу и стал напряженным и торопливым, словно у него оставалось совсем мало времени, чтобы закончить то, что он хочет сказать. – Вы

видите, я ничего не могу поделать. Я не могу – разве не видите. Я родился мертвым. Не вы. Вы не родились мертвыми. А-а-а, это было тяжело...

Он начал плакать. Теперь он уже больше не мог правильно выговаривать слова; он открывал и закрывал рот, чтобы что-то сказать, но не мог больше складывать слова в предложения. Он потряс головой, чтобы она прояснилась, и, моргая, смотрел на Острых.

– А-а-а. Я... говорю... а-а... я говорю вам. – Он снова ссутулился, и его железный шар сдулся до размеров обыкновенной руки. Он держал ее перед собой, ладонь – чашечкой, словно предлагал что-то пациентам. – Не могу ничего поделать. Я родился по ошибке. Я перенес столько обид, что умер. Я родился мертвым. Я ничего не могу поделать. Я пытался. Я перестал пытаться. У вас есть шансы. Я родился мертвым. Вам это легко. Я родился мертвым, и жизнь была тяжелой. Я устал. Я пытался говорить и стоять прямо. Я мертв уже пятьдесят пять лет.

Большая Сестра подобралась к нему через комнату и воткнула шприц прямо через зеленые штаны. Отпрыгнула назад, не вынимая иглы из шприца, и он повис на его штанах, словно маленький хвост из стекла и стали. Старина Пете стибался все больше и больше, почти падал – не столько от укола, сколько от усталости; последняя пара минут изнурила его окончательно и бесповоротно, раз и навсегда – вам стоило только посмотреть на него, чтобы сказать, что он кончился.

Так что, по-настоящему, делать укол не было нужды; его голова уже начала мотаться туда-сюда, а глаза затуманились. К тому времени, как сестра сумела подобраться к нему сзади, чтобы вытащить иглу, он уже совсем согнулся, лежал прямо на полу и рыдал. Слезы даже не смачивали лица, а разбрызгивались широко вокруг, когда он мотал головой, лились потоком, словно он сеял их, как семена. «А-а-а-а», – тихо подвывал он. Он не вздрогнул, когда она выдернула иглу.

Он, наверное, всего лишь на минуту вернулся к жизни, чтобы сказать нам что-то, что ни один из нас не позаботился услышать или попытаться понять, и это усилие выжало его досуха. Этот укол в ягодицу был так же напрасен, как если бы она колола мертвеца – не было сердца, чтобы разогнать его кровь, не было вен, чтобы перенести ее к голове, не было мозга, чтобы умертвить его своим ядом. Она с таким же успехом могла бы уколоть высохший труп.

– Я... устал...

– Итак, я полагаю, мальчики, вы достаточно храбры, чтобы мистер Банчини отправился в кроватку.

– ...У-жас-но устал.

– Доктор, а вы осмотрите, пожалуйста, Уильямса. У него часы разбились, и он порезал руку.

Пете больше никогда не пытался устроить что-либо подобное и больше никогда к этому не стремился. Теперь, когда он пытается выступить во время собрания, его стараются быстро успокоить, и он затыкается. Время от времени он встает и мотает головой, и сообщает нам, как он устал, но теперь это не жалоба, не извинение и не предостережение – он покончил с этим. Это вроде старых часов, которые не показывают время, но и не могут остановиться: со стрелками, лишенными формы, и циферблатом, лишенным цифр, и со звонком, который давно заржавел; старые, ненужные часы, которые все же продолжают тикать – только это ничего не значит.

* * *

Группа все еще разбирает по частям бедного Хардинга, а стрелки показывают два часа.

В два часа доктор начинает ерзать на стуле. Доктор всегда чувствует себя на встречах некомфортно – разве что когда говорит о своей теории; он предпочитает сидеть в кабинете, вычерчивая графики. Он поерзал, откашлялся, сестра смотрит на часы и велит нам принести столы обратно из ванной комнаты. Нашу дискуссию мы продолжим завтра в час. Острые выходят из транса, украдкой поглядывая на Хардинга. Их лица горят от стыда, они только что осознали, что снова свалили дурака. Некоторые из них двинулись через холл в ванную, чтобы принести столы, другие слоняются у стеллажей, проявляя недюжинный интерес к старым журналам, но на самом деле они избегают Хардинга. Их снова хитрым маневром заставили поджаривать на угольях одного из своих друзей, словно он был преступником, а они все – прокурорами, судьями и присяжными. В течение сорока пяти минут разрывали человека на части, так, словно бы им это доставляло удовольствие; они выстреливали в него вопросами типа: как он думает, почему не может удовлетворить свою жену; почему он настаивает, что у нее никогда ничего не было с другими мужчинами; как он рассчитывает поправиться, если не отвечает честно? – вопросы и провокации, пока им самим не станет от этого тошно, и теперь им больше не хочется оставаться около него.

Глаза Макмерфи следят за ними. Не встал со стула. Он снова выглядит озадаченным. Некоторое время сидит на стуле, глядя на Острых, потирая карточной колодой рыжую щетину на подбородке, затем, наконец, встает, зеваает и потягивается, почесал живот углом колоды, затем сунул ее в карман и двинулся туда, где потный Хардинг сидит в одиночестве.

Макмерфи одну минуту смотрит на Хардинга сверху вниз, затем опускает большую руку на спинку стоящего рядом деревянного стула, поворачивает его так, чтобы спинка оказалась лицом к Хардингу, и садится верхом, словно на маленькую лошадку. Хардинг ничего не замечает. Макмерфи похлопал по карманам, пока не нашел сигареты, вытащил одну и зажег; держит ее перед собой и хмурится, глядя на кончик, потом облизывает большой и указательный пальцы и выравнивает огонек.

Все стараются не смотреть друг на друга. Я не могу даже сказать, заметил ли Хардинг Макмерфи вообще. Хардинг свел тощие лопатки так, что они почти касаются друг друга, он чуть ли не обернулся ими, словно зелеными крыльями. Он сидит очень прямо на краешке стула, зажав руки между коленями. Он смотрит прямо перед собой, бормоча что-то под нос, стараясь выглядеть спокойным, а сам закусил щеки, и это придает ему вид улыбающегося черепа, совсем не спокойно улыбающегося.

Макмерфи сунул сигарету между зубов, сложил руки на деревянной спинке стула и уперся в них подбородком, зажмурил глаз из-за дыма. Другим глазом он некоторое время смотрит на Хардинга, потом начинает говорить, а сигарета поднимается и опускается вместе с губами.

– Скажи мне, приятель, эти маленькие ветречи всегда так проходят?

– Всегда проходят? – Хардинг перестает бормотать. Он уже больше не жует щеки, но все еще смотрит прямо перед собой, куда-то за плечо Макмерфи.

– Это что, обычная процедура для этих фестивалей групповой терапии? Встреча со связкой цыплят, которых следует ошипать живьем?

Хардинг рывком повернул голову, и его глаза уперлись в Макмерфи, только сейчас он заметил, что кто-то сидит прямо перед ним. Его лицо смялось, потому что он снова закусил щеки. Он опускает плечи и откидывается на спинку стула, старается выглядеть расслабленным.

– Ошипать живьем? Боюсь, что ваша оригинальная речь пропадает даром, вы зря теряете со мной время, друг мой. У меня нет ни малейшего представления, о чем вы говорите.

– Ну что ж, тогда я тебе объясню. – Макмерфи повысил голос; и хотя не смотрит на других Острых, говорит для них. – Стая видит каплю крови у какого-нибудь цыпленка, и все они начинают ошипывать его заживо, понимаешь, пока не обдерут до костей, не разорвут его на клочки, не разделят на кровь, кости и перья. Но обычно парочка из толпы не участвует в скандале, тогда приходит их черед. И снова парочка не участвует, и ее ошипывают до смерти, и еще, и еще. На такой вечеринке можно уничтожить целую стаю – это вопрос нескольких часов, приятель. Я такое видел. По-настоящему ужасное зрелище. И единственный способ предотвратить это – с цыплятами – надеть им на глаза шоры. Тогда они не могут видеть.

Хардинг сплетает длинные пальцы на колене и подтягивает его к себе, откинувшись на стуле.

– Вечеринка «ошипай живьем». Это, без сомнения, удачная аналогия, мой друг.

– И именно об этом напомнила мне встреча, на которой я только что присутствовал, старина, если ты хочешь узнать грязную правду. Она напомнила мне стаю грязных цыплят.

– Получается, я – цыпленок с каплей крови?

– Это точно, старина.

Они все еще ухмыляются, глядя друг на друга, но их голоса стали такими тихими и напряженными, что мне приходится пододвинуться к ним со своей шваброй, чтобы услышать. Другие Острые тоже подошли поближе.

– А хочешь узнать кое-что еще, старина? Хочешь знать, кто ошипывает этого первого цыпленка?

Хардинг ждет, когда он продолжит.

– Эта старая нянька, вот кто.

В наступившей тишине послышался испуганный вой. Я слышу, как в стенах сработали и зашумели машины. Хардинг переживает тяжелые минуты, ему трудно удержать руки, но он все еще пытается вести себя спокойно.

– Итак, – говорит он, – это все так просто, так тупо и просто. Вы провели в этом отделении шесть часов и уже упростили все работы Фрейда, Юнга и Максвелла Джонса и суммировали их в одну аналогию – вечеринка «ошипай живьем».

– Я не говорю о Фреде Юнге и Максвелле Джонсе, приятель, я просто говорю об этом дешевом собрании и о том, что эта нянька и остальные ублюдки сделали с тобой. Если называть вещи своими именами.

– Сделалисо мной?

– Это точно, сделали. Сделали, не оставив тебе ни шанса. Ты, должно быть, совершил что-нибудь этакое, если нажил такую кучу врагов, приятель, потому что, похоже, они на тебя взъелись всем миром.

– Это уж слишком. Вы совершенно ничего не поняли, целиком и полностью проглядели и проигнорировали тот факт, что все это они делали для моей же пользы! Что любой вопрос, поднятый персоналом, и в частности мисс Рэтчед, обсуждается исключительно из терапевтических соображений. Должно быть, вы не услышали ни слова из теории терапевтического общества доктора Спайвея, или у вас недостаточно образования, чтобы уяснить происходящее. Я разочарован в вас, мой друг, о, очень разочарован. Сегодня утром вы показались мне умнее: возможно, невежда и олух, разумеется, твердолобый хвостун с чувствительностью не больше чем у портновского утюга, но, тем не менее, в основе своей – неглупый человек. Но при всей своей наблюдательности и проницательности я, видимо, тоже иногда ошибаюсь.

– Ну и черт с тобой, приятель.

– О да, я забыл добавить, что сегодня утром я подметил также и вашу примитивную жестокость. Психопат с несомненными садистскими наклонностями, вероятно мотивируемые непомерной эгоманией. Да. Насколько я могу видеть, все эти естественные таланты, без сомнения, квалифицируют вас как компетентного терапевта и дают вам право критиковать процедуру собраний мисс Рэтчед, учитывая тот факт, что она является высококвалифицированной психиатрической медицинской сестрой и трудится на этой ниве в течение двадцати лет. Да, с вашим талантом, мой друг, вы могли бы творить с подсознанием чудеса, усмирять боль и исцелять израненное супер-эго. Думаю, что вы, вероятно, могли бы провести курс лечения для всего отделения, для Овощей и прочих. Всего за шесть месяцев гарантировано исцеление, в противном случае деньги возвращаем обратно!

Макмерфи не спорит, а только смотрит на Хардинга и, наконец, спрашивает его, понизив голос:

– И ты действительно думаешь, что эта фигня, которая была сегодня на собрании, может кого-то исцелить?

– Какие еще иные причины могли бы заставить нас подчиниться этому, друг мой? Персонал желает нашего выздоровления так же, как и мы. Они ведь не монстры. Мисс Рэтчед, может быть, строгая леди, но она не монстр во главе местного клана, которая с садистским удовольствием клюет нам глаза. Вы же не можете поверить в такое, ведь нет?

– Нет, приятель, только не в это. Она клюет вам не глаза. Не это она клюет.

Хардинг вздрагивает, и я вижу, что его руки, зажатые между колен, начинают вырваться, словно белые пауки между двумя покрытыми мхом сучьями, сливающимися в ствол.

– Не глаза? – спрашивает он. – Умоляю, скажите, что именно клюет мисс Рэтчед, друг мой?

Макмерфи ухмыляется:

– Как, разве ты не знаешь, приятель?

– Нет, конечно же я не знаю! Я хочу сказать, если вы не...

– Ваши яйца, приятель, ваши любимые яйца.

Пауки добрались до соединения со стволом и устроились там, подергиваясь. Хардинг пытается усмехнуться, но его лицо и губы так белы, что усмешка стерлась. Он уставился на Макмерфи. Макмерфи вытаскивает сигарету изо рта и повторяет:

– Прямо ваши яйца. Нет, эта нянька – не какой-то большой монстр, чтобы пугать цыплят, приятель, она – та, кто отрезает яйца. Я их видел огромное количество, старых и молодых, мужчин и женщин. Видел их и на улице, и у них дома – людей, которые пытаются сделать тебя слабым, заставить следовать их правилам, заставить жить так, как они этого от тебя хотят. И лучший способ заставить тебя подчиниться – ударить, где всего больней. У тебя когда-нибудь тряслись поджилки при скандале, приятель? Лишаешься хладнокровия, разве нет? Нет ничего хуже этого. Это делает тебя больным, это высасывает все силы, какие только у тебя есть. Если ты связался с парнем, который хочет выиграть, сделав тебя слабее вместо того, чтобы самому быть сильным, тогда следи за его коленом, он нацелился на твою жизненную сущность. Именно это и делает эта старая тушенная индейка, именно это она и делает с твоей жизненной сущностью.

В лице у Хардинга по-прежнему ни кровинки, но он снова обретает контроль над своими руками; они свободно легли перед ним, пытаюсь стряхнуть сказанное Макмерфи.

– Наша дорогая мисс Рэтчед. Наша сладкая, улыбающаяся, нежная и милосердная матушка Рэтчед отрезает яйца? Ну, друг мой, это ни на что не похоже.

– Приятель, нечего метать мне крапленую карту насчет нежной маленькой матушки. Может быть, она и мать, но она – огромная, как чертов коровник, и жесткая, словно металл у ножа. Она дурачила меня своим видом доброй маленькой старой матушки, может быть, минуты три, когда я прибыл сюда утром. Минуты три, не больше. Думаю, что она и вас дурачила, ребята, и не год и не полгода. Правду сказать, я повидал на своем веку сук, но она всем даст фору.

– Сука? Но еще секунду назад она отрезала яйца, а потом была тушеной индейкой. Или это был цыпленок? Ваши метафоры теснят одна другую, друг мой.

– Черт с ним; она сука и тушенная индейка, и отрезает яйца. И не сбивай меня, ты знаешь, о чем я говорю.

Теперь лицо и руки Хардинга двигаются быстрее, чем обычно, – ускоренный фильм из жестов, усмешек, гримас, ухмылок. Чем больше он старается остановить это, тем быстрее крутится пленка. Когда он позволяет рукам и лицу двигаться, как им будет угодно, и не пытается удержать их, они двигаются и жестикулируют так, что на это действительно приятно посмотреть, но когда он начинает волноваться за них и пытается удержать, становится дикой, дерганой марионеткой, исполняющей сложный танец. Все быстрее и быстрее, и его голос тоже убыстряется, чтобы соответствовать заданному темпу.

– Послушайте, друг мой, мистер Макмерфи, мой психопатический товарищ по несчастью, наша мисс Рэтчед – настоящий ангел милосердия, и все вокруг это знают. Она бескорытна, словно ветер, она трудится на благо всех других, не получая благодарности, день за днем, пять долгих дней в неделю. Это требует мужества, друг мой, мужества. На самом деле я располагаю информацией из надежных источников – я не свободен раскрывать свои источники, но могу сказать, что Мартини находится в контакте с теми же

людьми большую часть времени. И она на этом не останавливается, она служит человечеству и по выходным, безвозмездно выполняя общественную работу в городе. Готовит множество благотворительных подарков – консервы, сыр для вяжущего эффекта, мыло – и дарит их какой-нибудь молодой паре, у которой временные финансовые затруднения. – Его руки взметнулись в воздух, рисуя эту картину. – Да, смотрите. Вот она, наша сестра. Она нежно стучится в дверь. Плетеная корзина. Молодая пара от радости лишилась дара речи. Муж стоит с открытым ртом, жена, не таясь, рыдает. Она оглядывает их жилище. Обещает прислать денег на чистящее средство. Ставит корзину на пол в центре комнаты. И когда наш ангел уходит, посылая воздушные поцелуи, улыбаясь неземной улыбкой, она так переполнена сладким молоком человеческой доброты, она вне себя от щедрости. Внес себя, вы слышите? Задержавшись у двери, предлагает новобрачной двадцать долларов из собственных денег: «Иди, бедное, несчастное, некормленное дитя, иди и купи себе приличное платье. Я понимаю, что твой муж не может себе этого позволить, но послушай, возьми и купи». И эта пара навеки в долгу перед ее щедростью.

Он говорит все быстрее и быстрее, вены вздуваются на шее. Когда он перестает говорить, в отделении наступает полная тишина. Я не слышу ничего, кроме слабого шуршащего звука, – видимо, записывают все на магнитофон.

Хардинг огляделся, увидел, что все смотрят на него, и сделал отчаянную попытку рассмеяться. Звук такой, словно вытаскивают гвоздь ломом из свежей сосновой доски: хее-ее-ее. Он не может остановиться. Он выкручивает руки, словно муха, и зажмуривает глаза от этого ужасного писка. Но он не может остановиться. Смех становится все выше и выше. Наконец, всхлипнув, он опускает голову на руки.

– О, сука, сука, сука, – шепчет он сквозь зубы.

Макмерфи зажигает другую сигарету и предлагает ему; Хардинг молча берет ее. Макмерфи озадаченно и с любопытством рассматривает Хардинга, словно впервые видит его. Он смотрит, как судороги и подергивания Хардинга становятся слабее, и он отнимает руки от лица.

– Вы правы, – говорит Хардинг, – насчет всего этого. – Он обводит взглядом пациентов, наблюдающих за ними. – Никто еще не осмеливался сказать об этом раньше, но нет среди нас человека, который бы так не думал, который бы не чувствовал к ней и ко всему этому заведению то же самое, что чувствуете вы, где-то в глубине своей перепуганной маленькой душонки.

Макмерфи хмурится и спрашивает:

– А как насчет маленького пердила, доктора? Может быть, он немножко туго соображает, но не до такой же степени, чтобы не видеть, как она взяла над всеми верх и что она делает.

Хардинг глубоко затягивается сигаретой и говорит, медленно выпуская дым:

– Доктор Спайвей... в точности такой же, как и все остальные, осознающий свою неполноценность. Он – напуганный, отчаявшийся, маленький кролик, совершенно неспособный руководить этим отделением без помощи мисс Рэтчед, и он это знает. И что еще хуже, она знает и напоминает ему об этом при каждом удобном случае. Каждый раз, как она обнаруживает, что он допустил маленькую неточность – на бумаге или еще где, – тычет его туда носом.

– Это правда, – говорит Чесвик, подойдя к Макмерфи, – она тычет нас носом в наши ошибки.

– Почему он не уволит ее?

– В этой больнице, – говорит Хардинг, – доктор не имеет права нанимать или увольнять персонал. Это делает супервайзер, а супервайзер – женщина, близкая подруга мисс Рэтчед. В тридцатые годы они вместе были медсестрами в армии. Мы все здесь жертвы матриархата, и доктор так же бессилен против всего этого, как и мы. Он знает, что стоит мисс Рэтчед взять телефонную трубку, позвонить супервайзеру и упомянуть, что доктор делает частные заказы на демерол...

– Кончай, Хардинг, я не слишком разбираюсь в этих терминах.

– Демерол, мой друг, – это синтетический опий, вызывающий привыкание в два раза быстрее, чем героин. Доктора достаточно часто привыкают к нему.

– Этот маленький пердила? Он подсел на наркотики?

– Я этого не знаю.

– Тогда как она может обвинить его в...

– О, вы невнимательны, друг мой. Она не будет обвинять. Она просто намекнет на кое-что, разве непонятно? Разве вы не заметили сегодня? Она просто зовет человека к двери сестринского поста и спрашивает про клинекс у него под кроватью. Ничего больше, просто вопрос. И он уже чувствует себя лгуном, какой бы ответ он ни дал. Если скажет, что чистил ручку, она ответит: «Да, я все поняла» – и кивнет аккуратной седой прической, улыбнется дежурной улыбкой, повернется и уйдет на сестринский пост, оставив его гадать, для чего же на самом деле он использовал этот клинекс. – Хардинг дрожит, его плечи складываются, как крылья. – Нет, она не обвиняет. Она – гений намеков. Вы слышали, чтобы она хоть разобвинила меня в чем-то? А кажется, что она обвинила меня в множестве пороков: в ревности и паранойе, в том, что я не могу удовлетворить жену, в странных отношениях с друзьями-мужчинами, в том, что я вызывающим образом держу сигарету, даже, как мне показалось, в том, что у меня между ног ничего нет, кроме кустика волос – мягких, пушистых, белокурых волос на этом месте! Отрезает яйца? О, вы ее недооценили! – Хардинг неожиданно замолк, наклонился вперед и взял за руку Макмерфи. Его лицо странно меняется, становится острым, зазубренным, фиолетовым и серым, словно пустая бутылка из-под вина. – Этот мир... принадлежит сильным, друг мой, а сильный становится сильным, пожирая слабых. Мы должны признать это. Все должно быть так, и с этим не поспоришь. Мы должны принять это как закон природы. Кролики подчинились этому закону и признали волка сильным. В целях защиты кролик становится хитрым, напуганным и увертливым, он роет норы и прячется, когда поблизости оказывается волк. Он все выносит и продолжает жить. Он знает свое место. Вероятнее всего, он никогда не вызовет волка на поединок. Вряд ли это было бы мудро? Вряд ли? – Он отпустил руку Макмерфи, откинулся назад, скрестил ноги, еще раз глубоко затянувшись сигаретой. Он вытаскивает сигарету из узкой щели рта и снова смеется – иии-иии-иии, словно гвоздь вытаскивают из доски. – Макмерфи... друг мой... я не цыпленок, я – кролик. И доктор – кролик. Наш Чесвик – тоже кролик. Билли Биббит – кролик. Все мы тут кролики разного возраста и положения, скачущие по миру Уолта Диснея. Поймите меня правильно, мы кролики не потому, что сидим здесь, – мы оставались бы кроликами где угодно потому, что никак не можем приспособиться к своему кроличьему состоянию. Мы нуждаемся в хорошем большом волке вроде нашей сестры, чтобы она все время указывала нам наше место.

– Послушай, парень, ты рассуждаешь как дурак. Ты хочешь сказать, что вы и дальше намерены сидеть в уголочке и позволять какой-то тетке с голубыми волосами заговаривать вас до состояния кроликов?

– Заговаривать меня? Нет уж. Я родился кроликом. Вы только взгляните на меня. Просто я нуждаюсь в сестре, чтобы быть довольным своей ролью.

– Черт побери, ты не кролик!

– Разве вы не видите эти длинные уши? Этот розовый нос? Этот короткий, словно пуговичка, хвостик?

– Ты говоришь как чокнутый па...

– Как чокнутый? Какая пронцательность.

– Черт бы побрал тебя, Хардинг. Я не это хотел сказать. В этом смысле ты не чокнутый. Разрази меня гром, я был поражен тем, какие вы все, парни, нормальные. Насколько я могу судить, вы все не больше сумасшедшие, чем любая задница, которая шляется по улице...

– Ну конечно, задница, которая шляется по улице.

– Ну да, ты сам знаешь, что вы не такие чокнутые, каких показывают в кино. Вы просто подняли лапки и... похожи на...

– Похожи на нечто вроде кроликов, разве это не так?

– Кролики, черт! Ничего похожего на кроликов, пропади все это пропадом.

– Мистер Биббит, попрыгайте, пожалуйста, вокруг мистера Макмерфи. Мистер Чесвик, а ну-ка, покажите, какой вы белый и пушистый.

Билли Биббит и Чесвик сторбились и превратились в белых кроликов прямо у меня на глазах, но им было слишком стыдно, чтобы проделать все то, о чем просил их Хардинг.

– Ах, Макмерфи, они стесняются. Разве это не прелестно? Есть вероятность, что легче всего заболевают люди, которые не защищают своих друзей. Может быть, они чувствуют себя виноватыми оттого, что они сегодня снова позволили допрашивать себя, снова позволили стать ее жертвами. Веселей, друзья, вам нечего стыдиться. Все было так, как и должно быть. Не дело кролика вступаться за такого же, как он. Это было бы просто глупо. Нет, вы поступили мудро, трусливо, но мудро.

– Послушайте, Хардинг, – говорит Чесвик.

– Нет-нет, Чесвик. На правду не обижаются.

– Нет, послушайте. Были времена, когда я говорил о старушке Рэтчед то же самое, что говорит сейчас Макмерфи.

– Да, но вы говорили это очень тихо и позже взяли свои слова обратно. Вы – тоже кролик, и не пытайтесь закрыть глаза на правду. Именно поэтому я не держу на вас зла. Вы просто играли свою роль. Если бы на ковер вызвали вас, или вас, Билли, или вас, Фредериксон, я бы напал с той же жестокостью, с какой вы напали на меня. Мы не должны стыдиться своего поведения; именно так и должны вести себя мелкие грызуны.

Макмерфи поворачивается на стуле и внимательно смотрит на Острых.

– Я не уверен, что им нечего стыдиться. Лично я полагаю, что с их стороны было, черт побери, довольно поганно переметнуться на ее сторону против тебя. На одну минуту мне показалось, что я снова у красных, в китайском концлагере.

– Но, ради бога, мистер Макмерфи, – говорит Чесвик, – послушайте меня.

Макмерфи повернулся и приготовился слушать, но Чесвик больше ничего не сказал. Чесвик никогда не говорил дальше; он – один из тех парней, которые устраивают много шума, словно собираются вести людей в атаку, бросаются вперед, на одну минуту устраивают бурю в стакане воды, делают шаг-другой – и дают деру. Макмерфи посмотрел на Чесвика, застывшего после такого многообещающего начала, и сказал:

– Черт, мне все это очень сильно напоминает китайский концлагерь.

Хардингу наконец удается поймать и успокоить свои руки.

– О нет-нет, это совсем не так. Вы не должны осуждать нас, друг мой. Нет. На самом деле...

Я вижу, что в глазах Хардинга снова появилось лукавое возбуждение; думал, что он сейчас начнет смеяться, но вместо этого он вытаскивает изо рта сигарету и указывает ею на Макмерфи – в его руке она кажется еще одним белым пальцем, дымящимся на конце.

– ..Вы тоже, мистер Макмерфи, при всех ваших ковбойских угрозах, с вашим важным видом и вашими выходками, вы тоже – подо всей этой грубой оболочкой – скорее всего, такой же мягкий и пушистый и с такой же кроличьей душой, как и все мы.

– Да, держу пари, что так оно и есть. Я – маленький американский кролик. Но что делает меня кроликом, Хардинг? То, что я психопат? Или люблю подрататься или потрахаться? Скорее всего, второе, правда ведь? Все эти «перепихнуться-по-быстрому-туда-сюда-благодарю-мадам». Да, все эти перепихнуться по-быстрому, вероятно, и делают меня кроликом...

– Подождите. Я полагаю, вы подняли вопрос, который требует обсуждения. О кроликах известно, что это – их характерная черта, не так ли? Действительно, они все время перепихиваются. Да. Гм. Но в любом случае ваши утверждения свидетельствуют о том, что вы – здоровый, активный и адекватный кролик, в то время как большинство из нас не может считать себя полноценными кроликами. Мы – неудачники, мы – слабые, чахлые, немощные маленькие создания, принадлежащие к слабой категории, а это весьма печально.

– Подожди минутку, я говорил совсем не о том...

– Нет. Вы правы. Помните, ведь именно вы привлекли наше внимание к тому месту, куда сестра все время норовит нас клюнуть? Это правда. Среди нас нет мужчины, который бы не боялся, что теряет или уже утратил свою способность перепихнуться. Мы – комичные маленькие создания, и не можем достигнуть мужественности даже и в кроличьем мире, настолько мы слабы и неадекватны. Хи-хи-хи. Можно сказать, что мы – кроликидаже среди кроликов!

Он снова наклонился вперед, и напряженный, скрипящий смех, тот самый, которого я и ожидал, вырывался у него изо рта, руки заметались вокруг, а лицо задергалось.

– Хардинг! Заткни свою чертову пасть!

Это звучит как пощечина. Хардинг умолк, словно отрезало, и только рот все еще открыт в кривой ухмылке, а руки зависли, болтаясь, в облаке голубоватого табачного дыма. На одну секунду он застывает в такой позе; затем его глаза сужаются до узких крохотных щелочек, он переводит взгляд на Макмерфи и говорит так тихо, что мне приходится придвинуть свою швабру едва ли не вплотную к стулу, чтобы расслышать его слова.

– Дружище... ты...возможно, ты – волк.

– Какой, к черту, я волк, и ты – не кролик. Фу-ух, в жизни не слышал такой...

– Но рычишь ты совсем как волк.

Со свистом переведя дыхание, Макмерфи отворачивается от Хардинга, чтобы посмотреть на других Острых, столпившихся вокруг.

– Послушайте, ребята. Что, черт возьми, с вами случилось? Вы же не до такой степени чокнутые, чтобы думать, что вы – какие-то животные.

– Нет, – отвечает Чесвик, делает шаг вперед и становится рядом с Макмерфи. – Нет, бога ради, только не я. Никакой я не кролик.

– Молодец, Чесвик, хороший мальчик. И вы, ребята, все остальные, давайте бросим все это. Вы только посмотрите на себя – стоите и говорите о том, как боитесь какой-то пятидесятилетней тетки. Да что она может вам сделать, в конце концов?

– Да, что? – повторяет Чесвик и обводит взглядом остальных.

– Она не может вас выпороть. Она не может пытаться вас каленым железом. Она не может вздернуть на дыбу. Сейчас насчет таких вещей имеются законы. Это же не Средневековье. Нет на свете такой вещи, которую она могла бы...

– Но ты же в-в-видел, что она д-д-делает с нами! Сегодня на с-с-собрании. – Билли Биббит пытается сбросить кроличью шкуру. Он наклонился к Макмерфи, его лицо покраснело, изо рта течет слюна. Затем он повернулся и отошел. – А-а, н-н-нет смысла. Мне лучше просто п-п-покончить с собой.

Макмерфи выкрикивает ему вслед:

– Сегодня? То, что я видел сегодня на собрании? Дьявольские колокола, все, что я сегодня видел, – это то, что она задала парочку вопросов, и такие милые, простенькие вопросы. Задавать вопросы – это вам не кости ломать, это же не палки и не камни.

Билли оборачивается:

– Но то, к-к -какона это спрашивает...

– Но ты же не обязан отвечать, разве не так?

– Если н-не ответишь, она просто улыбнется и сделает пометку в своей маленькой книжице, а потом она... она... о черт!

К Билли подходит Скэнлон:

– Если не отвечаешь на ее вопросы, Мак, ты признаешь просто потому, что молчишь. Эти ублюдки в правительстве имеют тебя точно таким же способом.

Единственное, что можно сделать, – стереть все с лица земли, которая истекает кровью, взорвать все это целиком.

– Ну да, но когда она задает вам один из этих вопросов, почему бы не послать ее к черту?

– Да, – повторяет Чесвик, трясая указательным пальцем, – сказать ей, чтобы встала и убиралась к черту.

– И что тогда, Мак? Она тут же найдется и ответит: «Почему вас так расстроил именно этот кон-крет-ный вопрос, пациент Макмерфи?»

– Ну, тогда вы ей снова скажете, чтобы она шла к черту. Пошлите к черту всех их. Они все равно не смогут ничего вам сделать.

Острые столпились вокруг него. На этот раз отвечает Фредериксон:

– Ты скажешь ей это, и тогда тебя будут считать потенциально агрессивным и отправят наверх в палату для буйных. Со мной такое случалось. Три раза. Бедные ребята не могут даже покинуть палату, чтобы посмотреть кино в субботу вечером. У них и телевизора нет.

– А если ты будешь продолжать демонстрировать подобные враждебные намерения, вроде того, чтобы послать куда подальше, тебя поставят на очередь в шок-шоп, а может быть, назначат тебе что-нибудь более изощренное, операцию, например, или...

– Черт возьми, Хардинг, говорю тебе, я не совсем врубаюсь в такие разговоры.

– Шок-шоп, мистер Макмерфи, – это жаргонное наименование электрошокера – аппарата для электрошоковой терапии. Такое изобретение, которое, можно сказать, действует одновременно как снотворное, электрический стул и дыба для пыток. Это – маленькая умненькая процедура, простенькая, почти безболезненная, потому что все происходит очень быстро, но никто не хочет попробовать ее во второй раз. Никогда.

– И что делает эта штука?

– Тебя привязывают к столу, по иронии судьбы в той самой позе, в какой распинают на кресте, только вместо тернового венца на тебе корона из электрических искр. К голове подключают провода. Бах! И через твои мозги пропускают электричества примерно на пять центов, и ты получаешь одновременно терапию и наказание за свое враждебное «пошла к черту» поведение, и тебя убрали с дороги на время от шести часов до трех дней – зависит от конституции. Если даже сохраняешь сознание, все равно несколько дней будешь ходить как потерянный – в состоянии дезориентации. Ты не сможешь связно рассуждать, не сможешь вспомнить, как называются вещи. Приличная доза – и человек превращается в нечто, вроде мистера Эллиса, которого ты видишь здесь у стены. Бессмысленный идиот в мокрых штанах, а всего-то тридцать пять лет. Или ты превратишься в безмозглый организм, который ест, испражняется и кричит «трахать его жену», как Ракли. Или посмотри на Вождя Швабру, который сжимает свою тезку аккуратно рядом с тобой. – Хардинг указал на меня сигаретой – слишком поздно, чтобы отодвинуться назад. Я делаю вид, что ничего не заметил. Продолжаю подметать. – Я слышал, что Вождь много лет назад получил больше двухсот сеансов шоковой терапии – тогда они были в большой моде. Только представь, что они могут сделать с крышей, которая и так уже съехала. Посмотри на него – гигант, а всего лишь машина для подметания, которая боится собственной тени. Это, друг мой, и есть то, что нам угрожает.

Макмерфи некоторое время смотрит на меня, потом поворачивается к Хардингу:

– Скажи мне, парень, как вы можете все это терпеть? А как насчет этого дерьма о демократическом отделении, которым кормил меня ваш доктор? Почему бы вам не провести голосование?

Хардинг улыбается и медленно затягивается сигаретой.

– Голосование насчет чего, друг мой? Чтобы сестра не могла больше задавать никаких вопросов на групповых собраниях? Чтобы она так не смотрела на нас? Скажите мне, мистер Макмерфи, по какому поводу мы будем голосовать?

– Черт, мне нет до этого дела. Голосуйте за что хотите. Только сделайте же что-нибудь такое, чтобы она не думала, что у вас кишка тонка. Вы не должны ей позволить взять над собой верх! Посмотрите на себя: вы говорите, что Вождь боится собственной тени, но я в жизни не видел такой перепуганной компании, как ваша.

– Только не я! – говорит Чесвик.

– Может быть, и не ты, приятель, но остальные боятся даже рот открыть и засмеяться. Знаете, первое, что бросилось мне в глаза, – это то, что никто не смеется. С тех пор как я перешагнул этот порог, я еще не слышал настоящего смеха. А кто разучился смеяться, тот теряет опору. Мужчина, позволивший женщине довести себя до такого состояния, теряет одно из самых больших преимуществ. Знаете, он начинает думать, что она круче, чем он сам, и...

– Полагаю, мой друг попал в самую точку, кролики мои. Скажите, мистер Макмерфи, как может мужчина показать женщине, кто из них главный, если, к примеру, не смеется над ней? Как он должен сказать ей, кто здесь является царем природы? Мужчина вроде вас должен знать ответ на эти вопросы. Вы же не будете шлепать ее по заднице, не правда ли? Нет. Тогда она прибегнет к помощи закона. Вы не можете в гневе накричать на нее; она все равно выиграет, она будет уговаривать вас, словно большого рассерженного мальчишку: «Кажется, наш дорогой пациент расстроился? А-а-а?» Вы когда-нибудь пытались сохранить в подобных условиях на своем лице благородное и яростное выражение? Так что видите, друг мой, это примерно то же, что вы утверждали: мужчина имеет только одно истинно эффективное оружие против сокрушительной силы современного матриархата, но, разумеется, это вовсе не смех. Единственное оружие, и с каждым годом, который проходит в этом унылом обществе, которое исследует всякую мотивацию, все больше и больше людей открывают, каким образом применять это оружие, не пуская его вход, и завоевывать тех, кто до последнего времени числился в рядах завоевателей...

– О господи, Хардинг, давайте уж быстрее, – сказал Макмерфи.

– ...И неужели вы думаете, что при всех своих психопатических наклонностях вы сумеете эффективно использовать свое оружие против нашей победительницы? Неужели вы думаете, что сможете использовать его против мисс Рэтчед, мистер Макмерфи? Когда-либо? – И он указывает рукой на стеклянный ящик.

Все повернули голову в ту сторону. Она там, глядит из своего окошка, ее пишущая машинка стоит где-то, скрытая из вида, и записывает. Она уже планирует, как привести все это к обычному порядку.

Сестра увидела, что все смотрят на нее, кивнула, и они отвернулись. Макмерфи стаскивает кепку и запускает руки в свою рыжую шевелюру. Теперь все смотрят на него, ждут, что он ответит, и он это понимает. Он чувствует, что его в каком-то смысле загнали в ловушку. Он водрузил кепку обратно на голову, почесал нос.

— Ну, если ты спрашиваешь, не намерен ли я бросить свои кости поверх этой старой тушеной курицы, то нет, не думаю, чтобы я смог..

— Она не так проста, как вам кажется, Макмерфи. Лицо у нее достаточно привлекательное и хорошо сохранилось. И несмотря на все ее попытки скрыть это, надевая все эти бесполое тряпки, можно легко увидеть, что она обладает просто-таки экстраординарными грудями. Должно быть, в молодости она была довольно красивой женщиной. Итак, просто ради ясности, смогли бы вы сделать это, даже если бы они не была стара, а была молода и прекрасна, как Елена?

— Не знаю я никакой Елены, но вижу, куда ты клонишь. И, Бог свидетель, ты прав. Я не смог бы склониться над этой старой замороженной физиономией, обладай она даже красотой Мэрилин Монро.

— Что и требовалось доказать. Она победила.

Хардинг откидывается на спинку стула, и все ждут, что теперь скажет Макмерфи. Одну минуту он смотрит на нас, а потом пожимает плечами и встает со стула:

— В конце концов, это не мое дело.

— Правда, это не ваше дело.

— И пропади все пропадом, я вовсе не хочу, чтобы за меня взялся старый дружок нашей няньки со своими тремя тысячами вольт. Для меня это — не больше чем просто приключение.

— Да. Вы правы.

Хардинг победил в споре, но никто не выглядит слишком счастливым. Макмерфи сунул большие пальцы в карманы и попытался рассмеяться.

— Нет, сэр, я никогда не слышал, чтобы кому-нибудь предлагали премию в двадцать баксов, чтобы прищучить ту, которая отрезает яйца.

Все начинают ухмыляться вместе с ним, но особого веселья нет. Я рад, что Макмерфи уклонился от ответа и что ему не пришлось лицемерить, но я знаю, что чувствуют ребята; я и сам не слишком счастлив. Макмерфи зажег новую сигарету. Никто не сдвинулся с места, все стоят возле него, ухмыляясь и чувствуя неловкость. Макмерфи снова почесал нос и отвел взгляд от лиц больных, обернулся, посмотрел на сестру и прикусил губу.

— Но вы говорите... она не отсылает в ту, другую палату, пока вы не сваляете дурака? Пока каким-то образом не сломаются и не начнете проклинать ее, или биться головой о стену, или что-то, в этом роде?

— Именно так.

— Вы в этом уверены, ребята? Вижу, птички мои, как вы все тут поджимаете лапки. И у меня появились кое-какие соображения по этому поводу. Но я не намерен становиться легкой добычей. Я с таким трудом выбрался из той дыры и не собираюсь бросаться из огня да в полымя.

– Абсолютно верно. Она бессильна что-либо сделать, пока ты не совершишь чего-либо, достойного буйного отделения или электрошокера. Если ты достаточно крутой, чтобы не дать до тебя добраться, она ничего не сможет сделать.

– Значит, если я буду правильно себя вести и не выводить ее из себя...

– И не выводить из себя санитаров.

– ...И не выводить из себя санитаров и не пытаться вытащить джокера из колоды, она не сможет мне ничего сделать?

– Это – правила, по которым мы играем. Конечно же она всегда выигрывает, друг мой, всегда. Она стала неприступной, и, поскольку время играет ей на руку, она в конце концов добирается до всякого. Именно поэтому в больнице она считается лучшей сестрой, что дает ей безграничную власть; она – мастерица выводить либидо на чистую воду и заставлять его трепетать...

– Да черт с этим. Хочу знать другое: уцелею ли я, если попытаюсь побить ее в ее собственной игре? Если я прикинусь легкой добычей, то, какой бы козырь я ни ввел, она ведь не станет трепать себе нервы и отправлять меня на электрический стул?

– Ты в безопасности до тех пор, пока сохраняешь над собой контроль. Пока ты не выйдешь из себя и не дашь серьезного повода, чтобы ограничить твою активность в буйном отделении или предложить использовать на тебе преимущества электрошока, ты в безопасности. Но это требует одного – держать себя в руках. А вы? С вашими рыжими волосами и черными записями в истории болезни? К чему себя обманывать?

– Хорошо. – Макмерфи потер руки. – Вот что я думаю. Вы, птички мои, похоже, полагаете, что к вам явился еще один неудачник, так? Какая – как вы там ее называете? – а, точно, неприступная женщина. Но я хочу знать, кто из вас настолько в этом уверен, чтобы поставить на нее немножко денег?

– Настолько в этом уверен?..

– Слышали, что я сказал: кто из вас, хитрецы, желает получить мои пять баксов, тот должен только сказать, что я не сумею ублажить эту женщину. Одна неделя. И если она у меня через неделю не будет гадать – то ли она оказалась в жопе, то ли кое в чем поднаторела, – деньги ваши.

– Ты споришьна это. – Чесвик переминается с ноги на ногу и потирает руки – точно так же, как Макмерфи.

– Черт побери, ты совершенно прав.

Хардинг и кое-кто еще говорят, что они не въехали.

– Это достаточно просто. Все без обмана, и никаких сложных правил. Я иду на спор. И я люблю выигрывать. Думаю, что выиграю это пари, о'кей? В Пендлетоне ребята в тюрьме не решались ставить против меня ни цента, такой я везучий. Понимаете, одна из причин, почему я здесь, в том, что мне нужны новые простачки. Я вам кое-что скажу: прежде чем попасть сюда, я узнал кое-что о вашем местечке. Черт побери! Половина из вас получают здесь пособие – три-четыре сотни в месяц, – и вам с ними совершенно нечего делать, кроме как позволить им превратиться в пыль. Я подумал, что смогу этим воспользоваться и, может быть, сделать вашу и мою жизнь несколько богаче. Я назначаю вам самую низкую ставку. Я – игрок, и стараюсь никогда не проигрывать. И я никогда не встречал женщины, которая могла бы взять надо мной верх, не важно, могу ли я до нее добраться или

нет. Может быть, у нее есть преимущество во времени, но и моя полоса везения длится уже достаточно долго. — Он стаскивает с головы кепку, крутит ее в руке и ловит другой рукой, не слишком-то опрятной. — И вот еще что: я оказался здесь потому, что сам этого захотел, ясно и просто, потому что это место — лучше, чем работная ферма. Психом я не был и никогда не замечал этого за собой. Ваша нянька думает иначе, а я выйду на нее с ясной головой, которая работает быстро, как спусковой крючок. Насколько я помню, моя голова всегда была такой. Это будет для меня как раздражитель, а он-то мне и нужен. Так что вот вам мое слово: пять баксов каждому, если я не смогу превратить вашу няньку в ручную шлюху в течение недели.

— Я все еще не совсем уверен, правильно ли я...

— Именно так. Пчела ей в задницу, буравчик в штаны. Вызовем ее неудовольствие. Будем следить за ней до тех пор, пока ее не разорвет на части по этим ее аккуратным маленьким шовчикам, и одновременно покажем, что она не так уж неуязвима, как вы думаете. Одна неделя. Я разрешаю тебе судить, выиграл я или нет.

Хардинг берет карандаш и записывает что-то в блокноте для пинокля.

— Вот. Расписка на десять долларов из моих денег, которые залежались в пенсионном фонде. Но я заплатил бы вдвое больше, друг мой, чтобы увидеть это невероятное чудо.

Макмерфи посмотрел на листок и складывает его:

— Ну что, птички, кто-нибудь еще раскошелится?

Острые выстроились в ряд, по очереди записываясь в блокноте. Макмерфи собирает листки бумаги, складывает их в кучку у себя на ладони и прижимает большим жестким ногтем. Я вижу, как стопка бумаги растет у него в руке.

— Вы доверяете мне держать ставки, парни?

— Полагаю, что мы ничем не рискуем, — ответил Хардинг. — Некоторое время вы все равно побудете среди нас.

* * *

Как-то в Рождество, ровно в полночь, двери отделения открываются с громким треском и вваливается толстяк с бородой, с покрасневшими от холода глазами и носом цвета вишни. Черные ребята загнали его в угол с помощью фонариков. Я вижу, как он запутался в мишуре, которую Связи с общественностью развесил по всей комнате, и повсюду натывается на нее в темноте. Он прикрывает покрасневшие глаза от света фонариков и облизывает усы.

— Хо, хо, хо, — говорит он. — Хотелось бы остаться с вами, но я должен торопиться. Очень плотный график, знаете ли. Хо, хо. Должен отправляться...

Черные ребята надвигаются на него с фонариками. Они продержали его с нами шесть лет, прежде чем отпустить на волю — чисто выбритого и тощего, словно шест.

Большая Сестра может устанавливать стенные часы на ту скорость, которая ей нужна, просто поворачивая один из этих дисков в стальной двери; она знает, как поторопить ход вещей, она регулирует скорость, и ее руки вертят диск туда-сюда, словно спицы в колесе. Картинка в оконных экранах постепенно меняется, она показывает сначала утро, потом полдень, потом ночь – пульсирует туда сюда, сменяя день и тьму, и все сделано так, чтобы мы спятили, чтобы следовали этому поддельному времени; страшная мешанина из умывания, завтрака, назначений, обеда, приема лекарств и десять минут ночи, так что ты едва успеваешь закрыть глаза, как лампы в спальне вопят тебе, что пора вставать и снова начинать привычную круговерть, иногда по двадцать раз за час, пока Большая Сестра не увидит, что все уже на пределе и вот-вот сломаются. Тогда она ослабляет хватку, делает тише шаг часовых дисков, словно какого-то ребенка дурачат с помощью проектора, и на экране двигаются картинки со скоростью, в десять раз быстрее нормальной, а его уже не забавляет вся эта дурацкая беготня и жужжание насекомых вместо нормального разговора, и тогда он поворачивает ручку, и все приходит в норму.

Она любит играть со скоростью, особенно в те дни, когда кто-то должен тебя навестить или когда падают цены и показывают негритянское шоу из Портленда, – в такое время, когда хотелось бы задержаться и чтобы оно потянулось подольше. И вот тогда она включает на полную катушку.

Но чаще бывает наоборот – скорость замедляется. Она поворачивает диск так, что он застывает намертво и замораживает солнце на экране, и оно неделями не сдвигается ни на волосок, так что ни листок на дереве, ни былинка не дрогнут в траве на пастбище. Стрелки часов застыли на двух минутах третьего, и она держит их, пока мы не покроемся ржавчиной. Ты сидишь и не можешь пошевелиться, не можешь пройтись или хотя бы двинуться, чтобы снять напряжение, не можешь слотнуть и не можешь дышать. Единственное, чем ты еще можешь двигать, – это глаза. Только видеть им нечего – одни только окаменевшие Острые по ту сторону комнаты, выжидающие, чья очередь сделать ход в игре. Старый Хроник рядом со мной мертв уже шесть дней, и он гниет и оползает на стуле. А иногда вместо тумана она пускает через вентиляцию прозрачный химический газ, и все отделение застывает, когда он превращается в пластик.

Одному только Господу известно, сколько времени мы так сидим.

Затем она постепенно ослабляет уровень, и это даже еще хуже. Мне легче выносить мертвую неподвижность, чем эту медленную, словно она движется в сиропе, руку Скэнлона по ту сторону комнаты, которой нужно три дня, чтобы положить карту на стол. Мои легкие втягивают этот густой пластиковый воздух, словно ему нужно пройти через игольное ушко. Я пытаюсь пойти в уборную и чувствую себя погребенным под тоннами песка, сжимая свой мочевого пузырь так, что зеленые искры начинают вспыхивать и трещать на моем лбу.

Я напрягаю каждый мускул, каждую кость, чтобы встать со стула и пойти в уборную, я тружусь над этим так упорно, что мои руки и ноги начинают дрожать, а зубы сводит от боли. Я напрягаюсь и напрягаюсь, но все, чего мне удастся добиться, – это оторваться, может быть, на четверть сантиметра от кожаного сиденья стула. Так что я падаю назад и сдаюсь и позволяю моче просочиться наружу, а она уже приводит в действие горячую соленую проволочку, идущую вдоль моей ноги, которая включает унизительный сигнал тревоги, сирены, прожектора, и все вокруг начинают вопить и носиться туда-сюда, и большие черные ребята отвешивают пинки направо и налево, разгоняют толпу, пробираясь прямиком ко мне, размахивая

отвратительными швабрами, мокрая медная проволока которых потрескивает и блестит, словно от воды с ней приключилось короткое замыкание.

Единственное время, когда мы отдыхаем от контроля, – это туман; когда спускается туман, время перестает что-нибудь значить. Оно растворяется в тумане, как и все остальное. (Сегодня весь день они почти не напускали тумана – во всяком случае, с того момента, как в отделении появился Макмерфи. Могу поспорить, что он взревел бы, словно бык, если бы они подпустили туману.)

Когда ничего не происходит, ты обычно без особого успеха пытаешься бороться с туманом или с контролем времени, но сегодня что-то случилось: сегодня целый день они не пробовали на нас ни одной из этих штук, во всяком случае – после бритья. В этот вечер все как положено. Когда вторая смена заступила на дежурство, часы показывают четыре тридцать – как оно и должно быть. Большая Сестра отпускает черных ребят и в последний раз осматривает отделение. Она вытаскивает из голубого – цвета стали – узла на затылке длинную шляпную булавку, стаскивает белый чепец и аккуратно укладывает его в ящик стола (в этом ящике у нее лежат нафталиновые шарики), а потом обеими руками вонзает булавку обратно в узел.

Через стекло я вижу, как она желает всем доброй ночи. Она вручает маленькой вертлявой сестре с родимым пятном записку; потом ее руки добираются до контрольной панели в стальной двери. Щелкнув, включает громкоговоритель в дневной комнате:

– Доброй ночи, мальчики. Ведите себя хорошо.

И врубает музыку громче, чем обычно. Она протирает изнутри стекла очков; взгляд, полный отвращения, без всяких слов объявляет черному парню, который только что отчитывался перед ней, что ему пора приниматься за уборку. Он так и стоит за стеклом, держа перед собой бумажное полотенце, пока она не закрывает за собой дверь отделения.

Машинерия в стенах, присвистнув, вздыхает и падает до самой низкой отметки.

Теперь до самой ночи нам предстоит есть, принимать душ и, вернувшись, снова сидеть в дневной комнате. Старина Бластик, самый древний из Овощей, ухватился за живот и застонал. Джордж (черные ребята называли его «там-тарарам») принялся мыть руки в фонтанчике с питьевой водой. Одни Острые сидят и играют в карты, другие пытаются добиться от телевизора хорошего изображения, перетаскивая антенну в поисках лучшего сигнала.

Громкоговорители в потолке все еще выдают музыку. Музыка идет с сестринского поста, где она записывается на длинную магнитофонную ленту. Запись мы знаем так хорошо, что ее уже никто и не слышит, кроме новичков вроде Макмерфи. Он к ней еще не привык. Он устроил азартную игру на сигареты, и они объявляют ставки прямо за карточным столом. Надвинул кепку на глаза, а голову откинул назад и выглядывает из-под козырька, чтобы видеть карты. В зубах у него сигарета, и он болтает, словно аукционист на распродаже старья, которого я один раз видел в Дэлз.

– ...Вот так, вот так, давай, давай, – говорит он быстро и громко. – Я хочу знать, сосунки, вы ходите или пропускаете. Ходите, говорите? Очень, очень хорошо, мы видим, что парнишка решил сделать ход. Посмотрим, посмотрим. Значит, ты ходишь, и это очень плохо, дама к налету, и они перелезают через стену и уходят вдаль по дороге, поднимаются на холмы и теряют свою ценность. Хожу к тебе, Скэнлон, и хотелось бы мне, чтобы хоть один идиот в этом сумасшедшем доме догадался выключить эту проклятую музыку! Фу-у-х!

Неужели эта штука играет день и ночь, а, Хардинг? В жизни своей не слышал такого зашибенного говна.

Хардинг смотрит на него ничего не выражающим взглядом.

— О каком таком шуме вы говорите, мистер Макмерфи?

— Об этом чертовом радио, парень. Оно здесь играет с тех самых пор, как я прибыл сюда сегодня утром. И не надо мне тут парить, будто бы вы его не слышите.

Хардинг поднимает ухо к потолку.

— О да, так называемая музыка. Полагаю, если сосредоточиться, то можно ее услышать, но также можно услышать, как бьется твое сердце, если... сосредоточиться. — Он усмехается, глядя на Макмерфи. — Видите ли, друг мой, это играет запись. Мы редко слушаем радио. Новости о том, что творится в мире, могут иметь отрицательный терапевтический эффект. А эту запись мы слышали такое количество раз, что уже не воспринимаем ее, — так звук водопада становится вскоре не слышен тому, кто живет с ним рядом. Как вы полагаете, если бы вы жили рядом с водопадом, вы долго бы слышали его шум?

(Я до сих пор слышу шум водопадов Колумбии, и всегда буду, всегда буду слышать радостный крик Чарли Медвежьего Живота, ударяющего гарпуном по рыбе, слышать, как плещется рыба в воде, как смеются на берегу голые детишки, как женщины болтают в амбарах... все это было давным-давно.)

— Они что, никогда ее не выключают, как водопад? — озадаченно спрашивает Макмерфи.

— Только когда мы спим, — отвечает Чесвик, — но все остальное время она играет, это правда.

— Черт бы побрал все это! Я сейчас скажу черномазому, чтобы он ее выключил, иначе я надеру ему его жирную задницу! — Он поднимается, но Хардинг касается его руки:

— Дружище, это, без сомнения, заявление такого рода, которое свидетельствует о склонности человека к насилию. Вы готовы проиграть пари?

Макмерфи смотрит на него:

— Вот так это все и будет, а? Игра в поддавки? Все время уступать старухе по мелочам?

— Именно так все и происходит.

Макмерфи медленно опускается обратно на стул со словами:

— Лошадиное дерьмо!

Хардинг оглядел карточный стол и посмотрел на Острых.

— Джентльмены, я замечаю в нашем рыжеволосом смутьяне совершенно негероическое стремление к стоицизму, которое так не вяжется с образом телевизионного ковбоя. — И он, улыбаясь, смотрит через стол на Макмерфи.

Макмерфи кивнул ему, подмигнул и лизнул свой большой палец.

— Итак, джентльмены, наш профессор Хардинг рассуждает так, словно чего-то нанюхался. Он выиграл пару партий и теперь ведет себя словно мудрый парень. Ну хорошо, хорошо; вот он сидит с двумя очками выигрыша и перед ним пачка «Мальборо», которую он собирается отыграть... Посмотрите, у него тройка, он хочет еще, хочет еще выиграть, а не попробовать ли большую пятерку, профессор? Попробуйте эту большую двойную ставку, разве не стоит рискнуть? Но другая пачка говорит о том, что вы не станете. Ну хорошо, хорошо, профессор, это целая история, печальная история, про то, как другая леди и профессор вместе проваливают экзамен...

В громкоговорителе зазвучала очередная песня, громкая и визгливая, под аккордеон. Макмерфи поднимает глаза к громкоговорителю, его голос становится все громче и громче, чтобы перекричать музыку:

— ...Эй, эй, отлично, следующий, черт побери, вы ходите или вы пропускаете... мой ход...

И так до тех пор, пока в полдесятого не вырубает свет.

Весь вечер я смотрел на Макмерфи за карточным столом: то, как он управлялся с ними, и как говорил, и как доводил их до той грани, когда они уже готовы были сдать, а потом давал взятку-другую, чтобы придать уверенности и снова втянуть в игру. Один раз он прервался, чтобы покурить, и развалился на стуле — руки сплетены за головой — и сказал ребятам:

— Секрет хорошего мошенника в том, чтобы суметь понять, чего хочет твоя жертва и как внушить ей, что она это получит. Я научился этому, когда один раз работал на волшебном колесе на Масленицу. Ты определяешь сосунка с первого взгляда, когда он только подходит к тебе, и говоришь: «Вот и птичка, которая сама идет в твою сеть». И всякий раз, когда он проигрывает и начинает отгрызаться и кричать, ты подходишь и говоришь ему: «Пожалуйста, не волнуйтесь. Никаких проблем. Следующий круг бесплатно, сэр». Так что вы оба получаете то, что хотели. — Он наклоняется вперед, и ножки его стула трещат. Он ухватил колоду, с треском провел по ней большим пальцем, постучал ею по краю стола и облизнул большой и указательный пальцы. — И вот что я понял: нам необходим большой жирный куш, чтобы он нас искушал. В следующий раз поставим на кон десять пачек. Черт бы вас побрал, крепче держитесь за свои яйца... — Макмерфи откидывает голову и хохочет так громко, что ребята принимаются расталкивать друг друга локтями, чтобы сделать ставки.

Смех раздавался по дневной комнате весь вечер. Он много шутил и пытался рассмешить игроков. Но все они очень боялись проиграть. Долго ждать не пришлось. Он перестал поддаваться и перешел к серьезной игре. Им удалось раз или два выиграть у него, но он все время откупал или отыгрывал проигрыш, и кучки сигарет по обе стороны от него становились все больше и больше, они превратились в две неровные пирамиды.

И вот как раз перед отбоем он вдруг начал давать им выиграть, он позволяет им отыграть все назад так быстро, что они даже забывают о проигрыше. Он выплачивает в качестве проигрыша последнюю пару сигарет, кладет на стол колоду и со вздохом откидывается на спинку стула, надвинув кепку на глаза. Игра окончена.

— Итак, джентльмены, немного выиграть и продуть остальное — именно это я говорю в таких случаях. — Он потряс головой, показывая, как расстроен. — Я даже не знаю — я всегда хорошо играл в двадцать одно, но, может быть, вы, птенчики, чересчур круты для меня. Вы, похоже, каким-то образом

жульничали, мне трудно будет завтра играть с такими шулерами на настоящие деньги.

Он не обманывает себя насчет того, что они попадутся на эту удочку. Он позволил им выиграть, и каждый из тех, кто следил за игрой, знает это. Знают это и игроки. Среди них так и не нашлось человека, который посягнул бы на его кучку сигарет. Сигарет, которые он по-настоящему не выиграл, а просто отыграл назад, потому что они с самого начала были его, — и все же на лице его уже больше нет ухмылки, говорящей о том, что он — самый крутой игрок на Миссисипи.

Жирный черный парень и черный парень по имени Гивер врываются в дневную комнату и принимаются выключать свет с помощью маленького ключа на цепочке. В отделении темнеет, а глаза маленькой сестры с родимым пятном становятся больше и ярче. Она стоит в дверях стеклянного поста, раздавая пилюли перед сном больным, которые проходят мимо нее один за другим, шаркая ногами, и ей приходится нелегко — нужно помнить, кого и чем следует травить этой ночью. Она даже воду наливает не глядя. Ее внимание приковано к здоровенному парню с рыжими волосами в ужасающей кепке и с пугающим шрамом. Она увидела, как Макмерфи поднимается и отходит от карточного стола в потемневшей дневной комнате, поправляя заскорузлой ладонью прядь волос, которая попала за воротник его лагерной рубахи, и по тому, как она отпрянула, когда он добрался до двери сестринского поста, я понял, что Большая Сестра, вероятно, заранее предупредила ее о нем. («О, еще кое-что перед тем, как я оставлю на вас отделение сегодня вечером, мисс Пилбоу, — этот новый пациент, который сидит вон там, тот самый, у которого кричащие рыжие баки и рваная рана на лице, — у меня есть причины полагать, что он сексуальный маньяк».)

Макмерфи заметил, как испуганно она на него смотрит, у нее даже глаза расширились от страха, поэтому он просовывает голову в дверь сестринского поста, где она раздает пилюли, и ради знакомства одаривает ее широкой дружеской улыбкой. Это ее так пугает, что она проливает воду на ноги. Она вскрикивает и прыгает на одной ноге, руки трясутся, и пилюли, которые она собралась дать мне, выскакивают из маленькой чашечки и влетают прямо за шиворот ее формы, куда родимое пятно убегает, словно винная река, впадающая в долину.

— Позвольте предложить вам руку, мадам. — И тут же сама рука просовывается в дверь сестринского поста, вся в шрамах и татуировках, цвета непрожаренного мяса.

— Отойдите! Со мной в отделении два санитаря! — Она ищет глазами черных парней, но их нет рядом, поскольку они пытаются запихнуть Хроников в кровати, хотя они достаточно близко, чтобы прийти на помощь в случае нужды.

Макмерфи ухмыляется и поворачивает руку, показывая, что он без ножа. Она видит только восковую мозолистую ладонь.

— Все, что я собирался сделать, мисс, это...

— Отойдите! Пациентам не разрешается заходить. Отойдите, я — католичка! — И она дергает золотую цепочку, обвившуюся вокруг шеи, так что крест вылетает из ложбинки между грудей, подбросив в воздух последнюю пилюлю!

Макмерфи стоит перед ней как громом пораженный. Она закричала и сунула крестик в рот, зажмурилась, словно в ожидании удара, так и стоит, белая, словно бумага, и только родимое пятно стало еще темнее, словно впитало всю кровь из тела. Когда она наконец снова открывает глаза, перед ней все та же мозолистая рука, а в ней — моя маленькая красная капсула.

— ...Пришлось поднять, а вот и остальное, вы все уронили. — Он протягивает ей коробку, которую держал в другой руке.

Ее дыхание переходит в громкий свист. Она берет у него коробку.

— Благодарю вас. Доброй ночи, доброй ночи, — и закрыла дверь прямо перед лицом следующего. Это означало, что сегодня вечером пилюль больше не будет.

В спальне Макмерфи касается подушки на моей кровати.

— Тебе нужен твой прокисший шарик, Вождь?

Я трясую головой, глядя на пилюлю, и он забрасывает ее под кровать, словно это докучный клоп. Она катится по полу, потрескивая, как сверчок. Он готовится лечь спать и стягивает с себя одежду. Трусы под его рабочими штанами сшиты из угольно-черного атласа, разукрашенного огромными белыми китами с красными глазами. Он ухмыльнулся, когда заметил, что я смотрю на его трусы.

— Это — от одной студентки из штата Орегон, Вождь, она — совершеннолетняя, в буквальном смысле этого слова. — Он оттягивает резинку большим пальцем. — Она дала их мне, потому что я — символ. Она так сказала.

Его руки, спина и лицо обожжены солнцем и поросли кудрявыми оранжевыми волосами. На огромных плечах у него красуются татуировки. На одном написано: «Морская пехота» и дьявол с красным глазом, красными рогами и винтовкой «М-1», а на другом — рука, играющая в покер, раскинувшая вдоль его мускулов тузы и восьмерки. Он скатал одежду и положил ее на тумбочку рядом с моей кроватью и принимается взбивать свою подушку. Ему досталась кровать справа от моей.

Он забирается под простыню и говорит мне, что лучше постелиться самим, чем ждать, когда явится один из этих ребят с фонариком. Я отглядываюсь, черный парень по имени Гивер уже подходит, и я скидываю свои шлепанцы и ныряю в кровать как раз, когда он подходит, чтобы привязать меня простыней. Закончив со мной, он в последний раз отглядывается, хихикает и выключает свет.

В спальне царит темнота, только с сестринского поста отсвечивает белым. Я только чувствую Макмерфи справа от себя, он дышит глубоко и ровно, простыня на нем поднимается и опускается. Дыхание становится все медленнее и медленнее, и мне кажется, что он уже спит. А потом я слышу мягкий, горловой звук, доносящийся от его кровати, словно фыркание лошади. Он не спит и смеется над чем-то.

Потом перестает смеяться и шепчет:

— Ну ты и прыгнул, Вождь, когда я сказал тебе, что этот черномазый приближается. А мне говорили, что ты глухой.

В первый раз за долгое-долгое время лежу в постели, не проглотив этой маленькой красной капсулы (если я ее прячу, чтобы не принимать, ночная сестра с родимым пятном посылает черного парня по имени Гивер выследить меня, и он светит на меня фонариком до тех пор, пока она не приготовит иглу для укола), так что, когда черный парень проходит со своим фонариком, я притворяюсь спящим.

Когда ты принимаешь одну из этих красных пилюль, ты не просто засыпаешь, тебя парализует сном, и всю ночь ты не можешь проснуться, что бы вокруг тебя ни происходило. Именно поэтому персонал и дает мне эти пилюли: в старом отделении я просыпался посреди ночи и видел, что они творят над спящими больными.

Я лежу без движения и медленно дышу, ожидая, не случится ли сегодня что-нибудь. В спальне совершенно темно, и я только слышу, как они двигаются туда-сюда в своих тапках на каучуковой подошве; дважды они входят в спальню и фонариком осматривают каждого. Я лежу с закрытыми глазами, но не сплю. Слышу причитания из буйного отделения: в туалет, в туалет – видимо, одного из парней привязали к проволоке, чтобы он подавал кодовые сигналы.

– Ну что, по пиву, я думаю, у нас впереди долгая ночь, – слышу, как один черный парень прошептал это другому. Каучуковые подошвы проскрипели мимо сестринского поста, где стоит холодильник. – Ты любишь пиво, моя сладкая девочка с родинкой? Ведь у нас впереди долгая ночь...

Ребята наверху умолкли. Низкий звук приспособлений в стенах становится все тише и тише, до тех пор, пока не сходит на нет. Ни звука по всей больнице – разве что тупое войлочное гроыхание где-то в кишках здания. Очень похоже на звук, который вы слышите, если стоите поздно ночью на вершине большой плотины, а внизу работает гидроэлектростанция. Низкая, ничем не смягченная, беспощадная мощь.

Жирный черный парень стоит в холле – я могу его видеть, – осматриваясь вокруг и хихикая. Он медленно подходит к двери спальни, вытирая о подмышки влажные серые руки. Свет с сестринского поста отбрасывает на стену его тень – огромную, словно у слона, и эта тень становится меньше и меньше, пока он идет к двери спальни и заглядывает в нее. Он снова хихикает, открывает коробку предохранителя у двери и лезет в нее.

– Детки, все в порядке, спите, детки, сладко.

Он поворачивает ручку, и пол начинает уходить из-под двери, где он стоит, опускаясь, словно платформа лифта!

Это невероятно, но пол спальни сдвинулся, и мы стали отъезжать от стен и от окон отделения в сжимающийся ад – кровати, прикроватные тумбочки – все. Машинерия – наверное, это зубцы и ремни в каждом углу шахты – работает бесшумно, смазанная тишиной и смертью. Единственный звук, который я слышу, – это дыхание ребят, а эта барабанная дробь под нами становится тем громче, чем ниже мы опускаемся. Свет в двери спальни в пяти ярдах позади этой дыры превратился в маленькое пятнышко, тускло чадающее в квадратной глубине шахты. Он становится все слабее и слабее, а потом слышен отдаленный крик, эхом отражающийся от стен шахты: « Отойдите!» – и все огни разом гаснут.

Пол опускается на что-то вроде твердого дна, глубоко утопленного в землю, и с легким скрежетом останавливается. Здесь темно, как в могиле, и я чувствую простыни вокруг своего тела, которые не дают мне дышать. Пока я развязываю простыни, пол небольшими толчками трогается вперед. Под ним что-то вроде роликов, которых я не слышу. Я не могу даже расслышать дыхания ребят, спящих вокруг меня, и я постепенно осознаю, что рокот становится таким громким, что, кроме него, я больше ничего не слышу. Должно быть, мы оказались в самом его центре. Я принимаюсь извиваться под этими чертовыми простынями, которые связывают меня крест-накрест, и почти ослабил их давление, когда стена заскользила вверх, явив глазу огромную комнату с бесконечным множеством машин в окружении потных мужчин с

обнаженными торсами, бегающих бесшумно туда-сюда с застывшими, пустыми лицами в отсвете огней от сотен раздутых печей.

Все, что я вижу, выглядит так, как и звучало, словно внутренность гигантской матки. Огромные медные трубы исчезают где-то во тьме. Провода бегут к трансформаторам, которых не видно. Смазка и окалина покрывают все, окрашивая сцепления, моторы и динамомашинны красным и угольно-черным.

Работники двигаются одинаковыми короткими шагами, без напряжения, они перетекают, словно жидкость. Никто не торопится. Кто-то задерживается на секунду, трогает циферблат, нажимает кнопку, поворачивает выключатель, и половина его лица вспыхивает белым светом от вспышки искр, и двигается дальше спокойными шагами вдоль гофрированного железного прохода, минуя друг друга. Так гладко и так близко, что я могу слышать соприкосновение их мокрых боков – словно лосось бьет хвостом по воде, – и снова останавливаются, чтобы повернуть очередной выключатель и двинуться дальше. Они мелькают во всех направлениях, там, где достаёт глаз, эти мгновенные картинны мечтательных кукольных лиц работников.

Неожиданно один из рабочих, закрыв глаза, падает. Двое его товарищей подбегают, стребают его и бросают в печь. В печи взметнулся огненный шар, и я слышу треск лопающихся трубок, смешивающийся с шумом и лязгом остальных машин.

Дверь спальни скользит в шахту, приблизившись к машинной комнате. Я вижу, что прямо над нами – одна из таких штук, какие можно увидеть в мясной лавке, на роликах и на рельсах, чтобы передвигать туши из холодильника к столу мясника, не особенно утруждая себя. Двое парней в черных брюках, в белых рубашках с завернутыми рукавами и тонкими черными галстуками протягивают переход над нашими кроватями, жестикулируя и переговариваясь друг с другом, их сигареты оставляют в красном свете длинные светящиеся следы. Они разговаривают, но вы не можете разобрать ни слова из-за шума, в котором тонут их голоса. Один из парней щелкает пальцами, и ближайший из работников, резко повернувшись, припустил к нему. Парень указывает мундштуком на одну из кроватей, и рабочий трусит к стальной стремянке и добирается до нашего уровня, где скрывается из вида между двумя трансформаторами, огромными, словно подвалы для картошки.

Когда рабочий появляется снова, он тащит за собой крюк. Держась за него, огромными шагами пронесется мимо моей кровати. Печь, гудящая где-то вдалеке, неожиданно освещает его прямо перед моими глазами. Лицо красивое и страшное, восковое, словно маска, на нем никаких эмоций. Я видел миллион таких лиц.

Он подходит к кровати и одной рукой стребает старого Овоща Бластика, ухватив его за пятки, и поднимает его так, словно Бластик весит не больше нескольких фунтов; другой рукой рабочий передвигает крюк и продевает его через сухожилие у пятки, и теперь старый парень подвешен там вверх ногами, его старое заплесневелое лицо вздулось, на нем появился страх, в глазах немой ужас. Он продолжает махать обеими руками и свободной ногой до тех пор, пока пижама не сползает ему на голову. Рабочий связывает ее, словно джутовый мешок, и толкает тележку назад через эстакаду на дорожку и смотрит туда, где стоят двое ребят в белых рубашках. Один из парней вытаскивает скальпель. К скальпелю приделана цепочка. Парень сбрасывает его работнику, обвязав другой конец цепочки вокруг перил, чтобы рабочий не мог потерять оружие.

Рабочий берет скальпель и принимается нарезать старину Бластика на куски уверенными движениями, и старик перестает биться. Я боюсь, что не вынесу этого, но нет ни крови, ни выпадающих внутренностей, которые я ожидал

увидеть, – просто куча ржавчины и пепла, изредка – кусок проволоки или стекла.

Где-то в стороне печь открыла свой зев, поглотив кого-то.

Я хочу вскочить, побежать и разбудить Макмерфи и Хардинга, всех ребят, кого только смогу, но в этом нет никакого смысла. Если бы я растолкал кого-нибудь, он бы сказал: «Ты, чокнутый идиот, что, черт побери, тебе нужно?» А потом, возможно, лично помог бы одному из рабочих вздернуть меня на один из этих крючков со словами: «Как насчет того, чтобы посмотреть, что у индейцев внутри?»

Я слышу высокое холодное свистящее и сырое дыхание туманной машины, вижу, как первые его струйки просачиваются к кровати Макмерфи. Я надеюсь, он сообразит спрятаться в тумане.

Слышу глупый лепет, напоминающий мне что-то очень знакомое. Я сумел повернуться, чтобы посмотреть в другую сторону. Это лысый Связи с общественностью с раздутым лицом. Пациенты вечно спорят, с чего это его раздувает. «Я бы сказал, что он это делает», – спорят они. «Что до меня, то я бы сказал, что не делает; вы когда-нибудь слышали о парне, который бы действительно надевал?» – «Да, но вы когда-нибудь раньше вообще слышали о подобном парне?» Первый из пациентов пожимает плечами и кивает: «Интересная точка зрения».

Теперь он раздет донага, не считая длинной нижней рубахи с модной монограммой, вышитой красным на груди и на спине. И я вижу наконец-то (нижняя рубашка задралась у него на спине, когда он проезжал мимо, и я сумел подсмотреть), что он действительно носит кое-что, зашнурованное так плотно, что оно может лопнуть в любую секунду.

А к корсету привязаны по полдюжины предметов – за волосы, словно скальпы.

У него в руках маленькая фляжка с чем-то, что он вливает себе в глотку всякий раз, когда собирается что-то сказать, а еще – вата с камфарой, которую он время от времени подносит к носу, чтобы перебить вонь. За ним тащится целая команда школьных учителей и учениц колледжа. На них голубые фартуки, а волосы завиты в тугие локоны. По ходу дела он читает им краткую лекцию.

Вспомнил что-то смешное и вынужден остановить лекцию, чтобы сделать большой глоток из фляжки и унять смех. Во время паузы одна из его девочек оглядывается вокруг и видит разделанного Хроника, подвешенного за пятку. Она вскрикивает и отпрыгивает. Связи с общественностью поворачивается, видит труп и бросается, чтобы схватить руку и прощупать пульс.

– Вы видите? Вы видите? – Он визжит и закатывает глаза и отхлебывает из фляжки, потому что ему так смешно. Мне кажется, что его разорвет от смеха.

Перестав наконец смеяться, он идет вдоль ряда машин и продолжает свою лекцию. Неожиданно останавливается и хлопает себя по лбу.

– О, безмозглая яголова! – и бегом возвращается к подвешенному Хронику, чтобы сорвать с него очередной трофей и прицепить к корсету.

Справа и слева творится что-то невообразимое – сумасшедшие, жуткие вещи, слишком уж невероятные, чтобы кричать о них, и так похожие на правду, чтобы над ними смеяться. Но туман стал достаточно плотным, и я больше ничего не вижу. Кто-то дергает меня за руку. Я уже знаю, что сейчас случится: кто-то вытащит меня из тумана, и мы снова окажемся в отделении,

и ни малейшего признака того, что происходило ночью. А если я попытаюсь рассказать кому-нибудь об этом, они скажут: идиот, у тебя просто был ночной кошмар; такие кошмарные вещи, как большая машинная комната в недрах матки, где людей разделяют роботы-работники, просто не существуют.

Но если они не существуют, как может человек видеть их?

Из тумана за руку меня выдернул мистер Текл, он трясет меня и смеется. Он говорит:

— Вам приснился дурной сон, миста Бромден.

Он санитар и дежурит в ночную смену с одиннадцати до семи — старый негр с широкой сонной улыбкой и длинной трясущейся шеей. От него пахнет так, будто он немного выпил.

— А теперь снова усните, миста Бромден.

Иногда по ночам он развязывает мне простыни, если они затянуты так туго, что я начинаю ворочаться. Если бы дневная смена догадывалась об этом, ему пришлось бы худо. Но они думают, что это я их развязываю. Мне кажется, он делает это по доброте, если ему самому ничего не грозит.

На этот раз он не развязывает простыни, отходит от меня, чтобы помочь двум санитарам, которых я никогда не видел, и молодому доктору поднять старого Бластика на каталку и вывезти его, покрытого простыней. С ним обращаются так осторожно, как при жизни не обращались.

* * *

Пришло утро, и Макмерфи встал раньше меня. Такое случилось в первый раз с тех пор, как нас покинул дядюшка Джулс, Тот Который Ходил По Стенам. Джулс был старый умный седой негр, и у него была теория, что ночью земля опрокидывается прямо на него и делают это черные ребята: и поэтому он вскакивал утром раньше всех, чтобы застукать их на месте преступления. Как и Джулс, я встаю пораньше, чтобы посмотреть, какую машинерию они тайком протаскивают в отделение или устанавливают в душевой, и обычно в холле оказываемся лишь я да черные ребята, а какой-нибудь следующий пациент вылезает из постели только минут через пятнадцать. Но сегодня утром, выбираясь из-под простыней, слышу, как Макмерфи возится в уборной. Он поет! Поет так, что вам бы и в голову не пришло, что у него в этом мире есть хотя бы одна печаль. Его голос звучит чисто и сильно, отражаясь от цементных стен и стали.

— «Покорми лошадей, тут она мне сказала...» — Ему нравится, как звук, звеня, разносится по уборной. — «Посиди со мной рядом, здесь сена немало». — Он вдыхает всей грудью, и его голос взмывает вверх, набирая высоту и силу, пока не задрожали провода в стенах. — «Мои лошади сыты, я кормил их с утра». — Он взял ноту и поиграл с ней, а потом резко выдохнул остаток куплета, чтобы покончить с этим. — «Извини, дорогая, мне пора, мне — пора».

Поет! Ребят словно громом поразило. Они долгие годы ничего такого не слышали, во всяком случае здесь, в отделении. Острые в спальне приподнимаются на локтях в своих кроватях и, протирая глаза, слушают. Как случилось такое, что черные ребята не выволокли его оттуда? Они ведь никому не позволяли раньше поднимать столько шума, разве нет? Почему же так получилось, что с этим новым парнем они обошлись по-другому? Он ведь – просто человек, из плоти и крови, который будет также слабеть, бледнеть и умирать в конце концов, так же как и все остальные. Он живет по тем же законам, принимает пищу, сталкивается с теми же бедами; и он должен быть таким же беспомощным перед Комбинатом, как и все остальные, разве нет?

Но этот новый парень – он другой, и Острые это видят, он отличается от всех, кто прошел через это отделение за последние десять лет, он отличается от тех, кого они встречали снаружи. Может быть, он и уязвим, может быть, но Комбинату он не по зубам.

– «Груз уложен в телеги, – поет он, – и кнут мой в руках...»

Как же ему удалось ускользнуть, увернуться от хомута? Может, Комбинат выпустил его из-под своего контроля, как Старину Пете. Может, он рос диким, где-нибудь в деревне, и все время мотался туда-сюда, и, будучи мальчишкой, школьником, никогда не задерживался ни в одном из городишек дольше чем на пару месяцев, так что школа ничего не могла с ним поделать, а потом работал на лесозаготовках, играл в азартные игры, крутил колеса на аттракционах, перебирался с места на место легко и быстро и все время оставался в движении, так что Комбинат не успел внедрить в него что-либо. Может быть, это было так, он просто никогда не давал Комбинату никаких шансов, так же как он не оставил черному парню шанса добраться до него со своим термометром прошлым утром, потому что в движущуюся мишень попасть труднее всего.

Никакая жена не клянчит у него новый линолеум. Никакие родственники не смотрят на него с осуждением старыми водянистыми глазами. Никому нет до него дела, и этой свободы достаточно, чтобы стать хорошим жуликом. Черные ребята не врываются в уборную и не затыкают ему рот: они знают, что он – не в их власти, они помнят тот случай со Стариной Пете. Они прекрасно видят, что Макмерфи гораздо больше, чем Старина Пете. И если он по-настоящему пустит в ход кулачищи, им несдобровать – всем троим и Большой Сестре, которая всегда наготове со своей иглой. Острые кивают друг другу, они догадываются, почему черные ребята не пресекают его пенис, как непременно случилось бы, попытайся такое сделать любой из нас.

Я выхожу из спальни в холл, одновременно Макмерфи выходит из уборной. Он натягивает кепку, а больше на нем почти ничего нет – только полотенце, завязанное вокруг бедер. В другой руке он держит зубную щетку. И так он стоит в холле, оглядывая его, покачиваясь на носках, чтобы не касаться ногами холодного кафеля. Его наконец заметил черный парень, тот, последний, и Макмерфи подходит к нему и хлопает по плечу, словно они всю жизнь были друзьями.

– Послушай-ка, старина, где бы мне раздобыть немного зубной пасты, чтобы вычистить свои жернова?

Недоразвитая голова черного парня дергается, словно на шарнире, и он упирается носом в костяшки пальцев Макмерфи. Нахмурившись, он быстро оглядывается, чтобы убедиться, что остальные двое ребят поблизости, и сообщает Макмерфи, что они не открывают кладовку до шести сорока пяти.

– Таков порядок, – говорит он.

– Неужели? Я правильно понял, что они именно там держат зубную пасту? В кладовке?

– Это правда, она заперта в кладовке.

Черный парень попытался вернуться к своему занятию – он как раз протирает плитуса, – но рука Макмерфи все еще лежит у него на плече, словно большая красная скоба.

– Заперта в кладовке, правда? Очень хорошо, а теперь скажи мне, почему это они запирают зубную пасту? Она ведь не представляет большой опасности? Ты ведь не можешь ею отравить человека, ведь не сможешь? Как ты думаешь, почему они запирают под замок такую невинную и безопасную вещь, как тюбик с зубной пастой?

– Таков порядок в отделении, мистер Макмерфи, вот и вся причина. – Но когда он видит, что последний аргумент совсем не убедил Макмерфи, хмурится, покосившись на руку на своем плече, и добавляет: – Ты что, полагаешь, что здесь каждый может чистить зубы когда ему вздумается?

Макмерфи ослабил хватку, дернул пучок рыжей шерсти у себя на груди и задумался.

– О-хо-хо, о-хо-хо, я понял, куда ты клонишь: весь фокус в том, чтобы никто не чистил зубы после еды.

– Вот остолоп, ты что, не понимаешь?

– Нет-нет, теперь я понял. Ты говоришь, что люди начали бы чистить зубы когда им только в голову взбредет?

– Именно так, поэтому мы...

– Господи, ты только можешь себе представить? Начали бы чистить зубы в шесть тридцать, шесть двадцать – и кто может поручиться? – даже в шесть часов! Да, теперь я начинаю понимать.

И он – за спиной у черного парня – подмигивает мне, стоящему у стены.

– Мне нужно помыть плитус, мистер Макмерфи.

– О! Я не собирался отрывать тебя от работы. – Он отступил, и черный парень вернулся к своему занятию. И тут Макмерфи выступил вперед и наклонился, чтобы заглянуть в мусорное ведро, стоявшее рядом с черным парнем. – Так, посмотрим, что у нас здесь.

Черный парень опускает глаза.

– Посмотрим где?

– Посмотрим здесь, в этом старом ведре, Сэм. Что тут за добро в этой старой жестянке?

– Это... мыльная стружка.

– Ну что ж, обычно я использую пасту, но... – Макмерфи сует зубную щетку в ведро и вертит ею, подцепляет на нее мыльную стружку и стучит по краю ведра, – но это мне тоже вполне подойдет. Большое спасибо. Вопросом о порядке в отделении мы займемся позже. – И он возвращается в уборную, где я слышу снова принимается петь и одновременно чистить зубы, прерываясь лишь для яростных плевков.

Черный парень стоит и смотрит ему вслед, и швабра в его серой руке сбилась с положенного ритма. Потом он оглядывается и видит, что я смотрю на него. Тогда он подходит, хватая меня за резинку пижамы и тащит через холл, на то место, где я вчера убирался.

— Вот тут! Прямо тут, черт тебя побери! Я хочу, чтобы ты работал тут, а не тарашился вокруг, как большая глупая корова. Тут! Тут!

Я наклоняюсь и принимаюсь тереть пол шваброй, повернувшись к нему спиной, чтобы он не мог видеть моей ухмылки. Я чувствую себя отлично, потому что Макмерфи выставил этого черного парня козлом, что мало кому удавалось. Папа был способен на такое, он стоял широко расставив ноги, с невозмутимым видом, щурясь в небо, когда люди из правительства явились к нему, чтобы вести переговоры и выкупить договорные обязательства.

— Канадские гуси уже здесь, — говорил папа, поглядывая в небо.

Люди из правительства смотрели, шелестя бумагами.

— О чем это вы?.. В июле? Не может быть здесь гусей в это время года. Да, не может быть гусей.

Они разговаривали, как туристы с Востока, которым кажется, что они должны разговаривать с индейцами именно так, чтобы те могли их понять. Папа, казалось, вообще не замечал, как они говорят. Он продолжал смотреть в небо.

— Гуси здесь, белый человек. Вы это знаете. Гуси здесь в этом году. И были здесь в прошлом. И годом раньше, и еще годом раньше.

Чиновники смотрят друг на друга и кашляют.

— Да. Наверное, это правда, Вождь Бромден. А теперь — к делу. Забудьте о гусях. Обратите внимание на контракт. То, что мы предлагаем, может принести большую выгоду вашему народу — изменить жизнь краснокожих.

— ..И еще годом раньше. И еще годом раньше... — говорил папа.

Когда до людей из правительства дошло, что над ними смеются, весь совет племени — сидят на крылечке у нашей хижины, то засунут трубки в карманы своих клетчатых черно-красных шерстяных курток, то вытащат их снова, посмеиваясь, глядя друг на друга и на папу, — разразился таким хохотом, что все от него едва не поумирали.

Они выставили чиновников козлами; наконец те повернулись, не сказав ни слова, и зашагали к шоссе, с покрасневшими шеями, и мы смеялись им вслед. Иногда я забываю, что может сделать смех.

Ключ Большой Сестры поворачивается в замке, и, когда она появляется в дверях, черные ребята уже стоят перед ней навтыжку, переминаясь с ноги на ногу, словно дети, которым приспичило по-маленькому. Я достаточно близко, чтобы услышать, как во время разговора пару раз всплывает имя Макмерфи, и догадываюсь, что черный парень рассказывает, как Макмерфи чистил зубы, и совершенно забывает доложить ей о старом Овоще, который умер этой ночью. Он машет руками и пытается объяснить, каким дураком выставил себя этот рыжеволосый прямо с раннего утра — подрывать устои, действовать в противоречии с политикой отделения, и не может ли она с этим что-нибудь сделать!

Она смотрит на черного парня, пока он не перестает дергаться, потом переводит взгляд туда, где пение Макмерфи сотрясает дверь уборной.

— «Твои папа и мама не любят меня-я-я, говорят — слишком беден и тебе не ровня».

Поначалу на ее лице появляется озадаченное выражение, как и у всех нас: она так давно не слышала пения, что ей приходится потратить целую секунду, чтобы осознать, что происходит.

— «Деньги с неба не сыплются — сколько есть, сто-о-олько есть, но дороже всех денег отвага и честь».

Она ждет еще минутку, чтобы убедиться, что ей это не мерещится; потом начинает надуваться. Ее ноздри расширяются, и с каждым вдохом она становится все больше и больше, такой огромной и жесткой — и все из-за пациента! — я не видел ее с тех пор, как нас покинул Табер. Я слышу тихий писк. Она пришла в движение, и я вжимаюсь в стену, когда она прогрохотала мимо. Она уже огромная, словно грузовик, толкает перед собой свою плетеную корзину, обдавая ее паром из выхлопной трубы, словно прицеп за дизельным тягачом. Ее губы раздвинулись, и улыбка двигается перед ней, как решетка перед радиатором. Я даже могу ощутить запах разогретого масла и вспышки индуктора, когда она проезжает мимо, и с каждым шагом, который она впечатывает в пол, становится на размер больше, раздуваясь и пыхтя, сметая все на своем пути! Я боюсь даже подумать о том, что она может сделать.

И как раз когда она, раздувшись до предела, полная самых страшных намерений катится вперед, Макмерфи выходит из двери уборной прямо ей навстречу, с полотенцем, обернутым вокруг бедер, — и она застывает! В одно мгновение сдувается и теперь едва достает головой до того места, где полотенце прикрывает его чресла. Он ухмыляется, глядя на нее. Ее собственная ухмылка испарилась, обвиснув по краям.

— Доброе утро, мисс Рэтчед! Как дела на воле?

— Вы не можете здесь расхаживать... в полотенце!

— Нет? — Он смотрит на ту часть полотенца, которую рассматривает она, — полотенце мокрое и облегает его, словно кожа. — Полотенца тоже не вписываются в распорядок отделения? Ну что ж, я полагаю, что мне не остается ничего другого, как...

— Остановитесь! Не смейте этого делать. Вернитесь в палату и наденьте свою одежду... немедленно!

Она вопит, словно учительница на провинившегося ученика, так что Макмерфи закрывает голову руками и произносит таким голосом, словно вот-вот расплачется:

— Я не могу сделать этого, мадам. Боюсь, что этой ночью, покуда я спал, какой-то вор свистнул мою одежду. Я спал слишком крепко, потому что у вас тут такие матрасы...

— Кто-то свистнул...

— Спер. Стырил. Присвоил. Украл, — радостным голосом произносит он. — Вы знаете, ребята, похоже, что кто-то свистнул мои шмотки. — Это заявление его так развеселило, что он изобразил около нее что-то вроде небольшого танца.

– Украл вашу одежду?

– И похоже, что всю.

– Но – тюремную одежду? Для чего?

Он перестает выделывать вокруг нее па и снова стоит понуриив голову.

– Все, что я знаю, – она была на месте, когда я ложился спать, и исчезла, когда я встал. Испарилась, словно мечта. О, конечно же я знаю, что это была всего-навсего тюремная одежда, грубая, мятая и плохо сшитая, мадам, да, я хорошо это понимаю – и тюремная одежда вряд ли может приглянуться тому, кто может рассчитывать на что получше. Но для раздетого человека...

– Эту одежду, – произносит она, осознав наконец, что происходит, – и должны были забрать. Сегодня утром вам должны выдать зеленую пижаму для выздоравливающих.

Он пожимает плечами и вздыхает, не поднимая глаз.

– Нет. Нет. Боюсь, что мне ее не дали. Сегодня утром я не обнаружил у кровати ничего, кроме этой кепки, что у меня на голове, и...

– Уильямс. – Она пронзает взглядом черного парня, который все еще стоит у дверей отделения, словно намереваясь пуститься наутек. – Уильямс, не могли бы вы на минутку подойти сюда?

Он подползает к ней, словно собака, которую сейчас отхлещут кнутом.

– Уильямс, почему у этого пациента нет пижамы для выздоравливающих?

Черный парень вздыхает с облегчением. Он выпрямляется, ухмыляется, поднимает свою серую руку и указывает в дальний конец коридора на одного из больших ребят.

– Сегодня утром по прачечной дежурит миста Вашингтон. Не я. Нет.

– Мистер Вашингтон! – Она пригвоздила его на месте со шваброй, опущенной в ведро. – Не могли бы вы подойти на минутку?

Швабра беззвучно соскользнула в ведро, и он медленным, осторожным движением прислоняет ее ручку к стене. Повернувшись, он видит Макмерфи, и последнего черного парня, и Большую Сестру. Посмотрел налево, потом – направо, словно бы она могла кричать кому-нибудь еще.

– Подойдите сюда!

Он сует руки в карманы и шаркающей походкой направляется к ней. Он никогда не ходит слишком быстро, но я вижу, если он не поторопится, она может заморозить его на месте и разнести в пух и прах одним только взглядом; ненависть, и ярость, и разочарование, предназначавшиеся для Макмерфи, теперь направлены на черного парня, обрушиваются на него, словно снежная буря. Ему приходится пробиваться сквозь нее, обхватив себя руками. Мороз сковал волосы и брови. Он пытается идти вперед, но шаги замедляются; ему никогда с этим не справиться.

И тут Макмерфи принимается насвистывать «Сладкая Джорджия Браун», и Большая Сестра отводит взгляд от черного парня – как раз вовремя. Теперь она безумнее и злее, чем когда-либо, такой я ее никогда не видел. Кукольная улыбка исчезла, уступив место тугой и тонкой ярко-красной

проволоке. Если бы кто-нибудь из пациентов сейчас вышел и увидел ее, Макмерфи мог бы забирать свой выигрыш.

Черный парень наконец дошел до нее, как будто прошло два часа. Она делает глубокий вдох.

– Вашингтон, почему этот человек сегодня утром не получил смену одежды? Разве вы не видите, что у него нет ничего, кроме полотенца?

– И кепки, – прошептал Макмерфи, постукивая пальцем по козырьку.

– Мистер Вашингтон?

Большой черный парень смотрит на маленького, который показал на него, и маленький черный парень снова начинает дергаться. Большой парень долго смотрит на него глазами, похожими на электронные лампы, мысленно представляя, что он сделает с ним позже; потом поворачивает голову и осматривает Макмерфи с головы до ног, отмечая широкие могучие плечи, кривую ухмылку, шрам на носу, руку, придерживающую полотенце, а потом смотрит на Большую Сестру.

– Я полагаю... – начинает было он.

– Вы полагаете! Мы не полагать должны! Вы должны немедленно принести ему пижаму, мистер Вашингтон, или же проведете следующие две недели на работе в отделении гериатрии! Да. Вам, похоже, понадобится месяц. Понесите судна, помоете стариков и тогда, вероятно, поймете, как мало работы вам приходится выполнять в этом отделении. Если бы это было любое другое отделение, кто бы в нем с утра до ночи оттирал пол? Мистер Бромден, как здесь? Нет, вы хорошо знаете, кто бы это был. Мы даем вам послабление в отношении ваших обязанностей, чтобы вы присматривали за пациентами. Вы должны следить, чтобы они не разгуливали по отделению голыми. Представляете, что бы случилось, если бы одна из молодых сестер пришла пораньше и обнаружила пациента, бегущего по коридору без пижамы? Как вы полагаете?

Большой черный парень не знает, что именно произойдет, но ему понятно направление ее мыслей. Он двинулся в бельевую, бросив на Макмерфи взгляд, в котором читается такая чистая ненависть из всех, какие я когда-либо видел. Макмерфи выглядит смущенным, словно не может взять в толк, как расценить те ужимки, которыми одарил его черный парень. В одной руке у него – зубная щетка, а другой он держит полотенце. Подмигивает, пожимает плечами и снимает с себя полотенце, а потом набрасывает его на плечо Большой Сестре, словно она – деревянная вешалка.

Я вижу, что под полотенцем на нем все это время были трусы.

Мне кажется, что она, вероятно, предпочла бы, чтобы он оказался голым под этим полотенцем, нежели видеть его трусы. Она смотрит на больших белых китов, которые резвятся у него на трусах, в безмолвной ярости. Это выше ее сил. Проходит целая минута, прежде чем она смогла собраться с силами, повернулась к черному парню; она совсем обезумела, голос дрожит, отказываясь ей повиноваться.

– Уильямс... я полагаю... я ожидала, что стекла на сестринском посту будут отполированы к моему приходу.

Он отскакивает, словно черно-белый жук, отброшенный щелчком.

– А вы, Вашингтон, и вы...

Вашингтон едва ли не вприпрыжку тащится к своему ведру.

Она оглядывается, ища, на кого бы еще направить беспощадный свет своей ненависти. Она замечает меня, но к этому времени другие пациенты уже вышли из спальни и стали собираться вокруг нашей маленькой группы. Она закрывает глаза и сосредоточивается. Нельзя им позволить увидеть ее лицо таким – белым и искаженным от ярости. Она старается овладеть собой. Постепенно ее губы собираются под маленьким белым носиком, превращаясь в раскаленную проволоку, которую нагрели до температуры плавления; она мерцает секунду, а затем застывает, становясь все холоднее, и странно тускнеет. Губы раздвигаются, между ними показывается язык – толстый кусок шлака. Глаза опять открываются, в них – странное тусклое выражение, и холод, и вялость, как у губ. Она здоровается со всеми, как обычно, словно с ней ничего особенного не случилось, надеясь, что пациенты еще слишком сонные, чтобы что-то заметить.

– Доброе утро, мистер Сефелт, ваши зубы уже не болят? Доброе утро, мистер Фредериксон. Вам и мистеру Сефелту хорошо ли спалось этой ночью? Ваши кровати ведь рядом, не так ли? Между прочим, недавно мне сказали, что вы заключили некое соглашение – позволяете Брюсу принимать ваши таблетки, не так ли, мистер Сефелт? Мы обсудим это позже. Доброе утро, Билли; я встретила твою маму, и она просила передать, что думает о тебе все время и знает, что ты ее не разочаруешь. Доброе утро, мистер Хардинг. О, посмотрите, кончики ваших пальцев красные и мокрые. Вы что, снова грызли ногти?

И прежде чем они могут что-то ответить, даже если им есть что сказать, она поворачивается к Макмерфи, который все еще стоит рядом в трусах. Хардинг посмотрел на трусы и присвистнул.

– А вы, Макмерфи, – говорит она, улыбаясь (просто сахар и мед!), – если вы уже закончили демонстрировать свое мужское телосложение и свои безвкусные трусы, вам будет лучше вернуться в спальню и надеть пижаму.

Он в ответ слегка приподнимает кепку, приветствуя ее и пациентов, которые потихоньку веселятся, поглядывая на его трусы с белыми китами, и без единого слова удаляется в спальню. Большая Сестра поворачивается и идет в противоположную сторону, ее плоская красная улыбка движется впереди нее. Но не успевает она закрыть за собой дверь своего стеклянного поста, как из спальни снова доносится его пение:

– «Привела меня к маме и сказала люблю. – Слышу, как он хлопнул себя по голому животу. – Я вот этого парня, и жить без него не могу».

Подметая в спальне после того, как все ушли, я забираюсь под его кровать, чтобы смахнуть пыль, и вдруг унюхиваю что-то, что заставляет меня осознать: в первый раз с тех пор, как я попал в больницу, в этой большой спальне, полной кроватей, где спят сорок взрослых мужчин и которая пропитана множеством других запахов – запахами бактерицидной жидкости, цинковой пасты, талька для ног, запахами мочи и кислых стариковских испражнений, запахами пищи и примочек для глаз, грязных трусов и носков, которые остаются грязными, даже когда возвращаются из прачечной, банановым запахом машинного масла, а иногда запахом паленых волос, – здесь никогда до сегодняшнего дня, до того как он появился, не пахло мужчиной. Он принес запах пыли и грязи с открытых полей, запах пота и запах работы.

* * *

За завтраком Макмерфи болтает и смеется, не умолкая ни на минуту. Он полагает, что после такого утра Большая Сестра даст нам всем послабление. Он не знает, что только насторожил ее и в любом случае заставил лишь укрепиться в своих намерениях.

Он изображает из себя клоуна, изо всех сил стараясь заставить некоторых ребят рассмеяться. Его тревожит, что лучшее, чего он может от них добиться, — слабой улыбки или временами — сдавленного хихиканья. Он нацелился на Билли Биббита, который сидит за столом напротив него, наклоняется и произносит таинственным голосом:

— Эй, Билли, приятель, помнишь то времечко в Сиэтле, когда мы с тобой сняли двух девочек? Самая лучшая скачка из всех, что у меня были.

Глаза Билли чуть не выскакивают из орбит, он отрывает взгляд от тарелки, но не может выдать ни слова. Макмерфи поворачивается к Хардингу:

— У нас бы ничего не получилось и нам бы не удалось ни взнудать их, ни пришпорить, но они, к счастью, слышали о Билли Биббите. Билли Биббит — Бейсбольная Бита — под этим именем он был известен в те дни. Девчонкам достаточно было бросить на него взгляд, и они спросили: «Это вы — тот самый известный Билли Биббит — Бейсбольная Бита? Те самые прославленные четырнадцать дюймов?» И Билли быстро кивнул и покраснел, как вот сейчас, и мы оказались в фаворитах. Я помню, когда мы привели их в отель, из кровати Билли раздался женский голос: «Мистер Биббит, я в вас разочаровалась; я слышала, что у вас ог... ог... о Господи Боже!»

Раздается хохот, Макмерфи шлепает ладонями по бокам и грозит Билли пальцем, и мне кажется, что Билли сейчас хлопнется в обморок от смущения и смеха.

Макмерфи говорит, что парочка сладких девочек вроде тех двоих — это единственное, чего не хватает в больнице. Кровать, которую они предоставляют, самая лучшая из всех, на которых он когда-либо спал, а какой роскошный стол накрывают. Он не может понять, отчего здесь все такие мрачные.

— Посмотрите на меня, — говорит он и поднимает стакан к свету, — я пью свой первый стакан апельсинового сока за шесть месяцев. У-уф, это хорошо. Спросите меня, что давали на завтрак на исправительной ферме? Как обслуживали? Ну, я могу описать, на что это похоже, но точного слова не подберу. Утром, днем и вечером — что-то горелое черного цвета, и в нем была картошка, и выглядело это словно смола для кровельных работ. Я знаю только одно: это был не апельсиновый сок. И посмотрите на меня теперь: бекон, тосты, масло, яйца, кофе — эта маленькая сладкая девочка на кухне даже спросила меня, буду ли я черный или с молоком, пожалуйста. И великолепный! большой! холодный стакан апельсинового сока. Я бы не покинул это место даже за деньги!

Он быстро ориентируется на месте: назначает свидание девушке, которая на кухне разливает кофе (когда его, наконец, выпустят), делает комплимент повару-негру, радостно заявляя ему, что тот приготовил лучшие яйца, которые он ел когда-либо в жизни. К кукурузным хлопьям полагаются бананы, и он набирает их целую охапку, сказав черному парню, что поделится с ним, потому что у него слишком голодный вид, и черный парень косит глаза в

сторону стеклянной будки и говорит, что персоналу не позволено есть вместе с пациентами.

– Это против правил?

– Верно.

– Тебе не повезло. – И он очистил три банана прямо перед носом у черного парня и съел их один за другим, повторяя, что в любую минуту готов за него поработать, только дай мне знать, Сэм.

Прикончив последний банан, Макмерфи хлопает себя по животу, поднимается и направляется к выходу. Тогда большой черный парень встает в дверях и говорит, что по правилам пациенты должны сидеть в столовой и выходить все вместе в семь тридцать. Макмерфи смотрит на него, словно не расслышал, потом поворачивается к Хардингу. Хардинг кивает, тогда Макмерфи пожимает плечами и возвращается к своему стулу.

– У меня нет никакого желания нарушать этот чертов порядок.

Часы в дальнем конце столовой показывают четверть восьмого. Очередная ложь о том, что мы просидели здесь всего пятнадцать минут, в то время как всякий может сказать, что прошел, как минимум, час. Все уже поели, откинулись на спинки стульев, ждут, когда большая стрелка покажет семь тридцать. Черные ребята уносят забрызганные подносы и отвозят заплыванные кресла Овощей туда, где два старика моют их под струей воды. В столовой примерно половина ребят положили головы на руки, намереваясь немного вздремнуть, прежде чем вернуться черные ребята. Делать нечего – в столовой нет ни карт, ни журналов, ни цветных головоломок. Можно только дремать или смотреть на часы.

Но Макмерфи не сидится – он все время должен что-то делать. Примерно через две минуты – все это время он гонял ложкой остатки пищи на своей тарелке – он хочет чего-нибудь другого, более интересного. Он сует большие пальцы рук в карманы, потом косит глаза на часы. Потом чешет нос.

– Знаете, эти старые часы напомнили мне мишени в Форт-Райли. Именно там я получил свою первую медаль, медаль «Отличный стрелок». Мерфи Меткий Глаз. Кто хочет поставить на один маленький доллар, что я не смогу попасть этим куском масла в центр циферблата или хотя бы в сам циферблат?

Он заключает три пари, берет свой кусочек масла, кладет на нож и щелчком посылает его в полет. Масло попадает в стену в добрых шести дюймах слева от часов, и все над ним подшучивают, пока он расплачивается за проигрыш. Они все еще подкалывают его насчет того, хотел ли он сказать Меткий Глаз или Ветхий Глаз, когда черные парни, обслужив Овощей, возвращаются в столовую. Тут каждый утыкается в свою тарелку и затихает. Черные ребята чувствуют, что что-то витает в воздухе, но не могут взять в толк что. И наверное, никто бы так ничего и не узнал, если бы старый полковник Маттерсон не глазел вокруг, но он все видел, и что-то заставило его указать на этот кусок масла и пуститься в рассуждения, объясняя нам всем своим терпеливым, громким голосом – так, словно то, что он говорил, имело какой-то смысл.

– Мас-ло... это – рес-пуб-ли-канская партия...

Черный парень смотрит, куда указывает полковник, и масло еще там, оно сползает по стене, словно желтая улитка. Он смотрит на него, но не говорит ни слова, даже не побеспокоился, чтобы оглядеться и узнать, кто мог его туда забросить.

Макмерфи что-то шепчет и подталкивает локтем Острых, сидящих рядом с ним. Через минуту все они кивают, и он выкладывает на стол три доллара и откидывается на спинку стула. Все поворачиваются в одну сторону и смотрят, как масло сползает по стене, вздрагивая, замедляя ход, делая рывок вперед и оставляя за собой сияющий след на краске. Никто не говорит ни слова. Они смотрят на масло, потом на часы, а потом снова на масло. Теперь стрелки на часах задвигались.

Масло падает на пол примерно за полминуты до семи тридцати, а значит, Макмерфи отыграл назад все деньги.

Черный парень очнулся и отводит взгляд от грязной полосы на стене и говорит, что мы можем идти, и Макмерфи выходит из столовой, запихивая деньги в карман. Он обнимает за плечи черного парня и наполовину ведет, наполовину тащит его через коридор в дневную комнату.

— День только начался, Сэм, старина, а я уже едва не обанкротился. Придется подсуеетиться, чтобы наверстать упущенное. Как насчет того, чтобы открыть колоду карт, которую ты надежно запер в этом шкафчике, и посмотрим, смогу ли я перекричать этот громкоговоритель.

Он проводит большую часть утра за азартной игрой, стараясь наверстать упущенное. На этот раз они играют не на сигареты, а на долговые расписки. Он два или три раза передвигает карточный стол в надежде оказаться подальше от громкоговорителя: он действует ему на нервы. Наконец он отправляется к сестринскому посту и стучит в стекло, пока Большая Сестра не поворачивается на своем стуле и не открывает дверь. И тогда он спрашивает ее, нельзя ли на некоторое время прекратить этот дьявольский шум. Сейчас она спокойней, чем обычно, она снова сидит на своем стуле за стеклянным окном; и больше нет этого варвара, который бегаёт по отделению полуголым, чтобы вывести ее из равновесия. Улыбка решительна и тверда. Она прикрывает глаза, качает головой и очень вежливо отвечает Макмерфи: «Нет».

— Но разве вы не можете хотя бы убавить громкость? Не похоже, чтобы весь штат Орегон нуждался в том, чтобы слушать пьесу Лоуренса Уилка «Чай вдвоем» по три раза в течение часа, и так — целый день! Если бы эта музыка была понежней и потише, чтобы расслышать, как игрок за столом напротив меня делает свои ставки, я мог бы продолжать покер...

— Вам же уже сказали, мистер Макмерфи, что игра на деньги противоречит правилам отделения.

— Ну хорошо, тогда сделайте ее тихой, чтобы мы могли играть на спички, на пуговицы — только сделайте эту чертову штуку потише!

— Мистер Макмерфи, — она ждет, чтобы ее спокойный тон школьной учительницы впитался прежде, чем она продолжит; она знает, что каждый Острый в отделении слушает их разговор, — не хотите ли знать, что я думаю? Я думаю, что вы — очень эгоистичны. Разве вы не заметили, что, кроме вас самого, в этой больнице есть еще и другие? Здесь есть старики, которые вообще не услышат, если оно будет играть тише, старые люди, которые просто не в состоянии читать или собирать головоломки, или играть в карты, чтобы выигрывать у других сигареты. Для пожилых людей, таких, как Маттерсон и Киттлинг, эта музыка — единственное, что у них осталось. И вы хотите отнять у них это. Мы с радостью выслушиваем предложения или просьбы и всякий раз, когда возможно, стараемся их исполнить, но, я думаю, вам следовало бы спросить других, прежде чем обращаться с просьбой.

Он поворачивается и смотрит на Хроников, и понимает, что она говорит дело. Он стаскивает с головы кепку, запускает руку в волосы и снова поворачивается к ней. Он, так же как и Большая Сестра, знает, что Острые ловят каждое их слово.

— Ну хорошо — я об этом как-то не подумал.

— Я так и поняла.

Он теребит свои рыжие волосы, выбивающиеся из-под зеленой пижамы, затем говорит:

— Послушайте, что, если мы перенесем карточный стол куда-нибудь еще? В какую-то другую комнату? Ну, скажем, в ту комнату, куда ваши люди заносят столы во время собраний. Вы могли бы открыть эту комнату и позволить карточным игрокам перебраться туда, оставить старикам их радио — и всем хорошо.

Она улыбается, снова прикрыла глаза и мягко качает головой.

— Конечно же вы можете внести предложение — наравне с остальными, — но боюсь, что все согласятся с тем, что у нас недостаточно персонала, чтобы обслуживать две дневные комнаты. И пожалуйста, не наваливайтесь на стекло: у вас грязные руки, и они оставляют на окне следы. А это означает дополнительную работу для других.

Он отдернул руки, хотел что-то сказать, но тут же осекся, осознав бесполезность дальнейшего разговора, разве что начать с ней пререкаться. Его лицо и шея наливаются кровью. Он делает глубокий вдох, собирает всю свою волю в кулак, как было уже сегодня утром, просит прощение за беспокойство и отходит обратно к карточному столу.

И все в отделении чувствуют, что что-то началось.

В одиннадцать часов в дневную комнату входит доктор и зовет Макмерфи, приглашая его в кабинет для беседы.

Макмерфи кладет карты, поднимается и подходит к доктору. Тот спрашивает его, как прошла ночь, но Макмерфи лишь бормочет что-то в ответ.

— Сегодня вы выглядите задумчивым, мистер Макмерфи.

— О, это мое обычное состояние, — отзывается Макмерфи, и они вместе уходят по коридору.

Кажется, что они отсутствуют несколько дней, а когда возвращаются, то улыбаются и болтают, оба абсолютно счастливы. Доктор вытирает с очков слезы, видимо, он действительно по-настоящему смеялся, а Макмерфи снова громогласен, в голосе звучит медь, он самодоволен и самонадеян, как всегда. Остается таким и во время обеда, и в час дня одним из первых занимает место, чтобы участвовать в собрании. Он усаживается в углу, и его синие глаза сияют оттуда, словно прожекторы.

Большая Сестра входит в дневную комнату в сопровождении сестер-практиканток, корзина полна записок. Она берет со стола книгу и слегка хмурится, читая записи (за целый день никто ни на кого не настучал), а затем занимает свое место у двери. Вытаскивает из корзины несколько листов и раскладывает их на коленях, некоторое время шуршит ими, пока не находит тот, который касается Хардинга.

– Насколько я помню, вчера мы добились значительного прогресса, обсуждая проблемы мистера Хардинга...

– Но прежде чем мы обратимся к этому, – перебивает ее доктор, – я хотел бы, если можно, отвлечь ваше внимание. Это касательно разговора, который мы с мистером Макмерфи имели сегодня утром в моем кабинете. Правду сказать, мы предавались воспоминаниям. Говорили про былые времена. Вы знаете, мы с мистером Макмерфи обнаружили кое-что общее – мы ходили в одну и ту же школу.

Медсестры переглядываются, не понимая, что это нашло на доктора. Пациенты смотрят на Макмерфи, который посмеивается в своем углу, потом – на доктора в ожидании продолжения. Доктор кивает.

– Да, в одну и ту же школу. Мы вспомнили карнавалы, устраиваемые школой для попечителей, – потрясающие, шумные, торжественные мероприятия. Декорации, серпантин, киоски, игры – карнавал всегда был одним из главных событий года. Я был председателем оргкомитета и в средней школе, и в старших классах чудесные годы беззаботности...

В дневной комнате становится совсем тихо. Доктор поднимает голову и оглядывается вокруг, чтобы убедиться, не выставил ли себя полным дураком. Большая Сестра одаривает его взглядом, который не оставлял на этот счет никаких сомнений, но доктор позабыл надеть очки, так что взгляд на него не действует.

– Короче, дабы положить конец этому сентиментальному приступу ностальгии, по ходу нашей беседы Макмерфи и я подумали, как бы отнесли некоторые из пациентов к идее устроить карнавал здесь, в отделении?

Он надевает очки и снова оглядывает присутствующих. Никто не прыгает от восторга, услышав это предложение. Некоторые из нас припоминают, как Табер пытался устроить здесь карнавал несколько лет назад и что из этого вышло. И пока доктор ждет, тишина все нарастает, она исходит от Большой Сестры, растет и покрывает каждого, искушая и подзадоривая бросить ей вызов. Я знаю, что Макмерфи этого сделать не может, потому что он в деле, он планировал этот карнавал, и, когда я думаю, что никто не пойдет на поводу у своей глупости, чтобы нарушить молчание, Чесвик, стул которого находится рядом со стулом Макмерфи, издает неясное хрюканье и поднимается на ноги, почесывая ребра, и делает это прежде, чем сам осознал, что происходит.

– Уф. Лично я полагаю, понимаете ли... – он смотрит на руку Макмерфи на спинке стула с негнувшимся большим пальцем, – что карнавал – это действительно хорошая идея. И внесет какое-то разнообразие.

– И это так, Чарли, – отзывается доктор, вполне оценивший поддержку Чесвика, – и будет не лишено терапевтической ценности.

– Разумеется, нет, – говорит Чесвик, который сейчас выглядит счастливее, чем обычно. – Нет. Карнавал имеет массу терапевтических эффектов. Готов поспорить.

– Это б-б-было бы весело, – говорит Билли Биббит.

– Да, и это тоже, – поддерживает Чесвик. – Мы можем это устроить, доктор Спайвей, точно, что можем. Скэнлон мог бы изобразить человека-бомбу, а я могу устроить бросание колец в трудовой терапии.

– А я буду предсказывать судьбу, – говорит Мартини и косит глазом куда-то вверх.

– А лично я весьма поднатерел в диагностике патологий по линиям руки, – сообщает Хардинг.

– Хорошо, хорошо, – заключает Чесвик и хлопает в ладоши. Раньше ни один человек не поддерживал другого во время разговора.

– Лично я, – растягивая слова, произносит Макмерфи, – почел бы за честь работать на волшебном колесе. Имея некоторый опыт...

– О, существует столько возможностей, – говорит доктор, выпрямившись на стуле. Он по-настоящему загорелся этим делом. – У меня миллион идей...

Следующие пять минут мы слушаем его прочувствованную речь. Большинство идей он уже обговорил с Макмерфи. Он описывает игры, киоски, разговоры о продаже билетов, а потом вдруг неожиданно замолкает, словно взгляд Большой Сестры ударил его прямо промеж глаз. Он, моргая, смотрит на нее и спрашивает:

– Что вы думаете об этой идее, мисс Рэтчед? О карнавале? Здесь, в отделении?

– Я согласна, что такое мероприятие включает определенные терапевтические возможности, – говорит она и делает паузу. Убедившись, что никто не собирается нарушать тишину вокруг нее, продолжает: – Но полагаю, что идею, подобную этой, необходимо обсудить на собрании персонала, прежде чем будет принято окончательное решение. Что вы об этом думаете, доктор?

– Ну конечно. Я просто хотел узнать отношение к этому некоторых пациентов. Но разумеется, сначала – собрание персонала. А потом мы продолжим обсуждение наших планов.

Все понимают, что вряд ли что получится с карнавалом.

Большая Сестра снова начинает прибираться всех к рукам, зашуршав бумагами, которые держит на коленях.

– Прекрасно. В таком случае, если у нас нет больше новых тем – и если мистер Чесвик соизволит сесть, – я думаю, мы можем перейти непосредственно к обсуждению. У нас, – она вытащила из корзины часы и посмотрела на циферблат, – осталось сорок восемь минут. Итак, как я и говорила...

– О! Погодите. Я вспомнил, что у нас есть еще одна идея. – Макмерфи поднял руку, щелкая пальцами.

Сестра довольно долго смотрела на эту руку, не произнося ни слова, а потом наконец произнесла:

– Да, мистер Макмерфи?

– Не я, доктор Спайвей сообщит. Док, скажите им, к чему вы пришли насчет радио и этих ребят, которые туги на ухо.

Голова Большой Сестры дергается, достаточно слабо, чтобы это было заметно, но мое сердце неожиданно гулко забилося. Она кладет листы обратно в корзину и поворачивается к доктору.

– Да, – сообщает доктор, – я едва не забыл. – Он откидывается назад, скрестив ноги, и сплетает пальцы; я вижу, что он все еще находится в

прекрасном расположении духа из-за карнавала. – Видите ли, мы с мистером Макмерфи обсуждали проблему стариков, которые находятся у нас в отделении. Смешанный состав – старые и молодые вместе – это не самое идеальное решение для терапевтического сообщества, но администрация говорит, что ничем не может помочь, так как гериатрический корпус постоянно переполнен. И я первым готов признать, что это – не слишком приятная ситуация для всякого, кто в нее вовлечен. Однако во время нашей беседы мы с Макмерфи пришли к выводу, что можно создать условия более благоприятные для обеих возрастных групп. Макмерфи упомянул, что некоторые из стариков, судя по всему, испытывают трудности, слушая радио. Он предложил, чтобы громкоговоритель включали на большую мощность, так, чтобы Хроники со слабым слухом могли его слышать. Я полагаю, что это – очень гуманное предложение.

Макмерфи скромно махнул рукой, доктор кивает ему и продолжает:

– Но я сказал ему, что уже выслушивал жалобы от более молодых пациентов: радио работает настолько громко, что мешает разговаривать и читать. Макмерфи сказал, что об этом он не подумал. Действительно, почему те, кто желает почитать, не могут удалиться куда-нибудь в тихое место, предоставив радио тем, кто желает его слушать. Я согласился, что это не совсем красиво, и готов был уже оставить эту тему, когда неожиданно вспомнил о старой ванной комнате, куда мы относим столы во время наших собраний. Мы не используем эту комнату для каких-либо других целей; сегодня уже нет необходимости в гидротерапии, для которой эта комната была предназначена, так как у нас имеются новейшие лекарства. Так что, как группа посмотрит на то, чтобы сделать из этой комнаты нечто вроде второй дневной комнаты, игровой комнаты, я бы сказал?

Группа молчит. Все знают, чья партия следующая. Она снова вытащила папку с «делом» Хардинга, разложила ее на коленях и скрестила над нею руки, оглядывая комнату таким взглядом, словно кто-то мог осмелиться что-либо сказать. Когда становится ясно, что никто не произнесет ни слова, прежде чем Большая Сестра не скажет свое, она снова поворачивает голову к доктору:

– На словах этот план хорош, доктор Спайвей, и я высоко ценю заинтересованность мистера Макмерфи в благополучии и удобстве других пациентов, но я боюсь, что у нас недостаточно персонала, чтобы позволить себе содержать вторую дневную комнату.

И всем настолько ясно, что с этим вопросом покончено раз и навсегда, что она снова открывает свою амбарную книгу. Но доктор продумал этот вопрос более тщательно, нежели она рассчитывала.

– Я тоже думал об этом, мисс Рэтчед. Но поскольку в дневной комнате с громкоговорителем будут оставаться по большей части пациенты-Хроники, большинство из которых привязаны к креслам или креслам-каталкам, один санитар и одна медсестра с легкостью справятся с любым бунтом или возмущением, которые могут случиться, как вы полагаете?

Она ничего не отвечает, даже не потрудилась отреагировать на его шутку насчет бунта либо возмущения, на лице – неизменная улыбка.

– Двое других санитаров и сестры могут присматривать за пациентами в ванной комнате, это будет даже лучше, чем здесь, поскольку другое помещение меньше. Что вы об этом думаете, друзья? Эта идея сработает? Лично меня она вдохновляет, и мы должны попытаться воплотить ее, стоит попробовать пару дней и посмотреть, как получится. Если не сработает, ну что ж, у нас есть ключи, чтобы снова закрыть ее, разве не так?

– Правильно! – говорит Чесвик, ударяя пальцем по ладони. Он все еще стоит, словно боится опять оказаться рядом с большим пальцем Макмерфи. – Правильно, доктор Спайвей, если это не сработает, у нас есть ключ, чтобы снова закрыть ее. Даю слово.

Доктор видит, что остальные Острые кивают и улыбаются и выглядят довольными. Он расценивает это как похвалу и краснеет, словно Билли Биббит; протирает очки и продолжает. Мне смешно, что этот маленький человечек так доволен собой. Он смотрит на ребят, кивает им в ответ и говорит: «Прекрасно, прекрасно» – и кладет руки на колени.

– Очень хорошо. Итак, если это решено... я боюсь, мы позабыли, о чем мы планировали поговорить сегодня утром?

Голова Большой Сестры слегка дергается, она склоняется над корзиной, вытаскивает амбарную книгу. Пролистывает бумаги, и, похоже, руки у нее дрожат. Она вытаскивает одну из бумаг, но, прежде чем начинает читать ее вслух, Макмерфи встает, протягивает вперед руку и, переминаясь с ноги на ногу, произносит долгое, задумчивое: «Ска-а-жите», и ее руки останавливаются, застывая, словно бы сам звук его голоса заморозил ее, точно так же, как ее голос заморозил черного парня сегодня утром. И снова я испытал легкое головокружение, какое-то легкомыслие. Пока Макмерфи говорит, пристально рассматриваю ее.

– Ска-а-ажите, доктор, могу я узнать, что означает сон, который я видел прошлой ночью? Понимаете, во сне как будто бы был я, а потом вроде бы и не я, а кто-то другой, похожий на меня... как мой отец! Точно, отец. Это был мой старик, потому что временами, когда я себя... то есть его... видел, с железным болтом в челюсти, какой был у моего отца...

– У вашего отца в челюсти был железный болт?

– Ну, не всегда, но был когда-то, когда я был мальчишкой. Он проходил примерно десять месяцев с большим металлическим болтом, который входил вот сюда и выходил вот отсюда! Боже, он был настоящий Франкенштейн. Ему резали по челюсти топором, когда он из-за чего-то повздорил с моряком на лесозаготовках. Эх! Хотите, я расскажу вам, как это все произошло...

Ее лицо остается спокойным, словно по шаблону изобразила то выражение, которое хотела. Уверенная, терпеливая и невозмутимая. Больше никаких легких подергиваний, только это ужасное холодное лицо, спокойная улыбка, отлитая из красного пластика; чистый, гладкий лоб, ни одна морщинка не свидетельствует об усталости или тревоге; спокойные, широко раскрытые, нарисованные зеленые глаза, они словно бы говорят: я могу уступить один ярд сейчас, но я умею ждать и оставаться терпеливой, и спокойной, и уверенной, потому что никогда не проигрываю.

На минуту мне показалось, что ее это задело. Может быть, я действительно это видел. Но сейчас это не имеет никакого значения. Один за другим пациенты исподволь бросают на нее взгляды: как она отреагирует на то, что Макмерфи взял на себя проведение собрания, и они видят то же самое. Она слишком большая, чтобы проиграть. Она занимает в комнате целую стену, словно японская статуя. Ничто не может ее затронуть, и спасения от нее нет. Сегодня и здесь она проиграла маленькую схватку в той большой войне, где всегда побеждала и намеревалась побеждать и дальше. Мы не должны были позволять Макмерфи вселить в нас надежду, втягивать нас в глупую игру. Она будет продолжать выигрывать, так же как и Комбинат, потому что за ней стоит вся его мощь. Она не считает свои потери, она выигрывает за счет наших. Победить ее – не означает поддеть пару раз, или три раза, или пять. Вы должны делать это всякий раз, как с ней встречаетесь. И как только вы утратите бдительность, проиграете один раз, значит, она выиграла

окончательно и бесповоротно. И в конце концов все мы должны будем проиграть. Никто не может этого изменить.

Прямо сейчас она поворачивает ручку туманной машины, и она начинает работать так быстро, что вскоре я не могу разглядеть ничего, кроме ее лица, туман становится все плотнее и плотнее, и я чувствую себя настолько же мертвым и лишенным надежды, насколько счастливым был минуту назад – когда она дернулась, – еще более лишенным надежды, чем раньше, потому что я знаю, что нет и не может быть реальной помощи, никому не под силу справиться с ней или с ее Комбинатом. Макмерфи может сделать с этим не больше, чем я сам. Никто не может помочь. И чем больше я думаю об этом, тем быстрее комнату окутывает туман.

И я рад, что он стал достаточно плотным, что ты можешь потеряться в нем и позволить ему плыть, и снова быть в безопасности.

* * *

В дневной комнате играют в монополию. Они играют уже три дня, всюду понастроили дома и отели, два стола сдвинули вместе, чтобы было удобно следить за всем и складывать игровые деньги. Чтобы сделать игру интереснее, Макмерфи предложил уплачивать пенни за каждый игровой доллар, взятый из банка; и коробка из-под монополии заполнена сдачей.

– Твой ход, Чесвик.

– Да подождите вы с вашим ходом. На кой черт человеку покупать эти отели?

– Тебе нужны четыре дома на каждом из участков одного цвета, Мартини. Ну же, давай, с Богом!

– Подождите минутку.

Деньги утекают с этой стороны стола – красные, зеленые и желтые банкноты разлетаются во всех направлениях.

– Ради Христа, ты покупаешь отель или справляешь Новый год?

– Это – грязный ход, Чесвик.

– Протри глаза! Фу-у-х, Чесвик-шулер, куда это тебя занесло? Нечего наступать на мою Марвин-Гарденс! Разве это не означает, что ты должен заплатить мне ну-ка, посмотрим – три тысячи и пятьдесят долларов?

– Проехали.

– Как насчет других вещей? Погодите минутку. Как насчет других вещей – вдоль всей границы?

– Мартини, ты смотришь на эти вещи вдоль всех границ уже целых два дня. Неудивительно, что я теряю терпение. Макмерфи, не понимаю, как ты можешь сконцентрироваться, когда Мартини сидит здесь.

– Чесвик, не обращай внимания на Мартини. Он действует отлично. Ты просто ставь свои три пятьдесят, а Мартини сам о себе позаботится; разве мы не

берем с него ренту, когда одна из его «вещей» располагается на нашей земле?

– Подождите минутку. Тут слишком много «этих».

– Все в порядке, Март. Просто держи нас в курсе, на чьей земле они расположены. Кости все еще у тебя, Чесвик. Ты сделал двойной ход, так что ходи снова. Молток! Уау! Большая шестерка.

– Разрешите мне... Шанс: «Вы были избраны председателем правления, заплатите каждому из игроков...» Пролет и двойной пролет!

– Ради Христа, чей это отель на Ридингской железной дороге?

– Друг мой, это – как каждый может видеть – не отель; это – склад.

– Постойте, подождите минутку...

Макмерфи оккупировал свой край стола, раздавая карты, тасуя деньги, распределяя отели. Стодолларовый банкнот высовывается из-под края кепки, словно аккредитация; сумасшедшие деньги, как он это называет.

– Скэнлон? Полагаю, твой ход, приятель.

– Я пропускаю. Я разорву эту границу на куски. Вот куда мы пойдем. Засчитай мне одиннадцать, Мартини.

– Ну что ж, отлично.

– Да не этот, ты, чокнутый ублюдок; это – не мой кусок, это – мой дом.

– Он того же цвета.

– Интересно, что этот маленький домик делает на территории Электрической компании?

– Это – электростанция.

– Мартини, то, что ты трясешь, это – не кости...

– Да черт с ним, какая разница?

– Но это – парочка домов!

– Уау. А Мартини здорово идет, давайте посмотреть – большая девятнадцать. Отлично продвигаешься, Март, это дает тебе... Где твой кусок, приятель?

– А? Вот он, вот он.

– Он у него во рту, Макмерфи. Превосходно. Два хода за одну секунду, и третий коренной зуб, четыре – переход к границе, что приводит тебя на Балтик-авеню, Мартини. Ты владелец, это – твоя собственность. Везет же человеку, а, друзья? Мартини играет вот уже три дня и практически всякий раз выигрывает свою исконную собственность.

– Заткнись и ходи, Хардинг. Твоя очередь.

Хардинг собирает кости длинными пальцами, ощупывая их гладкую поверхность большим пальцем, так, словно он – слепой. Его пальцы того же цвета, что и кости, и выглядят так, словно вырезаны другой его рукой. Кости стучат в

его руке, и он встряхивает их. Они падают и останавливаются прямо перед лицом Макмерфи.

— Уау. Пять, шесть, семь. Большая удача, приятель. Это моя самая большая мечта. Ты нагрел меня. О, две тысячи долларов должны покрыть расходы.

— Мне очень жаль.

Игра все идет и идет по кругу, и слышны лишь стук костей и шуршание игрушечных денег.

* * *

Бывают долгие передышки — три дня, годы, — когда ты не можешь видеть ничего и знаешь о том, где ты, только благодаря громкоговорителю, звучащему над головой, словно бакен с колоколом, который звенит в тумане. Когда я могу видеть, ребята обычно двигаются туда-сюда, беззаботные, словно и не замечают того, сколько тумана в воздухе. Полагаю, что туман воздействует каким-то образом на их память, но не действует на мою.

Даже Макмерфи, похоже, понятия не имеет о том, что он в тумане. А даже если и замечает, то старается не выказывать беспокойства, особенно персоналу. Он знает, что нет лучше способа огорчить того, кто пытается осложнить тебе жизнь, чем прикинуться, что тебя это вообще не волнует.

Он вежлив в отношении медсестер и черных ребят, что бы они ему ни говорили и какие бы трюки ни выкидывали, стараясь вывести его из себя. Пару раз кое-какие идиотские правила заставляют его разъяриться, но он ведет себя прилично, поведение безупречно. Он осознает, до чего это все смешно, — правила, неодобрительные взгляды, манера разговаривать с тобой так, словно ты — всего лишь трехлетний малыш, — и тогда он начинает смеяться, и это их сильно бесит. Пока он способен смеяться, он в безопасности, так он, во всяком случае, думает, и, надо сказать, это срабатывает. Только один раз он потерял контроль над собой и разозлился. Но это не из-за черных ребят или Большой Сестры и не из-за того, что они делают, а из-за пациентов, и из-за того, что они не делают.

Это произошло на одном из групповых собраний. Он разозлился на ребят за то, что они действуют чересчур осторожно — смотреть противно, говорит он. В пятницу должны были состояться игры чемпионата. Макмерфи хотел, чтобы все посмотрели эти игры по телику, хотя передавали их не в то время, когда обычно включают телевизор. За несколько дней до этого, во время собрания, он спрашивает, нельзя ли будет сделать уборку вечером, в «телевизионное» время, а после обеда посмотреть телевизор. Большая Сестра говорит «нет», чего, собственно, он и ожидает. Она сообщает ему, что расписание составлено с учетом деликатных обстоятельств и благоразумных пожеланий и что изменение обычного порядка может привести к неразберихе.

Его не удивляет ответ Большой Сестры; его поражает, как Острые реагируют, когда он спрашивает их, что они об этом думают. Ни слова. Отодвинулись и прячутся от его взгляда в маленьких ямках тумана. Я едва могу их разглядеть.

— Но послушайте, — говорит он им, но они на него не смотрят. Он ждет, чтобы кто-нибудь ответил на его вопрос. Но все ведут себя так, словно и не слышат его. — Послушайте, черт побери, — говорит он, — среди вас,

ребята, есть, как минимум, человек двенадцать, которым безразлично, кто выиграет матч. Разве вам не хочется посмотреть его?

– Не знаю, Мак, – наконец говорит Скэнлон, – я уже привык смотреть шестичасовые новости. И если перенос времени серьезно повлияет на расписание, как об этом говорит мисс Рэтчед...

– Да черт бы побрал расписание. Ты сможешь вернуться к этому проклятому расписанию на следующей неделе, когда кончится чемпионат. Что скажете, ребята? Давайте проголосуем, чтобы смотреть телевизор после обеда – вместо вечера. Кто за это?

– Я, – отзывается Чесвик и поднимается на ноги.

– Я хочу сказать, кто за, должны поднять руки. Ну хорошо, кто за?

Рука Чесвика поднялась вверх. Несколько ребят оглядываются, чтобы посмотреть, найдутся ли еще дураки. Макмерфи не может в это поверить.

– Да перестаньте же, что за ерунда. Я полагал, что вы, ребята, можете голосовать и влиять на расписание и все такое. Разве это не так, док?

Доктор кивает, не поднимая глаз.

– Ну и хорошо. Итак, кто хочет смотреть игры?

Чесвик поднимает руку еще выше и оглядывается. Скэнлон качает головой, потом тоже поднимает руку, упершись локтем в ручку кресла. Больше никто не двинулся. Макмерфи поражен.

– Если с этим вопросом покончено, – произносит сестра, – нам, вероятно, следует продолжить наше собрание.

– Да, – произносит он, усаживается в кресло, опустив голову, – козырек кепки почти касается груди. – Да, вероятно, нам следует продолжить это сраное собрание.

– Да, – отзывается Чесвик, строго оглядывая всех, и усаживается на место, – да, продолжим наше благословенное Богом собрание. – Он сдержанно кивает, опускает подбородок на грудь и хмурится. Он польщен тем, что сидит рядом с Макмерфи, и чувствует себя от этого очень смелым. В первый раз за все время Чесвик проиграл не один.

После собрания Макмерфи ни с кем не разговаривает: они все ему противны. Подходит Билли Виббит.

– Некоторые из нас п-п-пробыли здесь лет п-п-пять, Рэнделл, – говорит Билли. Он теребит свернутый в трубочку журнал, на руках видны ожоги от сигарет. – И некоторые из нас п-п-про-будут здесь еще д-долго и после того, как вы уйд-д-дете, как закончится этот чемпионат. И... разве вы не понимаете... – Он отбросил в сторону журнал и отошел. – О! Какой смысл даже пытаться.

Макмерфи смотрит ему вслед, брови с недоумением сдвинуты к переносице.

Остаток дня он спорит с другими ребятами, почему они не проголосовали, но они не хотят говорить об этом; похоже, что он сдался и больше об этом не говорит до самого того дня, когда начинается чемпионат.

– Вот и четверг, – произносит он, печально качая головой.

Он сидит на столе в бывшей ванной комнате, поставив ноги на стул, и вертит на пальце кепку. Острые шатаются по комнате из угла в угол, стараясь не обращать на него внимания. Никто больше не играет с ним в покер и блэкджек на деньги — после того, как они отказались голосовать, он обыграл их до нитки и теперь они все по уши в долгах и боятся, что их затянет еще глубже. Они также больше не могут играть на сигареты, потому что Большая Сестра заставила держать блоки сигарет на столе на сестринском посту: она выдает им по одной пачке в день и говорит, что это — ради их здоровья. Но все знают, почему она так делает, — чтобы не дать Макмерфи выиграть их в карты. Без покера и блэкджека в бывшей ванной царит тишина, и только звук громкоговорителя доносится сюда из дневной комнаты. Здесь так тихо, что слышно, как какой-то парень из буйного отделения лезет на стену, время от времени подавая редкий сигнал: луу, луу, лууу — назойливый, совершенно неинтересный звук, словно ребенок плачет, чтобы, накричавшись, уснуть.

— Четверг, — снова повторяет Макмерфи.

— Лууу! — вопит тот парень наверху.

— Это Раулер, — говорит Скэнлон, глядя в потолок. Он не желает обращать на Макмерфи внимания. — Раулер Уродина. Несколько лет назад он прошел через это отделение. Не хотел вести себя тихо, чтобы не раздражать мисс Рэтчед, помнишь, Билли? Луу, луу, лууу — и так все время, я чуть с ума не сошел. Что следует сделать со всеми этими психами наверху — взять и забросить им в спальню пару гранат. От них никому никакой пользы..

— А завтра пятница, — говорит Макмерфи. Он не хочет, чтобы Скэнлон уводил разговор в сторону.

— Да, — отзывается Чесвик, хмурясь и оглядывая комнату, — завтра пятница.

Хардинг перелистывает страницы журнала.

— И это значит, что прошло уже около недели, как наш друг Макмерфи появился среди нас, — и все это время он безуспешно пытался свергнуть существующее правительство, вы ведь об этом говорите, Чесвик? Господи, только подумать, как мы ко всему равнодушны — стыдно, ох как стыдно.

— Да черт с ним, — говорит Макмерфи. — Чесвик хочет сказать, что первый матч чемпионата покажут по телевизору завтра. И что мы намерены делать? Тереть швабрами этот чертов инкубатор?

— Да, — произносит Чесвик, — терапевтический инкубатор старой матушки Рэтчед.

У меня такое чувство, что стены в ванной комнате как будто подслушивают; ручка моей швабры сделана не из дерева, а из металла (металл хороший проводник), и она пустая внутри — можно спрятать миниатюрный микрофон. Если Большая Сестра это слышит, она обязательно достанет Чесвика. Я вытаскиваю из кармана шарик жевательной резинки, отрываю от нее кусок и сую в рот, чтобы она размягчилась.

— Давайте прикинем, — говорит Макмерфи, — сколько из вас, птички мои, проголосует вместе со мной, если я снова подниму этот вопрос?

Примерно половина Острых кивает, но голосовать будут наверняка не все. Макмерфи снова надевает кепку и подпирает подбородок руками.

– Говорю вам, я могу поднять этот вопрос. Хардинг, с тобой-то что случилось, почему ты ничего не говорил? Боишься, если поднимешь руку, эта старая шлюха ее отрежет?

Хардинг вскидывает тонкую бровь.

– Может быть. Может быть, я действительно боюсь, что она ее отрежет, если я подниму ее.

– А как насчет тебя, Билли? Ты тоже этого боишься?

– Нет. Я не думаю, что она что-нибудь сд-д-делает, но.. – он пожимает плечами, вздыхает и забирается на большую панель, контролирующую насадки душа, устраивается там, словно обезьянка, – просто я не думаю, что из этого г-г-голосования выйдет что-нибудь хорошее. Нет смысла пытаться, М-Мак.

– Выйдет что-нибудь хорошее? Фу-у-х! Во всяком случае, вы, птички мои, сделаете хоть какое-то упражнение, поднимая руки.

– И тем не менее, риск остается, друг мой. У нее всегда есть возможность сделать наше существование еще хуже. Бейсбольный матч не стоит такого риска, – сказал Хардинг.

– Кто, черт возьми, говорит это? Господи Иисусе, я за много лет ни разу не пропустил чемпионата. Даже когда в сентябре сидел в тюрьме, они разрешили нам принести телик и смотреть чемпионат, а если бы они на это не пошли, начался бы бунт. Я могу просто вышибить эту чертову дверь и отправиться в какой-нибудь бар в городе, чтобы посмотреть игру. И пойдём только я и мой дружище Чесвик.

– Вот теперь я слышу предложение, которое заслуживает внимания, – произносит Хардинг, отбрасывая журнал. – Почему бы не поставить этот вопрос на голосование на завтрашнем собрании группы? «Мисс Рэтчед, предлагаю все отделение целиком перевести в „Свободный часок“ – попить пива и посмотреть телевизор».

– Я бы поддержал, – говорит Чесвик. – Правильно, черт возьми.

– Мне надоело, – заявляет Макмерфи, – смотреть, как вы тут изображаете из себя компанию старых дев. Когда нас с Чесвиком отсюда выпрут, я, Господь мне судья, забью за собой эту дверь гвоздями. Вам, парни, лучше оставаться в этом гнездышке, а то ваша мамочка не позволит вам одним переходить улицу.

– Да? Это так? – Фредериксон подходит к Макмерфи. – Ты собираешься своим тяжеленным ботинком вышибить дверь? Крутой парень!

Макмерфи даже не взглянул на Фредериксона. Он знает, что Фредериксон, когда разоидется, может быть смелым парнем, но при малейшем испуге вся спесь с него сходит.

– Ну так что? – продолжает Фредериксон. – Намерен ты вышибить эту дверь и показать, какой ты крутой?

– Нет, Фред, боюсь прежде времени износить обувь.

– Да? Когда ты говоришь, все выглядит очень круто, но как ты намереваешься вырваться отсюда?

Макмерфи оглядывается:

– Ну, полагаю, что могу высадить одно из этих окон, и когда я привлеку к себе внимание...

– Да? Ты сможешь, не так ли? Прямо возьмешь и выбьешь окно? Отлично, попробуй – а мы посмотрим. Давай же, герой, давай. Ставлю десять долларов, что у тебя ничего не выйдет.

– И не пытайся, Мак, себе дороже, – советует Чесвик. – Фредериксон знает, что ты только сломаешь стул и окажешься в буйном отделении. В первый же день, когда мы тут очутились, выразили протест в отношении этих решеток. Они сделаны особым образом. Техник брал стул, вроде того, на котором ты сейчас сидишь, и бил по решетке, пока от стула ничего не осталось, кроме щепы. А на решетке даже вмятины нет.

– Ну хорошо, – говорит Макмерфи, оглядываясь вокруг.

Я вижу, ему становится все интересней. Надеюсь, Большая Сестра всего этого не слышит, а то быть ему через час в буйном отделении.

– Нам нужно что-то потяжелее. Как насчет стола?

– То же что и стул. То же дерево, тот же вес.

– Ну хорошо, давайте придумаем, чем я могу пробить решетку, чтобы выбраться отсюда. И если вы, птенчики, думаете, что я этого не сделаю, поразмышляйте на досуге о чем-нибудь другом. Нужно что-нибудь побольше стола и стула... Эх, была бы ночь, я бы вышиб решетку тем жирным парнем – он достаточно тяжелый.

– Но слишком мягкий, – говорит Хардинг. – Он завязнет в решетке, и она разрежет его на кусочки, словно баклажан.

– А как насчет одной из кроватей?

– Слишком большая. Даже если ты сумеешь ее поднять, она не пройдет в окно.

– Поднять я подниму, не беспокойся. Эй, черт возьми, да вот же оно: эта штукovina, на которой сидит Билли. Эта большая контрольная панель со всеми ее кранами и ручками. Она достаточно крепкая, разве нет? И, черт побери, должна быть достаточно тяжелой.

– Не думаю, – говорит Фредериксон. – Это то же самое, как если бы ты вышибал ногой стальную входную дверь.

– А что не так с этой подержанной панелью? Похоже, к полу она не привинчена.

– Нет, не привинчена – кроме пары проволочек ее ничего не держит, но ты посмотри на нее повнимательней.

Все смотрят. Панель сделана из стали и цемента, размером в половину одного из столов, и весит она, похоже, фунтов четыреста.

– Ну, посмотрел. Она выглядит не больше чем кипы сена, которые я укладывал в кузов грузовика.

– Боюсь, друг мой, что это приспособление будет весить несколько больше, чем твои кипы сена.

– Я бы сказал, на четверть тонны побольше, – добавил Фредериксон.

– Он прав, Мак, – подтверждает Чесвик. – Она, должно быть, ужасно тяжелая.

– Черт, значит, вы, птенчики мои, утверждаете, что я не смогу поднять эту изящную маленькую вещицу?

– Друг мой, не припомню, что психопаты способны двигать горы в дополнение к прочим их ценным качествам.

– О'кей, ты говоришь, что мне ее не поднять. Ну что ж..

Макмерфи спрыгивает со стола и начинает стягивать с себя зеленую пижамную куртку. Татуировки наполовину высовываются из-под рукавов футболки, играя на напрягшихся мускулах.

– Итак, кто желает поставить пять баксов? Никто не убедит меня, что я не могу чего-то сделать, пока сам не попробую. Пять баксов..

– Макмерфи, это – такое же безрассудство, как биться об заклад насчет Большой Сестры.

– У кого есть пять баксов, которые он хочет потерять? Вы играете или остаетесь при своем интересе..

Ребята тут же потянулись за своими долговыми расписками. Он столько раз обыгрывал их в покер и блэкджек, что они не могут дождаться той минуты, когда отыграются, а это дело, без сомнения, верное. Не знаю, на что он рассчитывает. Хотя он такой широкоплечий и крупный, все равно понадобилось бы, как минимум, трое таких, чтобы сдвинуть панель, и он это знает. Стоит только посмотреть на нее, чтобы понять, что даже сдвинуть на дюйм ее не удастся, а уж тем более поднять в одиночку. Но когда Острые наконец сделали свои ставки, он шагает к панели, стаскивает с нее Билли Биббита, плкнет на большие мозолистые ладони, потирает их, играя плечами.

– Ну хорошо, держитесь подальше. Иногда, когда я напрягаюсь, порчу весь воздух, который только имеется поблизости, так что даже взрослые мужчины падают в обморок от удушья. Станьте дальше. Сейчас тут поднимется облако цемента и куски железа полетят во все стороны. Женщин и детей прошу поместить в безопасное место. Отойдите..

– Ей-богу, он может это сделать, – бормочет Чесвик.

– Точно, он, наверное, приподнимет ее, – говорит Фредериксон.

– Больше похоже, что он заработает превосходную грыжу, – говорит Хардинг.

– Да ладно, Макмерфи, прекратите вести себя как дурак. На свете нет мужчины, который поднял бы эту штуковину.

– Отойдите, вы расходуете мой кислород.

Макмерфи немножко размял ноги, чтобы принять хорошую стойку, снова вытирает руки о бедра, а потом нагибается и берется за ручки по обе стороны панели. Стоило ему напрячься, как ребята начали подсмеиваться и подкалывать его. Он ослабляет хватку, выпрямляется, оглядывается и снова разминает ноги.

– Сдаешься? – ухмыляется Фредериксон.

— Просто решил немного передохнуть. Эта штука требует поднапрячься по-настоящему. — И он снова хватается за ручки.

Неожиданно все затихает. Больше никто над ним не подшучивает. Его руки превращаются в бугры, и вены проступают на их поверхности. Он зажмуривает глаза и оскаливается, открывая зубы. Его голова откинулась, и сухожилия натянулись, словно витые веревки, бегущие от его тяжелой шеи вниз по обеим рукам — к ладоням. Все его тело вибрирует от напряжения, когда он пытается поднять то, что — он знает! — поднять не может, и все вокруг это знают.

На одну секунду мы засомневались, когда услышали, как скрипит цемент у нас под ногами.

А потом воздух рывком выходит из его легких, и он отлетает назад и приваливается к стене. На ручках, за которые он держался, остается кровь. Одну минуту он, отдуваясь, стоит у стены, глаза его закрыты. И в комнате не слышно ни звука, кроме его свистящего дыхания; все молчат.

Он открывает глаза и оглядывает нас. Смотрит на ребят — на одного, другого и даже на меня, — а потом сует руку в карман, где лежат долговые расписки, полученные за последние несколько дней игры в покер. Он опирается на стол и пытается разложить их, но руки превратились в две красные клешни, пальцы его не слушаются.

В конце концов он сбрасывает всю пачку на пол — там, наверное, по сорок — пятьдесят долларов с каждого — и поворачивается, чтобы выйти из ванной. Потом, задержавшись в дверях, оборачивается и смотрит на нас.

— Но я, во всяком случае, пытался, — говорит он. — Черт бы все побрал, я хотя бы знаю, что сделал все возможное, разве не так? — И он выходит, оставляя запачканные листки бумаги на полу — пусть разбираются.

* * *

Приходящий доктор с желтым черепом, затянутым серой паутиной, созывает для консультации практикантов в комнату персонала.

Делаю вид, что хочу прибраться, и следую за ним.

— А это что такое? — Он смотрит на меня, словно на мышку.

Один из практикантов знаками показывает, что я — глухой, и доктор продолжает движение.

Я двигаю шваброй туда-сюда прямо перед большой картиной, которую как-то принес в отделение Связи с общественностью, когда туман был таким плотным, что я его даже разглядеть не сумел. На картине изображен человек, который удит рыбу — на муху — где-то в горах, которые похожи на Очокос недалеко от Пэйнвилля. Снег на вершинах подчеркивает силуэты сосен, длинные белые стволы осин выстроились в линию вдоль потока, конский щавель тянется вверх в сырых зеленых лощинах. И парень закидывает свою муху-наживку в заводь за скалой. На муху там не ловят, тут нужна личинка, надетая на крючок номер шесть, а на муху лучше внизу, по течению.

Там есть тропинка, уходящая вдаль, через осиновую рощу, и я двигаю свою швабру прямо по тропинке, присаживаюсь на камень и выглядываю из-за рамы, чтобы посмотреть, как доктор беседует с практикантами. Вижу, как он тычет в какую-то точку указательным пальцем, но не могу слышать, что он говорит из-за грохота холодного, схваченного морозом горного потока, разбивающегося о камни. Чувствую запах снега, который приносит с собой ветер, дующий с вершин гор. Могу рассмотреть кротовые норы, которые горбятся среди травы и сорняков. Это по-настоящему приятное местечко, где можно вытянуть ноги и на все наплевать.

Ты забываешь – если только не сядешь поудобнее и не постарайся вспомнить, – забываешь, как все было раньше, в старой больнице. Там не было таких приятных местечек на стенах, куда бы вы могли взобраться. Там не было телевизоров, плавательных бассейнов, цыпленка два раза в неделю. У них не было ничего, кроме голых стен и стульев и тюремных жакетов, которые требовали нескольких часов упорного труда, чтобы натянуть их на себя. С тех пор они многому научились. «Прошли немалый путь», – говорит Связи с общественностью с заплывшим жиром лицом. Теперь они расстарались, сделали так, что жизнь здесь выглядит очень приятной – с картинами и украшениями, хромовой арматурой в умывальной. «Человек, который захочет сбежать отсюда, покинуть такое приятное место, – говорит жирный Связи с общественностью, – с ним и в самом деле что-то не в порядке».

В комнате для персонала приглашенный авторитетный специалист отвечает на вопросы практикантов, а сам обнимает себя за локти и ежится, будто замерз. Он тощий и бесплотный, одежда висит, как на вешалке. Он стоит, прижимая к себе локти, и дрожит. Может быть, он тоже чувствует ледяной ветер с горных вершин.

* * *

По ночам мне стало трудно найти свою кровать, приходится ползать на четвереньках, трогая снизу пружины, пока не нахожу жвачку, прилепленную к раме. Но никто не жалуется на туман. Теперь я знаю почему: как бы плохо все ни было, ты можешь укрыться в нем и чувствовать себя в безопасности. Это то, чего Макмерфи не может понять, – мы хотим остаться в живых. Он пытается вытащить нас из тумана на открытое место, где до нас так легко будет добраться.

* * *

Сверху спускают целую партию замороженных частей – сердец, почек, мозгов и всего такого. Слышу, как они громяют по пути в холодильник. Какой-то парень, которого не видно, говорит, что в буйном отделении кто-то покончил с собой. Старина Раулер. Отрезал себе яйца и истек кровью, сидя прямо на унитазе. Там было с полдюжины человек, и никто ничего не заметил, пока он не свалился на пол, уже мертвый.

Не могу понять, почему люди такие нетерпеливые. Все, что оставалось делать этому парню, – просто ждать.

* * *

Я знаю, как она работает, эта туманная машина. У нас был целый взвод, который управлял туманными машинами вокруг аэродромов, там, за морем. Когда разведка докладывала о бомбовой атаке или генералы задумывали что-то секретное, такое, чтобы никто не видел, или когда нужно было что-то хорошо замаскировать, чтобы даже шпионы на базе не могли видеть, что происходит, они окутывали поле туманом.

Это – простое устройство: компрессором закачивали воду из одного бака, специальное масло из другого и сдвливали их вместе. Из черного ствола позади машины вырывается белое облако тумана, которое за девяносто секунд покрывает все летное поле. И первое, что я увидел, когда приземлился в Европе, был этот туман из машин. Наш транспортный самолет сопровождали несколько перехватчиков, и, как только мы коснулись земли, туманное подразделение пустило в ход машины. Через поцарапанные иллюминаторы мы видели, как джипы подвозят машину ближе к самолету, как вскипал и поднимался туман, пока не окутал все поле, и теперь он клубился за окнами, словно сырой хлопок.

От самолета шли на звук рожка, в который изо всех сил дул лейтенант и который звучал как крик дикого гуся. Как только ты оказывался за крышкой люка, ты уже больше чем на три фута ничего не видел в любом направлении. У тебя создавалось впечатление, что ты остался на летном поле совсем один. Ты был в безопасности – в том смысле, что недосыгаем для врага, но ты был абсолютно одинок. Звуки умирали и растворялись в нескольких футах от тебя, и ты больше не мог слышать никого из твоего подразделения, вообще ничего, кроме маленького рожка, который пищал и трубил в этой мягкой пуховой белизне, такой плотной, что в ней терялось твое тело ниже пояса. Видел только коричневую куртку и медную пряжку. Ничего, кроме белого, словно ниже талии ты тоже растворился и потерялся в тумане.

А потом какой-нибудь парень, который брел наугад, как и ты, совершенно неожиданно появлялся у тебя перед глазами. Ты никогда в жизни не видел человеческое лицо так крупно и четко. Твои глаза так напряжены, чтобы разглядеть что-то в тумане, что каждая деталь становилась видна в десять раз отчетливей, нежели обычно, так ясно, что вы оба отводили друг от друга взгляд. Когда из тумана показывался человек, тебе не хотелось смотреть в его лицо, и ему не хотелось смотреть, в твое, потому что видеть кого-то другого так отчетливо, так ясно – будто заглядывать ему внутрь. И все же не хотелось отвернуться и окончательно потерять его из виду. У тебя был выбор. Ты мог или напрячься и смотреть на вещи, которые появляются прямо перед тобой из тумана, хотя смотреть больно, или ты можешь расслабиться и потерять себя.

Когда они в первый раз применили в отделении туманную машину, приобретенную у военных, и спрятали в вентиляционной трубе в новом помещении, прежде чем мы туда переехали, я смотрел на все, что появлялось передо мной из тумана так долго, как только мог выдержать. Никто не трубил в рожок и не натягивал веревок. Ухватиться взглядом за что-либо перед собой было временами единственным способом не потеряться. Иногда я терялся в нем, погружался слишком глубоко, пытался спрятаться, и всякий раз оказывался в одном и том же месте, у той же самой металлической двери с рядами заклепок, тарашившихся на меня, словно глаза, и без номера, и комната, находящаяся за дверью, влекла меня к себе. Как бы я ни старался держаться от нее подальше, как будто течение, которое направляли демоны в

этой комнате, двигалось сквозь туман и тащило меня за собой, словно я был робот. И я бродил в тумане в страхе, что никогда больше ничего не увижу и что там снова будет эта дверь, которая откроется, чтобы явить мне мягкую матрасную обивку с другой стороны, которая заглушает любые звуки, и мужчин, стоящих в очереди словно зомби вдоль начищенных, сияющих медных проводов и труб, отражающих свет и яркий шрам искрящей электрической дуги. И я встану за ними и буду ждать своей очереди к столу. Стол формами своими походил на крест, и тени тысяч умерщвленных людей отпечатались на нем – контуры запястий и лодыжек, которые продевались в кожаные петли, позеленевшие от времени и частого использования, и контуры головы и шеи, идущие к серебряной повязке, перехватывающей лоб. И техник, контролирующий процесс у стола, поднимет голову от своих приборов, осмотрит очередь и укажет на меня рукой в резиновой перчатке:

– Погодите, я знаю этого здоровенного ублюдка. Лучше врезать ему по мозгам или позвать пару ребят на помощь, а то он нам тут все разнесет.

Так что я старался не погружаться в туман чересчур глубоко из страха, что я потеряюсь и снова окажусь у двери в шок-шоп. Я изо всех сил смотрел на все, что бы ни попало мне на глаза, и цеплялся в это, как человек в снежную бурю цепляется за перила ограды. Но они делали туман все плотнее и плотнее, и мне казалось, как бы я ни старался, два или три раза в месяц все равно оказывался перед этой дверью; она открывалась передо мной, и я шагал в пустоту, пахнущую искрами и озоном. И как бы я ни старался, трудно уберечься, чтобы не потеряться.

А потом я открыл кое-что для себя: можно и не оказаться у этой двери, если стоишь спокойно, когда туман накрывает тебя, и тихо. Беда заключалась в том, что я сам находил эту дверь, потому что боялся оставаться потеряннным так долго, и начинал звать на помощь, так что им удавалось меня выследить. Получается, я кричал им для того, чтобы они взяли меня, – все, что угодно, лишь бы не потеряться там навеки, даже и шок-шоп. А вот теперь не знаю. Потеряться – это еще не самое худшее.

Все утро ждал, что они снова начнут напускать туман. В последние несколько дней они делали это все чаще и чаще. Я считал, что они делают это из-за Макмерфи. Им все еще не удавалось взять его под контроль, и они пытаются захватить его врасплох. Они понимают, что он представляет для них опасность; несколько раз он почти заставил Чесвика и Хардинга да еще некоторых ребят почувствовать, что они могут дать отпор одному из черных парней, – но всегда, когда казалось, что получилось, сгущался туман, вот как сгущался он и теперь.

Я слышал, как несколько минут назад компрессор принялся пыть за решеткой вентиляции, как раз когда ребята принялись передвигать в дневной комнате столы для терапевтического собрания, и влага уже медленно растекалась по полу и была такой плотной, что штанины моей пижамы намокли. Я протирал стекла в двери сестринского поста и слышал, как Большая Сестра подняла телефонную трубку и позвала доктора, сообщив ему, что собрание скоро начнется и чтобы он высвободил для себя часочек после полудня для совещания персонала.

– Как мне помнится, – говорила она ему, – накануне мы обсуждали поведение пациента Макмерфи. Есть ли необходимость оставлять его в этом отделении или такой необходимости нет? – Она с минуту слушала, что он ей отвечал, а затем добавила: – Не думаю, что было бы мудро позволять ему огорчать пациентов, как он, без сомнения, делает это в последние два дня.

Вот почему она напускает туман в отделение перед собранием. Обычно она этого не делает. Но теперь она замышляет что-то против Макмерфи, она собирается сделать это сегодня – может быть, переправить его в буйное. Я

опускаю тряпку для мытья окон и иду к своему стулу в самом конце линии Хроников, едва в состоянии разглядеть ребят, сидящих на стульях, и доктора, который как раз входит в дверь, протирая очки, словно это не туман мешает ему смотреть, а запотели стекла.

Туман клубится, он гуще, чем я когда-либо видел.

Слышу, как они начинают собрание, как говорят какие-то глупости о заикании Билли Биббита и о том, отчего оно происходит. Слова долетают словно из-под воды, такой плотный был этот туман. На самом деле он так похож на воду, которая плещется прямо около моего стула, и на какое-то время я потерялся в пространстве. Плыву, и меня даже начинает немного подташнивать. Не вижу ни зги. Никогда не думал, что туман может быть настолько плотным, чтобы плавать в нем.

Слова звучат то громко, то тихо, ближе и дальше, а я тем временем плыву и плыву, но, когда они становятся совсем громкими, время от времени я понимаю, что сижу прямо рядом с парнем, который говорит. И тогда я могу кое-что разглядеть.

Узнаю голос Билли, который заикается еще больше, чем всегда, оттого что нервничает.

— ..Иск-к-к-ключ-ч-чили из к-к-колледжа, п-п-потому что я ушел с в-в-военной к-к-кафедры. Я н-не мог эт-т-того выносить. К-к-когда оф-ф-фицер в классе, д-д-делавший п-п-переключку, орал: «Биббит!» — я н-не мог отвечать. П-п-по-лагалось от-т-т-ответить зд.. зд.. зд.. — На этом слове он закашлялся, словно в горло попала кость. Слышу, как он сглотнул и начал снова: — Полагалось ответить: «Здесь, сэр», но мне никогда не удавалось это выговорить.

Его голос, стал далеким и тусклым; затем слева, прорезая туман, раздается голос Большой Сестры.

— Можете ли вы вспомнить, Билли, когда у вас впервые начались проблемы с речью? Когда вы в первый раз начали заикаться, вы помните?

Не могу сказать, рассмеялся ли он в ответ.

— П-п-первое заикание? Я начал заикаться с первого с-своего слова «м-м-мама».

Затем все разговоры разом стихли. Такого со мной раньше не было. Может быть, Билли тоже спрятался в тумане. А может быть, все ребята окончательно и навсегда стинули в тумане.

Я и мой стул проплываем мимо друг друга. И это — первая вещь, которую я вижу. Он выплывает, покачиваясь, из тумана справа от меня и несколько секунд качается у моего лица, но я не могу его достать рукой. Я давно уже приучился оставлять вещи в покое — оставлять их там, где они появляются из тумана, сидеть спокойно и не пытаться до них дотянуться. Но на этот раз я испугался — так, как пугаюсь обычно. Пытаюсь изо всех сил дотянуться до него, но мне не на что опереться, и все, что мне удастся сделать, — это ловить воздух, а стул придвигается ко мне все ближе, ближе, так что я даже могу различить отпечаток пальца там, где рабочий касался лака до того, как он высох; он висит передо мной несколько секунд, а потом его снова затягивает туманом. Никогда не видел, чтобы вещи так плавали в тумане. И никогда не видел такого плотного тумана, такого плотного, что не могу спуститься на пол и встать на ноги. Именно поэтому я так напуган; чувствую, что на этот раз меня занесет неизвестно куда.

Из тумана, чуть пониже меня, выплывает один из Хроников. Это старый полковник Маттерсон, читающий что-то в своей измятой рукописи, которую держит в длинной желтой руке. Смотрю на него внимательно, потому что мне казалось, что вижу его в последний раз. Лицо огромное, страшно смотреть. Каждый волосок, каждая морщина слишком большие, словно смотрю на него в микроскоп. Вижу его так ясно, что могу прочесть всю его жизнь. На этом лице прочитываются шестьдесят лет военных лагерей на юго-западе, оно изборождено обитыми железом колесами зарядных ящиков, его кости обтянуты кожей, выдубленной тысячами футов двухдневных марш-бросков.

Он вытягивает длинную руку и подносит ее к глазам, прищуривается, подносит другую руку и начинает подчеркивать слова своим деревянным пальцем, приобретшим от никотина цвет ружейного приклада. У него низкий голос, говорит он медленно и терпеливо, и слова выходят темные и тяжелые, вырываясь из хрупких губ, пока он читает:

— Теперь... Флаг есть... А-ме-рика. Америка есть... слива. Персик. Дыня. Америка есть... капля смолы. Тыквенное семя. Америка есть... телль-а-вивдение.

Это правда. Все это написано его желтой рукой. Я и сам могу прочитать.

— Теперь... Крест есть... Мек-си-ка. — Он поднимает глаза, чтобы убедиться, что я обратил на него внимание, и, когда видит, что я улыбаюсь, продолжает: — Мексика есть грецкий орех. Каштан. Зернышко. Мексика есть... радуга. Ра-ду-га есть... дерево. Мексика есть... дерево.

Я вижу, куда он клонит. Он говорит всякие такие вещи все шесть лет, которые провел здесь, но я никогда не обращал на него внимания, полагая, что он — не больше чем говорящая статуя, вещь, сделанная из костей и артрита, беспрерывно выдающая дурацкие заключения, в которых нет и тени смысла. А теперь наконец я понимаю, о чем он говорит. Я стараюсь удержать его одним долгим взглядом, чтобы запомнить, и поэтому смотрю достаточно пристально, начиная понимать. Он делает паузу и смотрит на меня, чтобы убедиться — дошло ли до меня, и мне хочется завопить изо всей мочи, завопить ему в ответ: «Да, я понял! Мексика похожа на грецкий орех, коричневая и жесткая, и если ты ощупываешь ее взглядом, чувствуешь — грецкий орех! У тебя есть мысли, старина, твои собственные мысли. Ты не сумасшедший, как все они думают». Да... я понял...

Но туман забил глотку — до такой степени, что я не могу издать ни звука. Он удаляется от меня, склонившись над своей рукой.

— Теперь... Зеленая овца есть... Ка-на-да. Канада есть... фиговое дерево. Сырые пастбища. Ка-лен-дарь...

Его относит от меня все дальше, и я напрягаюсь изо всех сил, чтобы видеть его. Напрягаюсь так, что глазам больно, и мне приходится их закрыть, а когда открываю, полковника уже нет. Я снова плыву один-одинешенек, еще более потерянный, чем всегда.

Значит, пришло время, говорю себе. Все к лучшему.

Показался Старина Пете, с лицом, похожим на прожектор. Он в пятидесяти ярдах слева от меня, но я могу видеть его настолько ясно, словно между нами вообще нет никакого тумана. Может быть, он на самом деле совсем близко, просто очень маленький, в этом я не уверен. Он говорит мне, как сильно устал, и, когда он это произносит, вижу всю его долгую жизнь на железной дороге, вижу, как он изо всех сил старался следить за часами, обливался потом при каждой попытке сунуть нужную пуговицу в прорезь на

железнодорожном комбинезоне, делал абсолютно невероятные усилия, чтобы удержаться на этой работе, которая так легко давалась другим, что им оставалось только сидеть, развалясь, на стуле, обитом картоном, и почитать детективы и дамские романы. Не то чтобы он когда-нибудь по-настоящему рассчитывал, что разберется, — он с самого начала знал, что эта работенка ему не по силам, — но он изо всех сил старался удержаться на этом месте, чтобы не пропасть. Целых сорок лет он жил если и не совсем в мире людей, то, во всяком случае, на его краешке.

Вижу все это, и мне больно, как было больно от того, что видел в армии во время войны. Так же больно, как тогда, когда видел, что случилось с папой и с племенем. Я думал, что перестал видеть такие вещи и что никогда больше не буду мучиться из-за них. В этом нет никакого смысла. И ничего нельзя поделать.

— Я устал, — вот что он сказал.

— Знаю, что ты устал, Пете, но тебе не будет проку с того, что я буду из-за этого переживать. Ты знаешь, что я не могу.

Пете уплывает вслед за старым полковником.

Следом появляется Билли Биббит, он приплыл тем же путем, что и Пете. Они все проходят передо мной один за другим, в строгом порядке, чтобы я успел бросить на них последний взгляд. Знаю, что Билли не может быть дальше от меня чем на несколько шагов, но он такой маленький, будто нас разделяет почти миля. Его лицо выныривает передо мной, словно лицо нищего, которому нужно больше, чем ему смогут дать. Рот как у маленькой куколки.

— И д-д-даже когда я эт-то п-п-предложил, я сваял дурака. Я сказал: «Д-д-орогая, в-выйдешь за м-м-меня з-з-з-з... пока девушка не н-начала хохотать».

Откуда-то раздается голос Большой Сестры:

— Твоя мима рассказывала мне об этой девушке, Билли. Очевидно, она была значительно ниже тебя по положению. Что в ней было такого, что так сильно напугало тебя, Билли?

— Я б-б-был влюблен в нее.

Я ничего не могу сделать для тебя, Билли. И ты это знаешь. Никто из нас не может. Ты должен понять, что, как только человек собирается помочь кому-либо, он становится беззащитным. Высовываться нельзя, Билли, и ты это знаешь не хуже других. Что я могу сделать? Я не могу исправить твоего заикания. Я не могу стереть шрамы от лезвия бритвы с твоих запястий или сигаретных ожогов с тыльной стороны твоих ладоней. Я не могу дать тебе новую мать. А если Большая Сестра будет издеваться над тобой и твоими недостатками и от унижения и обиды ты растеряешь свое человеческое достоинство — я все равно ничего не смогу с этим поделать. В Анзио одного из моих парней привязали к дереву в пятидесяти ярдах от меня. Он кричал и просил воды, его лицо покрылось волдырями на солнце. Они хотели, чтобы я помог ему освободиться. И тогда бы они продырявили меня.

Отвернись, уברי свое лицо, Билли.

Они продолжают проходить мимо, один за другим.

И на каждом лице, словно табличка, застыло выражение: «Я — слепой», как у того итальянца, который играл на аккордеоне в Портленде, только табличка была у него на шее. А на их табличках написано: «Я устал», или «Я боюсь»,

или «Я умираю от больной печени», или «Я со всех сторон повязан машинерией, и люди все время толкают меня». Я могу прочитать все таблички, какой бы мелкий ни был шрифт. Некоторые лица оглядываются и смотрят друг на друга, и могли бы прочитать чужие таблички, если бы хотели, но какой в этом смысл? Лица растворяются в тумане, словно конфетти.

Так далеко я еще не бывал. Это похоже на смерть. Так, наверное, существуют и чувствуют себя Овоши: ты просто теряешь себя в тумане. Ты не двигаешься. Они питают твоё тело, пока оно в конце концов не перестает есть; а потом его сжигают. Это не так уж плохо. Нет боли. Я почти ничего не чувствовал, кроме холодного прикосновения иглы, которое я знал, появится в своё время.

Вижу, как мой командир прикрепляет на доску объявлений приказы, что нам сегодня надевать. Вижу, как министерство внутренних дел США нападает на наше маленькое племя со своей камнедробильной машиной.

Вижу, как папа вприпрыжку выбегает из засады и замедляет ход, чтобы хорошенько прицелиться в большого оленя-самца, мчащегося меж кедров. И почти сразу пуля вылетает из ствола, вздымая пыль вокруг самца. Я выхожу из укрытия вслед за папой и укладываю оленя со второго выстрела, когда он уже начал подниматься в гору. И улыбаюсь папе.

— Первый раз вижу, чтобы ты промазал, папа.

— Глаза уже не те, парень. Не могут удержать прицел. Мушка у моего ружья дрожала, словно пес, который выковыривает косточку из персика.

— Говорю тебе, папа, это кактусовое питье, которое делает Сид, старит тебя раньше времени.

— Послушай меня, парень, кто пьет это, тот уже постарел раньше времени. Идем и освежаем животное, пока его не облепили мухи.

Это происходит ведь не сейчас. Понимаете? Вы ничего не можете поделать с тем, что случилось в прошлом, — вот так.

Посмотри сюда, что это...

Я слышу, как шепчутся черные ребята.

Этот старый дурак Брум сполз со стула и уснул.

Это так, вождь Брум, это так. Ты спишь и неподвластен их бедам. Да.

Мне больше не холодно. Думаю, я уже почти сделал это. Я ушел туда, где холод не может до меня добраться. Я могу остаться здесь. Я больше не боюсь. Они больше меня не достанут. Только слова долетают, да и они уже едва слышны.

Итак... раз уж Билли решил больше не участвовать в дискуссии, может быть, кто-то еще расскажет о своих трудностях?

— Правду сказать, мадам, тут кое-что произошло...

Это Макмерфи. Он далеко-далеко. Он все еще пытается вытащить ребят из тумана. Почему бы ему не оставить меня в покое?

— ...Помните ли вы, что мы голосовали день или два назад насчет времени пользования телевизором? Ну так, сегодня пятница, и я думаю, не набрался ли кто-нибудь храбрости, чтобы еще разок обсудить этот вопрос?

– Мистер Макмерфи, целью этих собраний является терапевтическое воздействие, это – групповая терапия, и я не уверена, что эти незначительные жалобы...

– Да, правильно, мы уже слышали это раньше. Мы с некоторыми ребятами решили...

– Минуточку, мистер Макмерфи, позвольте задать группе вопрос: не ощущает ли кто-либо, что мистер Макмерфи слишком активно навязывает некоторым из вас свои личные желания? Я начинаю думать, что многие будут рады, если его переведут в другое отделение.

Одно мгновение все молчат. Затем кто-то произносит:

– Дайте ему устроить голосование, почему он не может этого сделать? Почему вы хотите отправить его в буйное только за то, что он хочет проголосовать? И почему нельзя смотреть телевизор в другое время?

– Ну что ж, мистер Скэнлон, хочу напомнить, что вы в течение трех дней отказывались принимать пищу, пока мы не позволили вам включить телевизор в шесть вместо шести тридцати.

– Человеку ведь нужно посмотреть новости, разве не так? О боже, они могли разбомбить Вашингтон, а мы бы целую неделю ничего не знали.

– Да? И вы согласны заменить последние новости на бейсбол, где кучка мужчин перебрасываются мячиком?

– Мы не можем позволить себе и то и другое, верно? Нет, полагаю, что не можем. Ну что ж, и черт с ним – не думаю, что они собираются бомбить нас на этой неделе.

– Дайте ему устроить голосование, мисс Рэтчед.

– Очень хорошо. Но я думаю, что это – вполне достаточное свидетельство того, как сильно он расстраивает некоторых из наших пациентов. Что же именно вы предлагаете, мистер Макмерфи?

– Предлагаю снова проголосовать за то, чтобы смотреть телевизор после обеда.

– Вы уверены, что еще одного голосования будет достаточно? У нас есть более важные дела...

– Думаю, что да. Мне просто хочется посмотреть, у кого из этих птичек кишка тонка, а у кого – нет.

– Именно такого рода беседы, доктор Спайвей, заставляют меня задуматься что многим нашим пациентам будет спокойнее, если Макмерфи переведут в другое отделение.

– Позвольте им проголосовать, почему нет?

– Разумеется, мистер Чесвик. Проведем голосование прямо сейчас, перед группой. Как вы предполагаете, мистер Макмерфи, будет ли достаточно, если пациенты просто поднимут руки, или вы настаиваете на тайном голосовании?

– Я хочу видеть их руки, а также и тех, кто не поднимет руки.

– Все, кто за то, чтобы изменить время просмотра телевизора на послеобеденное, прошу поднять руки.

Первой поднимается рука самого Макмерфи, я узнаю ее по повязке, которую наложили, когда он порезался, поднимая контрольную панель. А потом я вижу, что и другие руки тоже поднимаются, вынырнув из тумана. Будто большая красная рука Макмерфи ныряет в туман и ловит парней, вытаскивает их за руку, ослепших и моргающих на белый свет. Сначала одного, потом другого, потом третьего. Одного за другим, по линии Острых, выдергивая их из тумана, пока они не встанут на ноги – все двадцать. И они поднимаются не только ради того, чтобы смотреть телевизор, но и против Большой Сестры, против ее попыток отправить Макмерфи в буйное отделение, против того, как она с ними говорила и как действовала, против того, как она побеждала и держала их в повиновении долгие годы.

Чувствую, насколько все ошеломлены – и пациенты, и персонал. Большая Сестра не понимает, что случилось; вчера, до того как он попытался поднять панель, не набралось бы и четырех-пяти голосующих. Но когда она начинает говорить, ни за что не догадаешься, что она тоже крайне изумлена.

– Я насчитала только двадцать голосов, мистер Макмерфи.

– Двадцать? Ну и что не так? Нас тут и есть двадцать человек... – Его голос дрогнул, когда он начал осознавать, что она имеет в виду. – Постойте, подождите-ка одну минуточку, леди...

– Боюсь, что голосование оказалось недействительным.

– Да подождите же одну минутку, черт возьми!

– В отделении находится сорок пациентов, мистер Макмерфи. Сорок пациентов, а проголосовало только двадцать. Для того чтобы изменить распорядок отделения, нам нужно большинство голосов. Боюсь, что голосование завершено.

Руки по всей комнате идут вниз. Ребята, которые знают, что их поймали на мушку, стараются ускользнуть обратно в безопасную неопределенность тумана. Макмерфи вскочил на ноги:

– Ну что ж, будь я последний сукин сын. Здорово вы все повернули. Хотите посчитать голоса всех этих старых глухих тетеревов, которые здесь сидят?

– Разве вы не объяснили ему процедуру голосования, доктор?

– Боюсь, что «большинство» подразумевает буквальный смысл этого слова, Макмерфи. Она права, она права.

– Большинство, мистер Макмерфи; это записано в конституции отделения.

– И я полагаю, единственный способ изменить конституцию отделения – это получить большинство голосов. Точно. На фоне всего вонючего дерьма, какое я когда-либо видел, это – Бог свидетель – просто повидло!

– Мне очень жаль, мистер Макмерфи, но вы можете своими глазами прочесть это в правилах поведения в отделении, если соизволите их прочитать...

– Значит, именно так работает ваша дерьмовая демократия. Черт бы побрал, теперь я все понял!

– Вы выглядите расстроенным, мистер Макмерфи. Разве он не выглядит расстроенным, доктор? Возьмите это себе на заметку.

– Не надо лишнего шума, леди. Когда парню выкручивают яйца, он имеет право кричать. А нам выкрутили яйца на все сто восемьдесят градусов.

– Доктор, может быть, учитывая состояние пациента, нам следует сегодня закончить наше собрание пораньше...

– Подождите! Минуточку, дайте мне поговорить с парой-тройкой этих старых ребят.

– Голосование завершено, мистер Макмерфи.

– Разрешите мне поговорить с ними.

Он идет через дневную комнату в нашу сторону. Он становится все больше и больше, лицо его начинает краснеть. Он входит в туман и пытается вытащить Ракли на поверхность, потому что Ракли – самый молодой.

– Как насчет тебя, старина? Ты хочешь посмотреть финальные игры? Бейсбол? Бейсбольный матч? Просто подними руку...

– Трахнуть его жену.

– Ну ладно, забудь об этом. А ты, дружище, как насчет тебя? Как там тебя зовут – Эллис? Что ты скажешь, Эллис, насчет того, чтобы посмотреть по телику бейсбольный матч? Просто подними руку...

Руки Эллиса прибиты к стене гвоздями и не могут считаться за голос.

– Я сказала, что голосование закончено, мистер Макмерфи. Вы просто устраиваете здесь театр одного актера.

Он не обращает на нее никакого внимания. Он двигается вдоль линии Хроников.

– Ну же, ну же, только один голос с вашей стороны, птички мои, просто поднимите руку. Покажите, что вы все еще это можете.

– Я пытаюсь, – говорит Пете и кивает.

– Ночь есть... Тихий океан. – Полковник читал по своей руке и не мог отвлекаться на голосование.

– Одиноз вас, ребята, скажите это, крикните вслух! Именно здесь вы подошли к самому краю, разве вы не видите? Мы должны сделать это, иначе нас всех отымели! Может ли кто-нибудь из вас, придурки, понять, о чем я тут вам толкую, понять настолько, чтобы поднять руку? Ты, Габриэль? Джордж? Нет? Ты, Вождь, как насчет тебя?

Он стоит передо мной в тумане. Почему бы ему не оставить меня в покое?

– Вождь, ты наша последняя надежда.

Большая Сестра складывает бумаги; остальные сестры стоят вокруг нее. Наконец она поднимается.

– Итак, собрание переносится, – слышу, как она произносит эти слова. – И примерно через час прошу вас собраться в комнате для персонала. Итак, если нам больше не о чем гово...

Но уже слишком поздно, чтобы все остановить. Макмерфи в тот день сделал что-то такое, будто сглазил, наворожил своей ручищей, так что мои руки мне не подчиняются. В них нет никакой силы, любой мог это видеть; я сам никогда бы не стал этого делать. Большая Сестра стоит передо мной с открытым ртом и не находит слов, и я понимаю, что попал в беду, но не могу остановить ее. Макмерфи привел в действие спрятанные пружинки, идущие к ней, медленно потянул за них, чтобы вытащить меня из тумана на белый свет, где идет честная игра. Он сделал это, и...

Нет. Это неправда. Я поднимаю ее сам.

Макмерфи вскрикивает и тащит меня вверх, я стою, а он колотит меня по спине.

— Двадцать один! Двадцать один — вместе с голосом Вождя! И, бога ради, если это не большинство, я готов съесть свою шляпу!

— Да-а-а, сэ-э-эр! — вопит Чесвик.

Остальные Острые столпились вокруг меня.

— Собрание окончено, — произносит она.

Улыбка все еще на месте, но ее затылок, когда она выходит из дневной комнаты и входит на сестринский пост, стал таким красным и распухшим, словно ее в любую секунду может разорвать на части.

Но она не взрывается, во всяком случае не сразу, держится еще целый час. Ее улыбка за стеклом сестринского поста выглядит кривой и фальшивой, такой мы никогда раньше не видели. Она просто сидит. И я вижу, как поднимаются и опускаются ее плечи с каждым вдохом и выдохом.

Макмерфи смотрит на часы и говорит, что игра началась. Он у питьевого фонтанчика вместе с другими Острыми на коленях отмывает плитус. Я подметаю в кладовке для веников — наверное, уже в десятый раз за этот день. Скэнлон и Хардинг таскают полотер туда-сюда по коридору, выписывая свежим воском сияющую восьмерку. Макмерфи снова говорит, что игра уже должна начаться, и встает, бросив тряпку. Больше никто не прекратил работу. Макмерфи проходит мимо окна, из которого она смотрит на него, усмехается, словно знает, что теперь победил ее. Когда он поворачивает голову и подмигивает ей, ее голова слегка дергается.

Все продолжают заниматься своими делами, но украдкой следят, как он устанавливает кресло напротив телевизора, поворачивает выключатель и садится. На экране закружилась картинка с попугаем, летающим над бейсбольным полем и распеваящим кровожадные песни. Макмерфи поднимается и прибавляет звук, чтобы перекрыть музыку, доносящуюся из громкоговорителя на потолке, откидывается на спинку кресла, взгромоздив ноги на стул, и закуривает сигарету. Почесал живот и зевнул.

— Ух ты! Мужики, все, что мне теперь нужно, — жестянку пива и чего-нибудь остренького.

Большая Сестра смотрит на него, лицо покраснело, губы дергаются. На секунду она отводит взгляд и видит, что все ждут ее дальнейших действий — даже черные ребята и маленькие сестрички исподтишка смотрят на все, а тем временем практиканты подтягиваются на собрание персонала — даже им интересно. Она плотно сжала губы, смотрит на спину Макмерфи и ждет, пока

закончится кровожадная песня. Потом она поднимается и подходит к стальной двери, где расположены электрические щитки, дергает рубильник, и картинка в телевизоре гаснет. Ничего не осталось на экране, кроме крошечного глазка, пятнышка света, направленного прямо на Макмерфи.

Этот глазок ни капельки его не расстроил. Сказать по правде, он даже не двинулся, он ничем не показывает, что картинка исчезла; берет сигарету в зубы и натягивает кепку на свои рыжие кудри так, что ему приходится откинуть голову назад, чтобы что-то видеть из-под козырька.

Так он и сидит, со скрещенными за головой руками, заброшенными на спинку стула ногами, дымящаяся сигарета торчит из-под козырька кепки – сидит и смотрит на экран телика.

Большая Сестра терпела это сколько могла; потом она подходит к двери сестринского поста и кричит, чтобы он помог другим с уборкой. Он не обращает на него никакого внимания.

– Я сказала, мистер Макмерфи, что в эти часы нужно работать. – Ее голос такой тугой и писклявый, словно электрическая пила вгрызается в ствол вековой сосны. – Мистер Макмерфи, я вас предупреждаю!

Все остановились, никто уже ничего не делает. Она осматривается, а потом делает шаг от сестринского поста в сторону Макмерфи.

– Вы обязаны, вы понимаете. Вы.. под моей юрисдикцией..моей и персонала. – Она поднимает указательный палец, красно-оранжевые ногти огнем горят на ее руке. – Под моей юрисдикцией и контролем..

Хардинг остановил полотер. Он бросает его в коридоре, берет стул, ставит его рядом со стулом Макмерфи и садится. И тоже зажигает сигарету.

– Мистер Хардинг! Вернитесь к своим обязанностям!

Голос звучит так, словно она вбивает гвоздь, и это кажется мне таким забавным, я едва не рассмеялся.

– Мистер Хардинг!

А потом подходит Чесвик и тоже приносит себе стул, а потом подходит Билли Биббит, а за ними Скэнлон, Фредериксон, Сефелт, а потом и мы все бросаем швабры, веники, тряпки и приносим себе стулья.

– Прекратите это. Прекратите!

И вот мы сидим перед погасшим телевизором, вглядываясь в серый экран, будто на самом деле смотрим бейсбольный матч, а она машет руками и пронзительно кричит у нас за спиной.

Если бы кто-нибудь вошел и увидел, как взрослые мужики сидят перед выключенным телевизором, а пятидесятилетняя женщина их наставляет и пронзительно вопит у них за спиной что-то про дисциплину, порядок, наказание, он бы подумал, что тут все до одного – полные психи.

Часть вторая

Краем глаза вижу белое эмалевое лицо на сестринском посту, качающееся над столом, вижу, как оно сворачивается и оплывает и как изо всех сил пытается вернуть себе прежнюю форму. Остальные тоже смотрят, хотя старательно делают вид, что ничего не происходит. Вперили взгляд в пустой телеэкран, но любой мог бы заметить, что они исподтишка бросают взгляды на Большую Сестру, сидящую за стеклом, так же как и я сам. В первый раз за все время она оказалась по ту сторону стекла и теперь может испытать на себе, каково это – находиться под присмотром, когда ты больше всего на свете желаешь одного: завесить лицо зеленой занавеской, отгородить его ото всех этих глаз, от которых не можешь скрыться.

Практиканты, черные ребята и маленькие сестрички тоже смотрят на нее, ожидая, когда она пойдет на совещание, которое сама же и созвала, и что будет делать теперь, когда стало ясно, что она может вот-вот потерять контроль над больными. Она знает, что они все наблюдают за ней, но не двинулась с места. Она остается на месте даже тогда, когда они начинают протискиваться в комнату для персонала без нее. Замечаю, что вся машинерия утихла, словно и она ждала от нее какого-то движения.

Тумана больше нет – нигде.

Неожиданно вспоминаю, что должен убрать комнату для персонала. Я всегда убираюсь во время совещаний, которые они там устраивают, и делаю это долгие годы. Но сейчас я слишком напуган, чтобы встать со стула. Мне разрешали убирать комнату, потому что считали глухим, но сегодня они видели, как я поднял руку по просьбе Макмерфи. Догадались ли они, что я слышал их все эти годы, подслушивал секреты, предназначенные только для их ушей? И что они сделают со мной, если догадаются об этом?

И все же я должен быть там. Если меня там не будет, они окончательно убедятся, что я слышу, и опередят меня. Они подумают: его здесь нет, он не убирается, разве это не доказывает главного? Совершенно очевидно, что нам следует предпринять...

Я представил, какой опасности мы себя подвергли, когда Макмерфи вытащил нас из тумана.

Рядом – черный парень, стоит у двери, прислонившись к стене, руки сложены, розовый язык острым кончиком ходит туда-сюда, облизывая губы, смотрит, как мы сидим перед теликом. Глаза бегают туда-сюда, как и язык, остановились на мне, и я вижу, как его кожаные веки чуть-чуть приподнялись. Он смотрит на меня долго-долго, думаю, размышляет, как я вел себя на собрании группы. Затем он отделяется от стены, идет в кладовку и приносит ведро с мыльной водой, поднимает мои руки и вешает на них ведро с губкой, словно подвешивает чайник в каминном отверстии.

– Пора идти, Вождь, – говорит он. – Вставай и приступай к своим обязанностям.

Я не двигаюсь. Ведро качается у меня на руке. Делаю вид, что не услышал. Он пытается обмануть меня. Снова просит меня встать, и, когда я не двигаюсь, он закатывает глаза к потолку, вздыхает, потом наклоняется и берет меня за воротник, слегка тянет, и я встаю. Он сует губку мне в карман и показывает в коридор, где находится комната для персонала, и я иду.

Пока я иду по коридору с ведром, прямой словно свечка, Большая Сестра обгоняет меня, как всегда спокойная и решительная, и открывает дверь. Это заставляет меня задуматься.

Стою один в коридоре и замечаю, как чисто вокруг – нигде никакого тумана. Остался только холодок там, где прошла Большая Сестра, и белые трубки в потолке, вокруг которых циркулирует морозный свет, – словно бруски морозного льда, как спирали морозилки в холодильнике, доработавшиеся до того, что побелели от инея. Трубки тянутся в конец коридора к двери в комнату персонала, куда направилась Большая Сестра, – тяжелой стальной, такой же, как дверь в шок-шоп в главном корпусе. Отличие состоит лишь в том, что на этой выдавлен номер, да еще у нее имеется маленькое стеклянное окошечко, чтобы персонал мог увидеть, кто стучится. Когда я подхожу ближе, вижу, что из окошка просачивается зеленый свет, горький, словно желчь. Там вот-вот начнется совещание персонала, поэтому зеленая желчь и сочится оттуда. Когда пройдет первая половина совещания, она будет там повсюду: на стенах и на окнах, и мне придется собирать ее губкой и выжимать в ведро, а потом губку промывать под краном в уборной.

Убираться в комнате для персонала всегда неприятно. Какие вещи мне приходится убирать во время этих совещаний! Ужасные вещи. Яды, которые просачиваются через поры кожи, и кислота в воздухе, достаточно крепкая для того, чтобы растворить в ней человека. Я это видел.

Я был на таких совещаниях, когда ножки столов деформировались и кривились, стулья завязывались узлами и стены скрежетали, наезжая одна на другую, до тех пор, пока не выдавливали тебя, словно пот, прочь из комнаты. Я бывал на совещаниях, на которых они говорили и говорили о каком-нибудь пациенте, до тех пор, пока он не материализовывался перед ними во плоти, без одежды, на кофейном столике: уязвимый, открытый любому дьявольски жестокому замечанию, которые они отпускали; мешали с грязью, так что от него оставалась бесформенная кучка.

Именно поэтому я нужен им на этих совещаниях, потому что кто-то же должен за ними убирать, тот, в ком они могут быть уверены, что он не способен вынести ни словечка за дверь этой комнаты. Я пробыл здесь так долго, оттирая, выметая и надраивая полы в этой комнате и в предыдущей, деревянной, которая была в другом здании, что персонал, обычно не замечает меня; они смотрят сквозь меня, как будто меня там и нет, – они хватились бы в единственном случае: если бы по комнате перестали перемещаться ведро с водой и губка.

Но на этот раз, когда я стучу в дверь, Большая Сестра выглядывает в окошечко, смотрит на меня невидящим, мертвым взглядом и не открывает дальше обычного. Ее лицо приняло нормальную форму, и мне кажется, что она сильна, как всегда. Все остальные сидят, продолжая размешивать сахар в чашках с кофе и стреляя друг у друга сигареты, как делали это до совещания, но в воздухе висит напряжение. Сначала я подумал, что это из-за меня. А потом замечаю, что Большая Сестра даже не присела, даже не побеспокоилась, чтобы сделать себе чашку кофе.

Она позволяет мне проскользнуть в дверь и снова пронзает меня взглядом, когда я прохожу мимо нее, закрывает за мной дверь, запирает ее, поворачивается и еще некоторое время с подозрением смотрит на меня. Она не выглядит взбудораженной, вид у нее невозмутимый. По-видимому, она спрашивает себя теперь: как это мистер Бромден услышал, когда Макмерфи попросил его поднять руку на том голосовании? Она думает, как же это он догадался положить на пол швабру и усесться вместе с Острыми перед телевизором? Ни один из Хроников такого не сделал. Она размышляет, не пришло ли время провести Вождю Бромдену кое-какую проверку.

Я повернулся к ней спиной и забился в угол со своей губкой. Поднимаю губку над головой, чтобы все в комнате могли видеть, что она покрыта зеленой желчью и как усердно я тружусь; затем наклоняюсь и принимаюсь

тереть изо всех сил, тереть, как никогда. Но как бы усердно я ни трудился, как бы ни пытался показать, что не обращаю внимания на Большую Сестру, все равно чувствую, как она стоит у двери и сверлит взглядом мой череп – и будет стоять так, пока я не сдамся и не закричу, и расскажу им все, если она не отведет от меня глаз.

И тут она осознает, что на нее саму смотрит весь персонал. Они, так же как она, размышляют обо мне, гадают, что она намерена предпринять в отношении этого рыжеволосого парня. Они внимательно следят за ней, прикидывая, что она о нем скажет, и им дела нет до какого-то глупого индейца, стоящего в углу на четвереньках. Они ждут ее реакции, и она перестает смотреть на меня, проходит вперед и наливает себе чашку кофе, усаживается и размешивает сахар так аккуратно, что ложечка даже не касается чашки.

Первым нарушает молчание доктор:

– Итак, коллеги, можем ли мы перейти к делу?

Он улыбается, глядя, как практиканты пьют кофе. Он старается не смотреть на Большую Сестру. Она сидит так спокойно, что это заставляет его нервничать и суетиться. Он хватается очки и цепляет их на нос, чтобы посмотреть на часы, потом продолжает вертеть их в руках все время, пока говорит.

– Уже четвертый час. Мы начинаем сегодня поздно. Итак, мисс Рэтчед, как большинству из нас известно, называет это «собраться вместе». Она позвонила мне перед началом собрания терапевтического общества и сообщила, что, по ее мнению, Макмерфи является зачинщиком всех беспорядков в отделении. Может быть, это было интуитивное предвидение, учитывая то, что произошло несколько минут назад, как вы думаете?

Он перестает вертеть очки и теперь сидит улыбаясь и барабанит маленькими розовыми пальчиками по тыльной стороне ладони другой руки, ожидая ответа. Обычно после такого вступления она берет руководство совещанием на себя, но сейчас она не сказала ни слова.

– Сегодняшний день показал, – продолжает доктор, – что теперь никто не станет утверждать, что мы имеем дело с ординарным человеком. Нет, разумеется, нет. И он является причиной нарушения спокойствия, это – очевидно. Итак... да... как я понимаю, итог сегодняшней дискуссии – решить, какой тактики придерживаться в отношении этого пациента. Я верю, что сестра собрала нас на эту встречу – поправьте меня, если я ошибаюсь, мисс Рэтчед, – чтобы обсудить ситуацию, так сказать, при закрытых дверях и выработать единое мнение о том, что же нам делать с мистером Макмерфи?

Он бросает на нее умоляющий взгляд, но она по-прежнему молчит. Она поднимает лицо к потолку, делая вид, что не слышала ни – одного слова из того, что он сказал.

Доктор поворачивается к практикантам, сидящим напротив: сидят, одинаково скрестив ноги, и у всех на коленях чашки с кофе.

– Я понимаю, коллеги, – говорит доктор, – что у вас не было достаточно времени, чтобы поставить пациенту соответствующий диагноз, но вы имели возможность наблюдать за его действиями. Что выдумаете?

Они вскидывают головы. Умно, ничего не скажешь, он тоже выставил их на ковер. Переводят глаза на Большую Сестру. Каким-то образом за несколько коротких минут она обрела свою былую власть. Только что сидела, улыбаясь в потолок и не произнося ни слова, и вдруг снова обрела надо всем

контроль, дала каждому понять, что является силой, с которой следует считаться. Если эти мальчишки не станут играть по ее правилам, они рискуют закончить ординаторскую карьеру в Портленде, в больнице для алкоголиков. Они начинают понемногу суетиться – так же как и доктор.

– Он и в самом деле оказывает некоторое негативное влияние, это так. – Первый из мальчишек сыграл в защиту.

Они отхлебнули кофе и призадумались. Следующий мальчишка произносит:

– И он может представлять собой определенную опасность.

– Это правда, – отзывается доктор.

Мальчишка думает, что, может быть, нашел ключик к заветной шкатулке, и потому продолжает.

– Немалую опасность, это факт, – говорит он и слегка двигается вперед на стуле. – Не забывайте, что этот человек совершал акты насилия с целью избежать пребывания в трудовой колонии и обеспечить себя относительной роскошью и комфортом в этой больнице.

– Он планировал акты насилия, – говорит первый мальчишка.

Третий бормочет:

– Разумеется, сама природа подобных планов свидетельствует, что он – просто хитрый изощренный преступник, а никакой не душевнобольной.

Он оглядывается, чтобы увидеть ее реакцию, но она сидит с безразличным видом, будто не слышит его. Остальные уставились на него, словно он сказал нечто ужасное. Он понял, что перешагнул дозволенную черту, и пытается свести дело к шутке, хихикая и поспешно добавляя:

– Вы знаете, как «тот, кто шагает не в ногу, возможно, слышит другой барабан»...

Но – слишком поздно. Первый из практикантов ставит чашку с кофе, достает из кармана трубку размером с кулак и поворачивается к говорившему:

– Честно говоря, Алвин, я в тебе разочаровался. Даже если человек не читал его историю болезни, ему вполне достаточно обратить внимание на его поведение в отделении, чтобы понять, насколько абсурдным является подобное предположение. Этот человек не только очень болен, но я даже полагаю, что он, без сомнения, потенциально опасен. Видимо, это и подозревала мисс Рэтчед, когда собирала нас. Разве ты не распознаешь архетипа психопата? Никогда не встречал более ясной картины. Этот человек – Наполеон, Чингисхан, Аттила.

Еще один вступает в игру. Припомнил, как сестра упоминала буйное отделение.

– Роберт прав, Алвин. Разве ты не видел, как вел себя сегодня этот человек? Когда один из его планов провалился, он чуть было не полез в драку. Расскажите нам, доктор Спайвей, что написано в его истории насчет насилия?

– Отмечено пренебрежение к дисциплине и власти, – говорит доктор.

– Верно. История его болезни показывает, Алвин, что он раньше и теперь проявляет враждебность к людям, обладающим властью и авторитетом, – в

школе, на военной службе, в тюрьме! И я думаю, что его демонстративное поведение свидетельствует о том, чего нам следует ожидать от него в будущем. — Он умолк и нахмурился, потом, раскрутив трубку, бросил кривой взгляд сквозь желтое облако дыма на Большую Сестру; видимо, он принял ее молчание за знак согласия. Продолжил с большим энтузиазмом и уверенностью: — Остановись на минуту и представь себе, Алвин, — говорит он, и его слова, смешанные с дымом, звучат мягко, — представь себе, что бы случилось, окажись мы один на один с Макмерфи на индивидуальной терапии. Представь, что ты приближаешься к весьма болезненному терапевтическому прорыву, а он в это время решает, что уже получил все, что хотел, — как он это назовет? — «чертова привычка лезть человеку в душу»! Ты станешь говорить ему, что он не должен проявлять враждебность, а он ответит «к чертям все это», ты попросишь его успокоиться — конечно же властным голосом, — и тут эти двести десять психопатических ирландских фунтов, и тебя от них отделяет только терапевтический стол. Готов ли ты или любой из нас, если уж говорить прямо, к тому, чтобы иметь дело с Макмерфи в подобные минуты? — Он сует свою десятидюймовую трубку в угол рта, обхватывает руками колени и ждет.

В эту минуту каждый думает о толстых красных руках Макмерфи, его покрытых шрамами ладонях и о том, как его голова возвышается над больничной футболкой, словно ржавый клин. Практикант по имени Алвин от этих мыслей бледнеет, будто желтый табачный дым, которым дышал на него приятель, выкрасил его лицо.

— Вы полагаете, что разумнее, — спрашивает доктор, — перевести его в буйное?

— Полагаю, это будет, как минимум, безопасно, — отвечает парень с трубкой, закрывая глаза.

— Боюсь, что должен отказаться от своего предложения и согласиться с Робертом, — говорит им Алвин, хотя бы ради собственной безопасности.

Они смеются. Наконец все немного расслабились, уверенные, что они выработали план, который ей по душе. Все они делают по глотку кофе, кроме того парня с трубкой, а он слишком занят, потому что трубка у него то и дело гаснет и он все время раздувает ее, изводя массу спичек, пыхтя и шлепая губами. В конце концов он раскуривает трубку и говорит не без гордости:

— Да, боюсь, что старине Макмерфи светит буйное отделение. Знаете, что я подметил, наблюдая за ним эти несколько дней?

— Шизофреническая реакция? — спрашивает Алвин.

Трубка качает головой.

— Латентная гомосексуальность с реактивной конституцией? — спрашивает третий парень.

Трубка опять качает головой и закрывает глаза.

— Нет, — говорит он и улыбается на всю комнату. — Негативный эдипов.

Все хором поздравляют его.

— Да, я полагаю, что на это указывает многое, — произносит он. — Но каким бы ни был окончательный диагноз, мы должны помнить об одном: мы имеем дело с неординарной личностью.

– Вы очень и очень ошибаетесь, мистер Гидеон.

Это – Большая Сестра.

Все головы дернулись в ее сторону – и моя тоже, но я за собой следил и скрыл движение, прикинувшись, что пытаюсь соскрести пятнышко, которое только что обнаружил на стене. Все смущены и сбиты с толку. Думали, что предлагают именно то, чего она сама хочет, ради чего она сама же и собрала их. И я тоже так думал. Я видел, как она подводила всех к мысли, что Макмерфи следует отправить в буйное, но она делала это только потому, что оставался шанс, что они насадят его на вертел и начнут поджаривать; но теперь, когда она получила этого норовистого бычка, который бодался и бросал вызов ей и всему персоналу, парня, про которого было ясно только одно: он покинет отделение раньше, чем наступит вечер, она сказала «нет».

– Нет, я не согласна. Не совсем. – Она улыбается им. – Я не согласна, что его следует отправить в буйное, поскольку это будет самый легкий путь, самый простой способ – переложить проблему на плечи другого отделения, и я не согласна, что он является неординарным, чем-то вроде суперпсихопата.

Она ждет, но никто не торопится высказать свое несогласие. В первый раз за все время она делает глоток кофе – на чашке остается краснооранжевый отпечаток. Я смотрю на край чашки, потрясенный; она не может красить губы помадой такого цвета. Этот цвет на ободке кружки – цвет раскаленной печи, а ее губы просто тлеют, словно угли.

– Должна признать, что, когда я начала осознавать, что Макмерфи представляет собой разрушительную силу, моей первой мыслью было отправить его в буйное. Но теперь, я полагаю, уже слишком поздно. Разве это исправит тот вред, который он нанес нашему отделению? Не думаю. Особенно после того, что произошло сегодня. Я полагаю, что перевод его в буйное – это именно то, чего ожидают пациенты. Он станет для них мучеником. Они хотят видеть в этом человеке ни больше ни меньше – как подчеркнули вы, мистер Гидеон, – «неординарную личность». – Она делает еще один глоток и ставит чашку на стол; звук такой, словно прошуршал гравий; все молчат, выпрямившись на стульях. – В нем нет ничего экстраординарного. Он – просто мужчина, и ничего больше, и является средоточием страхов, малодушия, робости, которые свойственны любому человеку. Дадим ему еще несколько дней, и мы получим этому подтверждение. И не только мы, но и все остальные пациенты. Если оставим его в отделении, вскоре увидим – в этом я убеждена, – как его наглость пойдет на убыль, его замороженное бунтарство истощится и сойдет на нет, и... – она улыбнулась, как будто это было известно только ей одной, – наш рыжеволосый герой сам превратит себя в нечто, не вызывающее уважение: хвастливое и напыщенное существо, которое забирается на трибуну и созывает последователей, как это вечно делает мистер Чесвик, и который мгновенно отступает, как только возникает хоть какая-то опасность для него лично.

– Пациент Макмерфи, – мальчишка с трубкой пытается защитить свои позиции, не упасть в их глазах, – не кажется мне трусом.

Я ожидал, что она разъярится, но нет, она просто смотрит на него снисходительным взглядом, который означает «поживем – увидим», и говорит:

– Я не сказала, что мы имеем дело именно с трусом, мистер Гидеон. Нет. Просто он любит одного человека. Будучи психопатом, он слишком любит мистера Рэндла Патрика и не станет зря подвергать его опасности. – Она одарила парня такой улыбкой, что на этот раз он вытащил трубку изо рта и забыл о ней. – Если мы немного подождем, наш герой – как вы говорили у себя в колледже? – сдаст свои позиции. Так?

– Но это может занять не одну неделю, – начинает было мальчишка.

– И они у нас есть, – отвечает Большая Сестра. Она встает довольная собой. Пожалуй, такой я ее не видел с тех пор, как неделю назад Макмерфи потревожил своим появлением ее покой. – У нас есть недели, и месяцы, и даже годы, если потребуется. Не забывайте, что Макмерфи – осужденный. И сколько времени он проведет в клинике – зависит от нас. А теперь, если на повестке дня больше ничего нет...

* * *

То, как уверенно себя чувствовала Большая Сестра на совещании персонала, беспокоило меня некоторое время, но для Макмерфи это не имело особых последствий. Все выходные и всю следующую неделю он так же грубил ей и ее черным ребятам, и пациентам это нравилось. Он доводил Большую Сестру, как и обещал, что, впрочем, не мешало ему вести себя как обычно, слоняясь туда-сюда по коридору, насмехаясь над черными ребятами, раздражая весь персонал, – один раз он дошел даже до того, что подошел к Большой Сестре и прямо в коридоре спросил, не откажется ли она сообщить ему, каков конкретный – в дюймах – размер ее большой груди, которую она все время безуспешно пытается скрыть от окружающих. Она прошла мимо него, словно и не расслышала вопроса, проигнорировала его, как когда-то решила игнорировать саму природу, наградившую ее этими выдающимися символами женственности, держась так, словно она выше всего этого, – выше Макмерфи, выше секса, выше всего, что имеет отношение к плоти и к плотской слабости.

Когда она вывесила на доске объявлений список назначений и Макмерфи прочитал, что назначен дежурным по уборной, он отправился в ее кабинет, постучал в стеклянное окно, и лично поблагодарил за оказанную ему честь, и сообщил, что всякий раз, вытирая шваброй мочу, будет вспоминать о ней. Она ответила, что в этом нет необходимости – просто делайте свою работу, этого будет вполне достаточно, благодарю вас.

По большей части он просто проходилась щеткой вокруг унитазов, громогласно распевая какую-нибудь песенку, затем плескал хлорку, и на этом уборка заканчивалась.

– Достаточно чисто, – сообщал он черному парню, который приходил проверить его работу, считая, что тот справляется с ней подозрительно быстро. – Может быть, для некоторых людей это и недостаточно чисто, но лично я собираюсь в них отливать, а не есть из них ленч.

И когда Большая Сестра наконец откликнулась на просьбу черных ребят проверить работу Макмерфи, она принесла с собой маленькое зеркальце и засовывала его за ободок унитаза. Обошла весь туалет, качая головой и повторяя:

– Ну, это просто безобразие... безобразие... – у каждого унитаза.

Макмерфи скользил рядом с ней, морща нос и повторяя в ответ:

– Нет, это – просто унитаз... просто унитаз!

Но она и в этот раз не дала вывести себя из равновесия, держала себя в руках. Она использовала то же ужасающее, медленное, терпеливое давление,

которое применяла против каждого, а он стоял перед ней и выглядел как мальчишка, свесив голову и топчя носком одного башмака носок другого, и говорил:

— Я стараюсь стараюсь, мадам, но боюсь, что мне никогда не удастся стать главным говнюком.

Один раз он что-то написал на обрывке бумаги — странные письмена, похожие на иностранный алфавит, — и прилепил его под ободок одного из унитазов куском жвачки. Она подошла к унитазу со своим зеркалом, прочитала отраженную в нем записку, коротко вскрикнув. Но и тут не утратила самообладания. Ее кукольное лицо и кукольная улыбка оставались такими же самоуверенными. Она выпрямилась над унитазом, бросив на него испепеляющий взгляд, и сказала, что его работа заключается в том, чтобы сделать уборную чище, а не грязнее.

Хотя на самом деле чистоте стали уделять меньше внимания, чем раньше. Как только наступало послеобеденное время, когда по графику полагалось приступить к уборке, одновременно наступало и время бейсбольных матчей по телевизору, так что все собирались, расставляли стулья перед экраном, и до ужина никто не вставал с места. И не имело никакого значения, что электричество на сестринском посту было отключено и мы не могли видеть ничего, кроме темного экрана. Зато Макмерфи часами развлекал нас, сидел и болтал, рассказывал разные истории, например, как он один раз заработал за месяц тысячу долларов, провернув сомнительную сделку, а потом проиграл все до цента одному канадцу, соревнуясь с ним в метании топора, или как они с приятелем уговорили одного парня прокатиться на быке во время родео в Олбани, завязав глаза повязкой.

— Не быку завязать глаза. Я хочу сказать, что парень должен был завязать глаза повязкой.

Они сказали парню, что повязка нужна, чтобы голова не закружилась, когда бык начнет крутиться; а потом, когда они завязали ему глаза платком так, что он вообще ничего не мог видеть, посадили его на быка задом наперед. Макмерфи рассказывал эту историю пару раз и каждый раз, вспоминая ее, хлопал себя по бедрам шляпой и хохотал.

— В повязке на глазах и задом наперед.. И будь я сукин сын, если он не продержался сколько надо и не выиграл кошелек. А я был вторым; если бы бык его сбросил, я оказался бы первым и получил бы хорошенький маленький кошелечек. И я поклялся, что в следующий раз возьму и надену повязку на глаза этому чертову быку. — И он колотил по полу ногами, запрокидывал голову, смеялся, тыча большим пальцем в ребра соседу, пытаясь заставить его тоже рассмеяться.

В ту неделю, когда я слышал его раскатистый хохот — будто в отделении на полную мощность включили электродрель — и смотрел, как он чешет живот, потягивается, зевает, откидывается на стуле, чтобы подмигнуть тому, над кем он подшучивает, и все это выходило у него так естественно, как просто дышать, я наконец перестал беспокоиться о возможной опасности со стороны и Большой Сестры и Комбината, стоявшего у нее за спиной. Я думал, что он достаточно силен, чтобы оставаться собой, и что ей никогда не удастся его сломать — так, как она надеется и рассчитывает. Я стал подумывать, что, может быть, он и вправду необыкновенный. Он — то, что он есть. Может быть, именно это и делает его достаточно сильным, потому что он всегда остается самим собой. Все эти годы Комбинат не мог добраться до него; так почему эта чертова Большая Сестра полагает, что ей удастся сделать это в какие-то несколько недель? Он не позволит переделать себя и превратиться в продукцию.

А позже, спрятавшись в уборной от черных ребят, я глядел на себя в зеркало и думал, как кому-то удастся такая невероятная вещь – оставаться самим собой. В зеркале отражалось мое лицо, темное и жесткое, с крупными высокими скулами – словно щеки под ними были выхвачены топориком, с глазами – черными и жесткими, такими, как у папы и суровых мужественных индейцев, каких вы видите по телевизору, и я подумал: это не я, это – не мое лицо. Я никогда не был самим собой: просто выглядел так, как того хотели люди. Как же Макмерфи удастся оставаться самим собой?

Я сразу увидел это отличие, как только он вошел сюда в первый раз; я видел в нем больше чем просто громадные ручки, рыжие бачки, ухмылка под сломанным носом. Он делал вещи, которые никак не вязались с его лицом или руками, например нарисовал картину в трудовой терапии, нарисовал настоящими красками на чистом листе бумаги, где не было ни линий, ни номеров, подсказывающих, где и чем красить, или как он писал письма – красивым, ровным подчерком. Как же мог человек – вроде него – рисовать картины, писать письма или расстраиваться и беспокоиться, а я видел его таким разок, когда письмо вернулось нераспечатанным. Таких вещей можно было бы ожидать от Билли Биббита или от Хардинга. У Хардинга руки будто специально созданы для живописи, хотя он никогда не рисовал. Макмерфи был не таким. Он не позволял своей жизни принять тот или иной оборот, равно как Комбинату перемолоть его и подмять под себя.

Я увидел, что многое изменилось. Я решил, что туманная машина сломалась, когда в пятницу на собрании они заставили ее работать сверх своих возможностей, так что теперь она не могла гонять по отделению туман и газ и искажать видимость вещей. В первый раз за многие годы я видел людей без всегдашних черных контуров, а однажды ночью даже сумел разглядеть кое-что за окнами.

Как я говорил, раньше почти каждую ночь они привязывали меня к кровати и давали эту таблетку, профессионально вырубали меня и держали до утра в отключке. А если у них что-нибудь разлаживалось с дозой и я просыпался, мои глаза все равно были покрыты коркой, а спальня полна дыма, и провода в стенах работали на полную мощность, изгибаясь и разбрасывая в воздухе смерть и ненависть, – все это было для меня чересчур, так что я совал голову под подушку и пытался уснуть снова. А когда я украдкой высовывался из своего укрытия, то чувствовал запах паленых волос и мяса на раскаленной сковородке.

Но этой ночью, через несколько ночей после большого собрания, я проснулся, и в спальне было чисто и тихо; было слышно только дыхание мужчин да как похрипывает сердце за хрупкими ребрами парочки старых Овощей. А так в отделении стояла мертвая тишина. Окна открыли, и воздух в спальне был чистым и с таким привкусом, что у меня закружилась голова и я почувствовал себя немного навеселе. И мне захотелось встать с кровати и что-нибудь сделать.

Я выскользнул из-под простыней и прошлепал босиком по холодному кафелю между кроватями. Я чувствовал кафель под ногами и гадал, сколько раз, сколько тысяч раз я водил шваброй по этому кафельному полу и никогда его не чувствовал. Это махание шваброй теперь казалось мне сном, я не мог до конца поверить, что потратил на это столько лет, что все это было со мной. В ту минуту холодный кафель у меня под ногами был единственной реальной вещью, только он один.

Я шел между ребятами, возвышавшимися по обе стороны от меня длинными белыми рядами, словно сугробы, стараясь ни на кого не наткнуться, пока не дошел до стены с окнами. Я пошел к окну, где занавеска слегка покачивалась от сквозняка, и прижался лбом к ячейкам проволочной сетки. Проволока была холодная и жесткая, я прижимался к ней то одной щекой, то

другой. И вдруг уловил запах ветра. Начинается листопад, думал я, в воздухе стоит запах силоса, похожий на запах неочищенной патоки, чую, будто кто-то жжет дубовые листья, оставляя их тлеть на ночь, потому что они еще слишком зеленые.

Начинается листопад, продолжал думать я, листопад, будто это самая странная вещь из всех, что когда-либо случались. Листопад. За окнами совсем недавно была весна, потом – лето и вот уже осень.

Глаза мои все еще закрыты. Я закрыл их, когда прижался лицом к сетке, словно боялся выглянуть наружу. Теперь пришлось их открыть. Я выглянул в окно и увидел – в первый раз за все время, – как далеко от города расположена наша больница. Луна висела в небе низко-низко над пастбищами; ее лицо было изрезано шрамами и истерто там, где его пронзали спутанные кроны дубов и земляничных деревьев, поднимавшихся на горизонте. Звезды, которые ближе к луне, – бледные; но, отступая из круга света, управляемого гигантской луной, они становились смелее и ярче. Мне вспомнилась та же картина, когда я лежал, закутанный в одеяла, сотканые бабушкой, чуть в стороне от того места, где папа и другие мужчины сидели после охоты около костра, передавая по кругу кувшинчик с кактусовой водкой. Я смотрел на гигантскую луну, висевшую в небе надо мной, которая заставляла окружающие ее звезды устыдиться себя. Я хотел увидеть, не потускнела ли луна, не засияют ли звезды ярче, пока роса не начала покрывать мои щеки, и мне пришлось натянуть одеяло на голову.

Что-то промелькнуло по земле под моим окном – длинная и путаная тень, прыгавшая по траве и скрывшаяся из вида где-то у живой изгороди. Когда тень вернулась и я смог ее разглядеть, оказалось, что это собака, несмышленный, неуклюжий щенок дворняги, ускользнувший из дому, чтобы разобраться, что же происходит на свете с наступлением темноты. Он обнюхивал норы земляных белок, чтобы понять, куда они деваются в такой час. Он совал морду в нору, хватал зубами воздух и ускользящий хвост, перебежал к другой норе. Мокрая трава блестела вокруг него под луной, и, когда он бежал, оставляя за собой след, словно кто-то клал мазки темной краски на голубом сиянии газона. Кидаясь от одной интересной норы к другой, он до такой степени увлекся происходящим, был так очарован всем, окружавшим его, – луной в небе, ветром, полным заманчивых запахов, который действовал на собаку опьяняюще, – что опрокинулся на спину и стал кататься. Он вертелся и крутился, как рыба, спина изогнута, словно лук, живот кверху, а когда наконец вскочил на ноги и встряхнулся, брызги полетели с него в лунном свете, словно серебряная чешуя.

Он снова по-быстрому обнюхал все норы, чтобы хорошенько запомнить запах, а потом неожиданно застыл с поднятой лапой, наклонив голову, прислушиваясь. Я тоже прислушался, но не услышал ничего, кроме трепетания оконной занавески. А потом откуда-то издалека до меня донесся едва уловимый гогот. Он приближался. Это канадские гуси отправлялись на юг зимовать. Я вспомнил, как во время охоты полз на животе, стараясь изо всех сил убить гуся, но мне так и не удалось добыть хотя бы одного.

Я проследил взглядом за собакой, чтобы разглядеть стаю, но было слишком темно. Гогот становился все ближе и ближе, казалось, что гуси летят прямо над спальней, над моей головой. Они пересекли луну – черное ожерелье, выстроившееся клином вслед за гусем-вожаком. На мгновение он оказался в центре круга, он был больше остальных, черный крест его крыльев раскрывался и складывался, а потом стая птиц пропала из вида, растворившись в черном небе.

Я слушал, как стихает их клич, до тех пор, пока все, что я мог расслышать, осталось лишь в моей памяти. А собака их слышала еще долго после меня. Пес все еще стоял с поднятой лапой; когда они пролетали, он

не двинулся и не залаял. Но когда и он больше не мог их слышать, бросился в том направлении, куда они скрылись, в сторону шоссе. Я задержал дыхание и мог слышать шлепанье его больших лап по траве, а потом услышал, как взвизгнули тормоза машины. Огни передних фар выхватили подъем и устремили свет вдаль по шоссе. Я смотрел, как машина и собака движутся к одному и тому же участку дороги.

Пес был уже рядом с оградой, где кончались земли больницы, когда я вдруг почувствовал, как кто-то проскользнул у меня за спиной. Двое. Я не повернулся, но знал, что это – черный парень по имени Гивер и сестра с родимым пятном и распятием на цепочке. Я услышал, как у меня в голове страх запускает свой мотор. Черный парень взял меня за руку и повернул к себе.

– Я его поймал, – сказал он.

– Здесь, у окна, слишком холодно, мистер Бромден, – сказала мне сестра. – Не лучше ли вернуться в нашу хорошенькую тепленькую постельку?

– Он не слышит, – сказал ей черный парень. – Я его отведу. Он вечно развязывает простыни и бродит вокруг.

Я двинулся, и она тут же отступила на шаг и сказала черному парню:

– Да, пожалуйста, сделайте это.

Она тербит цепочку на шее. Дома она запиралась в ванной – подальше от чужих глаз, снимала с себя одежду и терла распятием грязное пятно, бегущее от уголка рта тонкой линией вниз, через плечи и грудь. Она терла и терла, и зывала к Деве Марии, и просила ее совершить чудо очищения, но пятно остается. Она смотрела в зеркало, но пятно становилось еще темнее. В конце концов она брала проволочную щетку, которой обычно сдирают краску, и старалась соскоблить пятно, надевала ночную рубашку на ободранную до крови кожу и заползала в постель.

Но в ней было слишком много всякой дряни. И когда она спала, это поднималось из горла, проникало в рот, просачивалось через уголок рта, словно лиловая слюна, и спускалось вниз по горлу, разливаясь по телу. Утром она видела, что снова запачкана, и почему-то убеждала себя, что это идет не изнутри. Как такое возможно? У доброй католички? И считала, что это из-за того, что ей приходится ночами работать в отделении с такими, как я. Это все – наша вина, и она намеревалась отплатить нам, даже если это будет последним, что она сделает в жизни. Хочу, чтобы Макмерфи проснулся и помог мне.

– Привяжите его к кровати, мистер Гивер, а я приготовлю лекарство.

* * *

На групповых собраниях обычно молчали, но теперь все изменилось, и то, невысказанное давным-давно, теперь выплывало на свет. Макмерфи понемногу возвращал их к жизни, ребята позволяли себе обсуждать все, что им не нравилось в отделении.

– Почему спальни закрывают по выходным? – спрашивал Чесвик или кто-нибудь еще. – Разве человек в выходной не может себе позволить отдохнуть?

– Да, мисс Рэтчед, – повторял Макмерфи. – Почему?

– Если оставлять спальни открытыми, и это нам известно из прошлого опыта, вы после завтрака снова ляжете спать.

– А это что, смертный грех? Я хочу сказать, что нормальные люди обычно по выходным спят подольше.

– Вы, дорогие мои, находитесь в этой больнице, – обычно отвечала она, повторяя одно и то же по сотне раз, – потому что доказали свою неспособность приладиться к обществу. Мы с доктором полагаем, что каждая минута, проведенная в обществе других, с некоторыми исключениями, разумеется, является терапией, тогда как каждая минута, проведенная в одиночестве, только усиливает вашу изоляцию.

– Вот почему нужно собрать, как минимум, восемь ребят для того, чтобы их отвели из отделения на трудотерапию, психотерапию или на какую-нибудь физиотерапию?

– Это верно.

– Вы хотите сказать, что это болезнь – желание побыть в одиночестве?

– Я этого не говорила...

– Вы хотите сказать, что, если я отправляюсь в уборную, чтобы справить нужду, я должен взять с собой, как минимум, семерых приятелей, чтобы они удержали меня от размышлений на унитазе?

Пока она нашлась, что на это ответить, Чесвик вскочил на ноги и крикнул ей:

– Да, именно это вы и имели в виду?

А другие Острые, сидя кружком, как это и полагается на собрании, повторяли:

– Да-да, она это имела в виду?

Ей приходилось ждать, покуда они утихнут и на собрании снова установится тишина, а потом спокойно говорила:

– Если вы успокоитесь и будете вести себя как взрослые люди, а не как группа мальчишек на детской площадке, мы спросим доктора, не считает ли он разумным внести определенные изменения в распорядок отделения. Доктор?

Все прекрасно знали, какой ответ даст доктор, и, прежде чем он успевал отозваться, Чесвик выкрикивает следующую жалобу:

– Так как насчет сигарет, мисс Рэтчед?

– Да, как насчет этого, – ворчали Острые.

Макмерфи поворачивался к доктору и задавал вопрос ему, прежде чем Большая Сестра успевала найтись с ответом.

– Да, док, как насчет сигарет? Какое она имеет право держать сигареты – наши сигареты – сложенными в кучку у себя в столе, как будто она их законный владелец, и выдавать нам по пачке тогда, когда ей

заблагорассудится. Меня не слишком увлекает идея купить пачку сигарет и потом ждать, чтобы кто-то мне сказал, когда я могу их покурить.

Доктор наклонял голову, чтобы взглянуть на сестру через очки. Он не слышал, что она забирает лишние сигареты, чтобы прекратить азартные игры.

— Так что насчет этих сигарет, мисс Рэтчед? Я не могу поверить тому, что слышу...

— Я полагаю, доктор, что три или четыре, а иной раз и пять пачек сигарет в день — это намного больше того, что может выкурить мужчина. Но похоже, что так и происходило на прошлой неделе — после прибытия мистера Макмерфи, — и именно поэтому я подумала, что будет лучше взять пачки, которые они приобрели в буфете, и выдавать каждому только по пачке в день.

Макмерфи наклонился и громко прошептал Чесвику:

— Подскажи ей решение насчет походов к унитазу; парень не только должен брать с собой в уборную семерых приятелей, но его посещения также ограничиваются двумя подходами в день и только тогда, когда она скажет. — Он откинулся назад на стуле и рассмеялся так громко, что примерно минуту никто ничего не мог слышать.

Макмерфи был зачинщиком этих перебранок и, думаю, сам удивлялся тому, что не испытывает больших притеснений со стороны персонала, что Большая Сестра делала ему замечания не чаще обычного.

— Я думал, что старая индейка окажется пожестче, — сказал он как-то Хардингу после одного из собраний. — Чтобы приструнить ее, нужно было разок хорошенько ее осадить. Плохо лишь то, — тут он нахмурился, — что она ведет себя словно все козырные карты у нее, за этими белыми манжетами.

И он продолжал веселиться вплоть до среды следующей недели. Тогда-то он узнал, почему Большая Сестра была так в себе уверена. В среду они собирают всех, у кого нет каких-нибудь гнойников или заразы, и ведут в плавательный бассейн, хотим мы этого или нет. Когда в отделении был туман, я обычно прятался в нем, чтобы не идти. Бассейн всегда меня пугал; я боялся, что шагну — и пойду ко дну, а там меня всосет в водосток и смоеет в море. Когда я был мальчишкой, в Колумбии, воды совсем не боялся. Ходил над водопадом, как и все другие мужчины, карабкался по камням, а вода — зеленая и белая — бурлила вокруг меня, и в тумане плясали радуги, и у меня даже не было сапожных гвоздей, как у других мужчин. Но когда я увидел, как мой папа начал бояться многих вещей, тоже стал бояться и дошел до того, что не мог плавать даже в мелком водоеме.

Мы вышли из раздевалки, бассейн серебрился и переливался перед нами и был полон обнаженных мужчин; крики и вопли поднимались к высокому потолку, как это всегда бывает в закрытых бассейнах. Черные ребята загнали нас в воду. Вода была теплая, но я не хотел отрываться от бортика (черные ребята ходили по краю с длинными бамбуковыми шестами и стаскивали тебя оттуда, где ты ухитрился ухватиться), так что я держался поближе к Макмерфи, поскольку знал, что они не станут гнать его на глубину, если он не захочет.

Он разговаривал со спасателем, а я стоял в паре футах в стороне. Макмерфи, должно быть, находился над углублением, потому что ему приходилось грести, а я доставал ногами до дна. Спасатель стоял на краю бассейна со свистком; на нем была футболка с написанным на ней номером отделения. Они с Макмерфи обсуждали разницу между больницей и тюрьмой, и

Макмерфи говорил, насколько больница все-таки лучше. Спасатель не был в этом так уверен. Я слышал, как он говорил Макмерфи, что, если тебя определили сюда, это вовсе не то, как если бы тебя посадили.

— Когда сажают в тюрьму, ты знаешь свой срок и день, когда тебя освободят вчистую, — сказал он.

Макмерфи перестал шлепать по воде и брызгаться. Он медленно подплыл к краю бассейна и, уцепившись за бортик, посмотрел на спасателя.

— А если тебя определили? — спросил он после паузы.

Спасатель пожал плечами, поиграв мускулами, и подергал свисток на шее. Это был старый профессиональный футболист со следами от зажимов на лбу. Всякий раз, когда его выпускали из отделения, к его глазам и губам поступал сигнал, и он видел всех под номерами и бил пенальти, промахивался и попадал по какой-нибудь идущей мимо медсестре, врезая ей плечом по почкам, чтобы дать время полузащитнику проскочить в образовавшуюся брешь. Именно поэтому его и держали в буйном; когда он не был спасателем, он в любую минуту мог выкинуть что-нибудь подобное.

Он снова пожал плечами в ответ на вопрос Макмерфи, потом огляделся, чтобы посмотреть, нет ли поблизости черных ребят, и опустился на колени поближе к краю бассейна. Показал Макмерфи руку:

— Видишь гипс?

Макмерфи посмотрел на его огромную руку:

— У тебя на руке нет гипса, приятель.

Спасатель только ухмыльнулся:

— Понимаешь, на ней — гипс, потому что я заработал серьезный перелом в прошлой игре с коричневыми. Я не могу вернуться в команду, пока перелом не срастется и я не пройду комиссию. Медсестра в моем отделении говорит, что она тайком лечит мне руку. Да, парень, она говорит, что, если я не буду ее напрягать и все такое, она провернет дело с комиссией, и я смогу вернуться в футбольный клуб.

Он постучал костяшками пальцев по мокрому кафелю и перешел в позицию «на три точки», чтобы проверить, как поведет себя рука. Макмерфи с минуту смотрел на него, а потом спросил, когда они ему скажут, что рука здорова и он может покинуть больницу. Спасатель медленно поднялся и потер руку. Похоже, вопрос Макмерфи его больно задел.

— Меня сюда определили, — сказал он. — Если бы это от меня зависело, меня бы здесь уже не было. Может быть, я и не могу «играть первую скрипку» со сломанной рукой, но мог бы складывать полотенца, разве нет? Я мог бы делать что-нибудь. Эта медсестра из моего отделения, она все время говорит доктору, что я еще не готов. Даже для того, чтобы складывать полотенца в этой убогой старой раздевалке.

Он повернулся и зашагал к своему спасательскому стулу, вскарабкался на него по лесенке, как подвыпившая горилла, и уставился на нас сверху, выпятив нижнюю губу.

— Меня взяли за пьянку и нарушение порядка, и я здесь уже восемь лет и восемь месяцев, — сказал он.

Макмерфи оттолкнулся от края бассейна, улегся на воду и принялся это обдумывать. Его срок равнялся шести месяцам, два месяца принудительных работ в исправительной колонии, осталось еще четыре — еще четыре месяца он готов был провести в заключении, где угодно. В этом сумасшедшем доме он уже почти месяц, и это намного лучше, чем в исправительной колонии: здесь хорошие кровати, апельсиновый сок на завтрак, но не настолько лучше, чтобы провести здесь еще пару лет.

Он подплыл к ступеням в мелкой части бассейна и просидел там остаток времени, теребя клочок шерсти на груди и хмурясь. Я смотрел, как он сидит один и хмурится, вдруг вспомнил, что Большая Сестра сказала на собрании, и испугался.

Дали свисток, чтобы мы выходили из бассейна, и мы пошли, толкаясь, в раздевалку. Нам встретилось другое отделение, которое пришло в плавательный бассейн в назначенное ему время, а в душе в ножной ванне, через которую все должны пройти, лежал парень из их отделения. У него была большая розовая голова, как губка, раздутые бока и кривые ноги. Он лежал в ножной ванне, издавая звуки, словно сонный тюлень. Чесвик и Хардинг помогли ему встать, но он тут же лег обратно. Его голова, словно поплавок, качалась в дезинфицирующей жидкости. Макмерфи смотрел, как они снова пытаются поставить его на ноги.

— Кто он такой, дьявол его побери? — спросил он.

— У него гидроцефалия, — ответил ему Хардинг. — Что-то вроде недостатка лимфообмена, я полагаю. Голова наполняется жидкостью. Помоги нам поднять его.

Они выпустили парня из рук, и он снова улетел в ножную ванну; выражение его лица было терпеливым, беспомощным и упрямым; он пускал слюни и выдувал пузыри в белой, похожей на молоко воде. Хардинг опять попросил Макмерфи помочь им, и они с Чесвиком снова склонились над парнем. Макмерфи оттолкнул их и, перешагнув через парня, прошел в душ.

— Оставьте его, — сказал он, намыливаясь под душем, — может быть, он не любит глубокую воду.

Я видел, что это началось. На следующий день он увидел всех в отделении, поднявшись рано и отдраив уборную так, что она засверкала, а потом отправился натирать полы в коридоре, стоило только черным ребятам попросить его об этом. Он удивил всех, кроме Большой Сестры; она вела себя так, будто в этом не было ничего удивительного.

В тот день на собрании Чесвик сказал, что надо прийти к какому-то решению насчет сигарет.

— Я не маленький мальчик, чтобы прятать от меня сигарету, словно это печенье! Мы хотим, чтобы было что-то сделано, разве не так, Мак?

Чесвик ждал, что Макмерфи его поддержит, но тот промолчал.

Он посмотрел в угол на Макмерфи. И все посмотрели. Макмерфи сидел на месте, изучая колоду карт, которые то появлялись, то исчезали в его руках. Он не поднял глаз. Был чрезвычайно молчалив; слышалось только шлепанье засаленных карт и тяжелое дыхание Чесвика.

— Я хочу, чтобы что-нибудь сделали! — вдруг завопил Чесвик. — Я вам не маленький мальчик!

Он затопал ногами и огляделся, словно потерялся в большом городе и в любую минуту мог расплакаться. Он сцепил руки и прижал их к полной груди, стиснул их так, что весь задрожал.

Он никогда не казался большим – был низенький и слишком толстый, и на макушке у него была лысинка, которая сияла, как розовый доллар. Но, стоя вот так, один, в центре дневной комнаты, он выглядел таким маленьким. Чесвик посмотрел на Макмерфи, но тот на него не взглянул, и тогда он двинулся вдоль линии Острых, высматривая помощь. И всякий раз, когда кто-то отводил глаза и отказывался поддержать его, все явственнее проступала на его лице паника. В конце концов его взгляд остановился на Большой Сестре. И он снова топнул ногой.

– Я хочу, чтобы было что-нибудь сделано! Слышите меня? Я хочу. Чтобы что-нибудь было сделано! Что-нибудь! Что-нибудь! Что...

Двое здоровых черных парней схватили его сзади за руки, а третий стянул их ремнем. Он осел и сдулся, словно проколотый шарик, и двое больших парней поволокли его в буйное; было слышно, как он с глухим звуком переваливается со ступеньки на ступеньку. Когда они вернулись и уселись, Большая Сестра посмотрела на Острых, сидевших напротив нее. С тех пор как Чесвик покинул нас, никто не произнес ни слова.

– Ожидается ли продолжение дискуссии, – спросила она, – насчет количества сигарет?

Я смотрю вниз, на ряд угасших лиц, прижавшихся к стене напротив меня, и наконец нахожу глазами Макмерфи, сидящего, в углу на стуле, сосредоточившегося на том, чтобы перетасовать одной рукой карточную колоду... и почувствовал, как белые трубы в потолке снова начали качать ледяной свет... и как он проникает прямо мне в желудок.

Поскольку Макмерфи больше не вступает за нас, некоторые из Острых стали поговаривать, что он просто пытается перехитрить Большую Сестру, дескать, подслушал, что она готова перевести его в буйное, и поэтому решил немного умерить пыл, чтобы не давать никакого повода. Другие утверждают, что он усыпляет ее бдительность, а потом выкинет какую-нибудь новую штучку, что-нибудь покруче, чем обычно. Слышу, как они обсуждают все это, собираясь группками и гадая о том, что будет.

Но я-то знапочему. Я слышал, как он говорил со спасателем. Он становится осторожней, вот и все. Так же, как поступил папа, когда понял, что не сможет ничего поделаться с этой группой городских, которые хотели, чтобы правительство построило дамбу, – из-за денег и рабочих мест, которые она принесет, и чтобы избавиться от деревни: пусть эти вонючие индейцы убираются отсюда вместе со своей рыбой и со своими двумя сотнями долларов, которые правительство им заплатило, и пусть поищут себе какое-нибудь другое местечко! Папа умно поступил, подписав бумаги; он бы ничего не выиграл, если бы начал брыкаться. Правительство все равно бы получило то, что хотело, раньше или позже; и то, что племени заплатили деньги, было хорошо. Это было умно. Я это понимал. И Макмерфи умно поступил. Он сдался, потому что это было самое умное, что можно было сделать, а не по тем или иным причинам, которые выдвигали Острые. Он ничего никому не объяснял, но я знал и сказал себе, что это было умно. Я говорил это себе снова и снова: это безопасно. Как будто ты спрятался. Это поступок умного человека, и никто не скажет ничего другого. Я знал, что он делает.

А однажды утром и остальные Острые это понимают, понимают, по какой причине он отступил, а те причины, которые они придумывали, были просто способом обманывать самих себя. Он никогда не упоминает о разговоре со спасателем, но они знают. Я полагаю, что Большая Сестра передала это

ночью – по всем этим маленьким линиям на полу спальни, – потому что они понимают это все сразу. Я чувствую это по тому, как они смотрят на Макмерфи в то утро, когда он вошел в дневную комнату. Они не то что бы злы на него, или сбиты с толку, или разочарованы, нет, они, как и я, понимают, что Большая Сестра выпустит его отсюда, если он будет слушаться. И все же им не хотелось, чтобы дело обернулось таким образом.

Даже Чесвик смог это понять, и потому не обвиняет Макмерфи, что он не пошел дальше и не устроил большого скандала из-за сигарет. Он вернулся из буйного в тот же день, когда Большая Сестра передавала информацию в спальню, и лично сказал Макмерфи, что понимает, почему он так действовал, и что это, без сомнения, самое умное, что можно было сделать, принимая во внимание все обстоятельства, и, если бы он подумал, что Мака сюда определили, не стал бы в тот день пытаться втянуть его в спор. Он сказал это Макмерфи в тот день, когда нас снова повели в плавательный бассейн. Но когда мы уже были в бассейне, он добавил: а все-таки хотелось бы что-нибудь сделать – и прыгнул в воду. Пальцы его застряли в решетке, которая прикрывала слив на дне бассейна, и ни здоровенный спасатель, ни Макмерфи, ни двое черных парней не смогли разжать пальцы, и к тому времени, как они притащили отвертку, отвинтили решетку и вытащили Чесвика, все еще сжимавшего решетку пухлыми посиневшими пальцами, он захлебнулся.

* * *

Вижу, как прямо передо мной, в очереди за обедом, в воздух взлетает поднос – зеленое пластиковое облако, пролившееся дождем из молока, бобов и овощного супа. Сефелт вылетает из очереди на одной ноге, болтая в воздухе обеими руками, падает на спину, изогнувшись в дугу, мимо меня мелькают белки его слепых закатившихся глаз. Голова ударяется об пол с таким звуком, с каким камни уходят под воду, спина все еще изогнута и походит на трясущийся мост, который вот-вот рухнет. Фредериктон и Скэнлон одним прыжком оказываются рядом, чтобы помочь, но большой черный парень отстраняет их и вытаскивает из заднего кармана плоскую палку, обернутую липкой лентой в коричневых пятнах. Действуя ею, словно рычагом, он открывает рот Сефелта и сует палку между зубов, и я слышу, как палка хрустит. Я чувствую во рту вкус щепы. Судороги у Сефелта замедляются, но становятся мощнее, превращаясь в сильные жесткие рывки, – подъем и падение, медленнее и медленнее, пока Большая Сестра не приходит и не становится над ним, и он обмякает, растекается по полу серой лужей.

Она складывает руки перед собой, как будто держит свечу, и смотрит на то, что от него осталось, то, что вытекает из-под обшлагов его штанов и куртки.

– Мистер Сефелт? – спрашивает она у черного парня.

– Точно... уф. – Черный парень дергается, чтобы убрать свою палку. – Миста Сефелт.

– И мистер Сефелт утверждал, что он больше не нуждается в лекарствах. – Она кивает и делает шаг назад, потому что Сефелт растекается в сторону ее белых тапочек. Она поднимает голову и смотрит на Острых, собравшихся вокруг. Она снова кивает и повторяет: – Больше не нуждается в лекарствах.

Ее лицо, улыбающееся, сожалеющее, терпеливое, одновременно выражает отвращение – давно отработанное выражение.

Макмерфи ничего подобного не видел.

– Что с ним случилось? – спрашивает он.

Она опускает глаза к луже, не поворачиваясь к Макмерфи.

– Мистер Сефелт страдает эпилепсией, мистер Макмерфи. Это означает, что подобный припадок мог случиться в любое время, если не следовать медицинским предписаниям. Но он всегда лучше знает. Мы говорили ему, что случится, если он не будет принимать лекарства. И тем не менее, он вел себя непростительно легкомысленно.

От линии Острых отделяется Фредериксон, нахмутив брови. Это мускулистый малокровный парень со светлыми волосами, белыми, словно веревка, бровями и длинным подбородком. Он все время пытается вести себя как Чесвик – громко кричит, вечно обзывает одну из сестер и заявляет, что намерен покинуть это вонючее местечко. Ему всегда позволяют поорать и помахать кулаками, пока он сам не утихомирится, а потом спрашивают: «Не закончили вы, мистер Фредериксон, потому что мы будем оформлять вам выписку». Потом открывают на сестринском посту книгу и берутся с ней до тех пор, пока он не начинает стучать в стекло с виноватым видом и просить прощения, и говорит, что все эти слова он наговорил под горячую руку, а бумажки можно убрать на день-другой, ладно?

Он подходит к сестре, тряся перед нею кулаком.

– О, так ли это? Так ли все это, а? Вы решили распять старину Сефелта, как будто он делал все это вам назло?

Она успокаивающим жестом кладет руку на его кулак, и кулак разжимается.

– Все в порядке, Брюс. С твоим другом все будет хорошо. Очевидно, он не принимал дайлантин. Просто не знаю, что он с ним делал.

Она знает не хуже других; Сефелт прячет капсулы во рту, а после отдает их Фредериксону. Сефелт не любит принимать пилюли из-за их, как он говорит, «ужасающего побочного действия», а Фредериксон предпочитает принимать двойную дозу, потому что до смерти боится припадков. Сестра это знает, это слышно по ее голосу, но если бы в тот момент посмотрели на нее, такую сочувствующую и добрую, вы бы поклялись, что на целом свете ее не интересует ничего, кроме Фредериксона и Сефелта.

– Д-д-да, – произносит Фредериксон, но у него уже нет сил, чтобы возобновить атаку. – Да, хорошо, вам не нужно делать вид, что все так просто – принимать таблетки или не принимать. Вы знаете, как Сеф беспокоился о том, как он выглядит, и что женщины считают его уродливым и все такое, и вы знаете, что он думал, что дайлантин...

– Я знаю, – отвечает она и снова трогает его руку. – Он считал, что лысеет именно из-за лекарств. Бедный старик.

– Он не так уж стар!

– Я знаю, Брюс. Но почему вы так расстроились? Не могу понять, что происходит между вами и вашим другом, что заставляет вас все время его защищать!

– Ну, черт, все равно! – говорит он и сует кулаки в карманы.

Большая Сестра наклоняется и расчищает себе на полу маленький пяточок, становится на колени и пытается придать Сефелту некоторую форму. Она приказывает черным ребятам остаться с бедным стариком, а сама пойдет и пришлет каталку; его нужно будет откатить в спальню и дать поспать остаток дня. Поднявшись на ноги, она хлопает Фредериксона по руке, и он ворчит:

– Мне тоже приходится принимать дайлантин, вы же знаете. Именно поэтому я переживаю за Сефелта. Я хочу сказать, вот почему... ну хорошо, черт побери.

– Я понимаю, Брюс, через что приходится проходить вам обоим, но не думаете ли вы, лучше все, что угодно, чем это?

Фредериксон смотрит туда, куда она указывает. Сефелт наполовину приобрел прежние очертания, и кольшется верх-вниз от тяжелого, сырого, дрожащего дыхания. На голове, где он ударился об пол, виднеется уродливая шишка, и красная пена пузырится вокруг палочки, там, где она входит ему в рот, а глаза закатились, видны только белки. Его руки пригвождены по обе стороны тела ладонями вверх, и пальцы, подергиваясь, сжимаются и разжимаются, как у того парня, которого я видел в шок-шоппе, когда он был привязан к столу в форме креста, и дым поднимался вверх от его запястий при каждом ударе тока. Сефелт и Фредериксон никогда не были в шок-шоппе. Они генерируют в себе достаточное напряжение, накапливающееся в их позвоночниках, которое включают на расстоянии, с сестринского поста, если они выбивались из строя, и это лучшая из всех грязных шуток, и можно выгибать и трясти их, задействовав маленький участок у них на спине. Не надо возиться с ними, чтобы таскать в шоковую комнату.

Большая Сестра немного потрясла руку Фредериксона, чтобы не дать ему заснуть, и повторяет:

– Даже если вы примете во внимание вредное воздействие лекарств, не думаете ли вы, что это все же лучше, чем такое?

И пока Фредериксон смотрит вниз, на пол, его светлые брови поднимаются все выше, будто он в первый раз видит, как сам выглядит, как минимум, раз в месяц. Сестра улыбается, разводит руками и направляется к двери, строго взглянув на Острых, словно хочет пристыдить их за то, что они собрались здесь и глазект на такую вещь; потом уходит, а Фредериксон вздрагивает и пытается улыбнуться.

– С чего это я разозлился на старую деву, ведь она не сделала ничего такого, что дало бы мне повод вот так взорваться, разве не так?

Не похоже, что он ждет ответа; скорее удивляется, что не может найти оправдания. Он снова вздрагивает и принимается потихоньку отодвигаться от группы. Макмерфи подходит к нему и спрашивает, понизив голос, что именно они принимают?

– Дайлантин, Макмерфи, противосудорожное, если тебе нужно знать.

– Не действует или что-то еще?

– Думаю, что оно действует нормально – если ты его пьешь.

– Тогда что за базар – принимать его или нет?

– Смотри, если тебе интересно. Есть одна грязная штука, когда ты его принимаешь. – Фредериксон протянул руку и схватил себя за нижнюю губу большим и указательным пальцами, чтобы показать изъеденные розовые

бескровные десны вокруг длинных белых зубов. — Твои десны, — выговаривает он, — дайлантин разъедает, а припадок расшатывает твои жубы. И ты..

С пола слышен какой-то звук. Там стонет и хрипит Сефелт, а черный парень вытаскивает вместе со своей палкой два его зуба.

Скэнлон хватается свой поднос и бросается прочь со словами:

— Черт бы побрал эту жизнь. Сплошное проклятие: и если ты что-то делаешь, и если не делаешь. На человека нужно надеть смирительную рубашку, вот что я вам скажу.

— Да, — отзывается Макмерфи, глядя на расправляющееся лицо Сефелта. — Я понимаю, что ты хочешь сказать. — И его лицо приобретает то же дикое и озадаченное выражение, что и лицо человека, лежащего на полу.

* * *

Что бы там ни разладилось в их механизме, они уже почти привели его в порядок. Чистое, рассчитанное электричеством движение вернулось на круги своя: шесть тридцать — подъем, семь часов — столовая, восемь часов — головоломки для Хроников и карты для Острых... Я видел, как на сестринском посту белые руки Большой Сестры летают над тумблерами.

* * *

Иногда меня берут вместе с Острыми, а иногда — нет. Один раз они берут меня с ними в библиотеку, и я брожу вдоль технического раздела, стою там и смотрю на корешки книг по электронике, книг, которые помню с того года, как поступил в колледж; помню, что внутри эти книги полны схем и рисунков, и уравнений, и теорий — твердые, точные, безопасные вещи.

Хочу заглянуть в одну из книг, но боюсь. Боюсь что-то делать. Я словно плыву в пыльном желтом воздухе библиотеки — ровно посередине между дном и вершиной. Стеллажи с книгами раскачиваются надо мной в сумасшедшем зигзагообразном ритме, наклоняясь под разными углами друг к другу. Одна полка клонится влево, другая — вправо. Некоторые из них наклоняются надо мной, и я не понимаю, почему книги с этих полок не падают. Они поднимаются все выше и выше, явственно исчезая из вида, хрупкие стеллажи, сбитые вместе тонкими филенками, подпираемые шестью, нависающие над лестницами со всех сторон от меня. Вытаскиваю одну книгу, и один только Господь знает, каким ужасным может оказаться результат.

Слышу, как кто-то вошел, это один из черных парней из нашего отделения, он ведет с собой жену Хардинга. Они заходят в библиотеку, болтая и хихикая друг с другом.

— Посмотри, Дэйл. — Черный парень зовет Хардинга, который читает книгу. — Посмотри, кто пришел тебя навестить. Я говорил ей, что сейчас — не приемное время, но ты знаешь, как она умеет уговаривать, так что все-таки

заставила меня привести ее сюда. — Он оставляет ее с Хардингом и уходит, произнеся таинственно: — Только не забудьте, слышите?

Она посылает черному парню воздушный поцелуй, а потом поворачивается к Хардингу, выставив бедра вперед:

— Привет, Дэйл.

— Дорогая, — отзывается он, но не делает ни малейшего движения навстречу ей. Все наблюдают за ними.

Она такая же высокая, как и он. Туфли на высоких каблуках, а в руках — черная сумочка, без ремешка, и она держит ее будто книгу. Ее красные ногти словно капли крови на блестящей лакированной коже сумочки.

— Эй, Мак. — Хардинг зовет Макмерфи, который сидит от него через комнату, разглядывая книжку с комиксами. — Если ты на минутку прервешь свои литературные изыскания, я представлю тебя моей благоверной Немезиде; мог бы выразиться банальнее: моей лучшей половине, но полагаю, что эта фраза предполагает изначально равное положение, не так ли?

Он пытается рассмеяться, и два тонких, цвета слоновой кости пальца ныряют в карман рубашки за сигаретами и, беспокойно двигаясь, выуживают из пачки последнюю. Сигарета дрожит, когда он сует ее в рот. Они все еще не сделали ни малейшего движения навстречу друг другу.

Макмерфи поднимается со стула и, приблизившись к ним, стаскивает с головы кепку. Жена Хардинга смотрит на него и улыбается, приподняв одну бровь.

— Добрый день, миссис Хардинг, — произносит Макмерфи.

Она улыбается еще шире и говорит:

— Терпеть не могу «миссис Хардинг». Мак, почему бы вам не называть меня Верой?

И они вдвоем усаживаются на кушетку, где расположился Хардинг, и он начинает рассказывать жене о Макмерфи, о том, как Макмерфи довел Большую Сестру, и она улыбается и говорит, что ее это ни капельки не удивляет. И пока Хардинг рассказывает эту историю, забывает о своих руках, и они летают в воздухе перед ним и рисуют картину, которую можно разглядеть, они танцуют в такт мелодии его голоса, словно две прекрасные балерины в белом. Но как только Хардинг заканчивает рассказ, замечает, что Макмерфи и жена смотрят на его руки, и он тут же загоняет их в ловушку между коленями. Он первым смеется над этим, а жена говорит:

— Дэйл, когда ты научишься нормально смеяться, а не издавать этот мышинный писк?

То же самое сказал ему Макмерфи в первый день, но как-то по-другому; когда сказал Макмерфи, это успокоило Хардинга, а ее слова заставляют его нервничать еще больше.

Она просит сигарету, и Хардинг снова лезет в карман и обнаруживает, что он пуст.

— Нам теперь выдают сигареты, — говорит он, заворачивая плечи вперед, словно пытаясь спрятать свою наполовину выкуренную сигарету, — по одной пачке в день. Похоже, эта практика не оставляет мужчине никаких возможностей оставаться рыцарем, Вера, моя дорогая.

— О, Дэйл, тебе никогда ничего не хватает, разве не так?

Пока он смотрит на нее, улыбаясь, его глаза приобретают хитрое, лихорадочно-пугливое выражение.

— Мы говорили в переносном смысле или все еще имеем дело с конкретной сигаретой «здесь и сейчас»? Не имеет значения; ты знаешь ответ на вопрос, каким бы образом ты его ни поставила.

— Я не имела в виду ничего, кроме того, что сказала, Дэйл..

— Конечно, ты под этим ничего не имела в виду, сладкая моя; ты использовала «никогда» и «ничего», что составляет двойное отрицание. Макмерфи, английский Веры может соперничать по безграмотности с вашим. Послушай, дорогая, ты должна понять, что между «никогда» и «всегда» существует..

— Ну хорошо! Достаточно! Я имела это в виду в обоих случаях. Я готова это сказать как угодно, лишь бы ты понял. Я хотела сказать, что тебе все время ничего не хватает!

— Вечно всего, мое одаренное дитя.

Секунду она смотрит на Хардинга, а потом поворачивается к Макмерфи, сидящему рядом с ней:

— А вы, Мак, что скажете? Способны ли вы справиться с простой маленькой задачей — предложить сигарету?

Его пачка уже лежит на ладони. Он смотрит на нее так, словно ему хочется, чтобы ее не было, а потом говорит:

— Точно, у меня всегда есть сигареты. Причина в том, что я их стреляю. Стреляю, когда только есть такая возможность, поэтому моей пачки мне хватает дольше, чем Хардингу. Он курит только свои собственные. Вы же видите, он скорее сбежит, чем..

— Вам не стоит извиняться за мое неадекватное поведение, друг мой. Это не соответствует вашему характеру и не делает чести моему.

— И вправду нет, — говорит Вера. — Все, что от вас требуется, — это зажечь мне сигарету. — И она так глубоко наклоняется, чтобы дотянуться до его спички, что даже через комнату я отчетливо вижу содержимое ее блузки.

Она еще немного поболтала о некоторых друзьях Хардинга, которые, как она надеется, наконец прекратят шататься вокруг дома, выискивая его.

— Вы ведь знаете этот тип людей, ведь правда, Мак? — говорит она. — Шикарные ребята с такими красивыми длинными волосами и с тонкими нежными руками, которыми они так мило дают пощечины.

Хардинг спрашивает, только ли его они хотят навестить, и она отвечает, что любой мужчина, который хотел бы увидеть ее, способен дать пощечину скорее, чем он с его чертовыми тонкими ручками.

Неожиданно она встает: ей пора уходить. Берет Макмерфи за руку и говорит ему, что надеется вскоре увидеть его снова, и выходит из библиотеки. Макмерфи не может произнести ни слова. При звуке ее высоких каблуков все повернули голову в ее сторону и смотрели, пока она не скрылась из вида.

— И что ты думаешь? — говорит Хардинг.

Макмерфи набирает воздух в легкие.

— Черт побери, ну у нее и буфера. — Сейчас он может думать только об этом. — Такие же огромные, как у старушки Рэтчед.

— Я не имел в виду физиологию, друг мой, я хочу сказать, что ты думаешь...

— Черт побери, Хардинг! — неожиданно кричит Макмерфи. — Я не знаю, что и думать! Чего ты от меня хочешь? Я что, брачный консультант? Я знаю только одно: никто поначалу не бывает большой шишкой, и мне кажется, что люди тратят всю свою жизнь на то, чтобы унижить других. Знаю, что ты от меня хочешь; хочешь, чтобы я пожалел тебя, чтобы сказал, что она — настоящая сука. Ну и ты же никогда не давал ей возможности почувствовать себя королевой. Имел я и тебя, и твое «что ты об этом думаешь»! У меня достаточно своих проблем, чтобы цеплять на себя еще и твои. Просто отвали! — Он обвел взглядом других пациентов. — Вы все! Хватит доставать меня, черт вас побери! — И он натягивает на голову кепку и идет в другой конец комнаты к своим комиксам.

Острые смотрят друг на друга разинув рты. С чего это он на них взъелся? Никто ничем его не доставал. Никто ни о чем не попросил, когда поняли, что он пытается ограничить свое пребывание рамками срока и не попасть под принудительное лечение. Все удивлены тем, как он взорвался и наехал на Хардинга, и не могут сообразить, почему он стрел со стула свой журнал, уселся и закрыл им лицо — то ли для того, чтобы люди не смотрели на него, что ли для того, чтобы самому не смотреть на людей.

В тот вечер перед ужином он извинился перед Хардингом и сказал, что сам не знает, что на него нашло в библиотеке. Хардинг ответил, что, возможно, это из-за его жены — она часто манипулирует людьми. Макмерфи уставился в свою чашку с кофе, а потом говорит:

— Не знаю, парень. Я в первый раз встретил ее сегодня днем. Но не из-за нее же я видел плохие сны в эту тошнотворную неделю.

— Ну что ж, мис-тур Макмерфи, — кричит Хардинг, стараясь говорить как мальчишка-практикант, который явился на собрание, — вы обязательно должны рассказать нам об этих снах. Подождите, я достану свой карандаш и блокнот. — Хардинг старался быть забавным, ему неловко, что перед ним извинялись. Он схватил ложку и салфетку и сделал вид, что собирается записывать. — Итак. Расскажите нам подробно, что именно вы видели в этих... э... снах?

Макмерфи даже не улыбнулся.

— Я не знаю, парень. Ничего, кроме лиц... да, мне кажется — только лица.

На следующее утро Мартини залезает под контрольную панель в ванной комнате, изображая пилота реактивного самолета. Игроки в покер приостанавливают игру, чтобы похихикать.

— И-и-и-у-у-у-ум. Я земля, я земля. Объект обнаружен, вероятно, вражеская ракета. Действуйте немедленно. И-и-и-у-у-м.

Вертит диск, двигает рукоятку вперед и наклоняется, имитируя крен корабля. Он поворачивает стрелку на приборной панели на отметку «наполнить», но вода не идет. Они больше не используют гидротерапию, и никто не поворачивает ручку, чтобы пошла вода. Новенькое хромовое

оборудование и стальная панель никогда не использовались. Не считая хрома, и панель и душ выглядят как приспособления для гидротерапии, которые они использовали в старой больнице пятнадцать лет назад: вода из форсунок могла добраться до любой части тела под любым углом, а техник в резиновом фартуке стоял на другой стороне комнаты, манипулируя рычагами на панели, определяя, струя из какой форсунки и куда должна бить, с какой силой, насколько горячая – струи были то успокаивающе-мягкими, то вонзались резко, словно иглы, – и ты мотался там между форсунками на парусиновом ремне, вымокший, беспомощный, пока техник наслаждался своей игрушкой.

– И-и-и-у-у-у-м-м-м... «Воздух – земля», «воздух – земля»: ракета обнаружена; входит в зону видимости... – Мартини сгибается и целится через круглое отверстие форсунки. Он зажмуривает один глаз и смотрит в отверстие другим. – По мишени! Приготовиться... Цель... Огонь!

Его руки соскользнули с панели, и он выпрямляется во весь рост, волосы развеваются, глаза таращатся на душевую кабину с таким диким и пугающим выражением, что все карточные игроки поворачиваются на стульях и смотрят, что он там увидел, но не видят ничего, кроме щитов, подвешенных среди форсунок на крепких новых полотняных ремнях.

Мартини обернулся и смотрит прямо на Макмерфи. Больше ни на кого.

– Ты их видишь? Ты видишь?

– Кого, Март? Я ничего не вижу.

– Среди всех этих ремней? Не видишь?

Макмерфи поворачивается и косится на душ:

– Нет. Ничего.

– погоди минутку. Им нужно, чтобы ты их увидел, – говорит Мартини.

– Черт тебя побери, Мартини, говорю же тебе, я их не вижу! Понимаешь? Не вижу вообще ничего!

– О, – говорит Мартини. Он кивает и отворачивается от душевой кабины. – Ну что ж, тогда я их тоже не вижу. Я просто тебя дурачил.

Макмерфи собирает колоду и энергично ее тасует.

– Мне не нравятся такого рода шутки, Март. – Он снова начинает тасовать, и карты разлетаются по всей комнате, когда колода вдруг рассыпалась под его дрожащими руками.

* * *

Помню, что снова была пятница, прошло три недели, как мы голосовали насчет телевизора, и всех, кто мог ходить, погнали в первый корпус; они пытались нас убедить, что всем надо сделать рентген грудной клетки на случай туберкулеза, но я знаю, это для того, чтобы убедиться, что вся машинерия функционирует нормально.

Расселись на длинной скамье вдоль коридора, ведущей к двери с табличкой «Рентген». Следующая за рентгеном – дверь с табличкой «ЛОР», где они зимой проверяли нам горло. Напротив нас другая скамья, и она ведет к металлической двери. С рядом заклепок. И на ней не висит никакой таблички. Два парня дремлют на скамье между двумя черными парнями, тогда как еще один внутри получает свою дозу терапии, и я слышу его крики. Дверь открывается внутрь рывком, и я могу разглядеть в комнате мерцающие трубы. Они выкатывают еще дымящегося пациента, я вцепился в скамью, чтобы меня не всосало в дверь. Черный парень и белый поднимают одного из ожидающих парней со скамьи, он качается и пошатывается от большого количества лекарств, которое они в него впахнули. Они обычно перед шоком дают красную капсулу. Они вталкивают его в дверь, и техники подхватывают его под руки. Вижу, парень на одну секунду осознает, куда его притащили, упираются обеими пятками в цементный пол, чтобы не дать им затащить себя на стол. А потом дверь захлопывается, пфу-ф, металлический удар обшивки – и я больше его не вижу.

– Парень, что здесь такое происходит? – спрашивает Макмерфи у Хардинга.

– Здесь? Ну, это интересно, не так ли? Ты и не должен был получить удовольствие. Жалость. Опыт, который не миновал ни одно человеческое существо. – Хардинг переплетает пальцы на затылке и откидывается, чтобы посмотреть на дверь. – Это шок-шоп, я тебе не так давно о нем рассказывал, друг мой, ЭШТ, электрошоковая терапия. Эти счастливые души, которых ты здесь видишь, выиграли путешествие на Луну. Нет, если подумать, это не совсем бесплатно. Ты оплачиваешь услугу клетками мозга – вместо денег, а у каждого на депозите – миллиарды клеток мозга. Какая разница, если ты потеряешь несколько. – Он хмурится, глядя на одинокого парня, оставшегося на скамье. – Похоже, что сегодня не слишком много клиентов, ничего общего с толпами народа в прошлом году. Но се ля ви, увлечения приходят и уходят. И боюсь, что мы являемся свидетелями заката ЭШТ. Наша дорогая старшая сестра одна из немногих имеет силы выступить в защиту великой фолкнеровской традиции в лечении нарушений здравомыслия: поджаривания мозгов.

Дверь открывается. Каталка с шумом выезжает из комнаты, никто ее не толкает. Она на двух колесах огибает угол и, дымясь, исчезает в коридоре. Макмерфи смотрит, как подводят к двери последнего парня.

– То, что они делают, – Макмерфи на мгновение прислушался, – так это берут сюда какую-нибудь птичку и пропускают электричество через ее череп?

– Если выразаться кратко, то да.

– Но, черт возьми, ради чего?

– Ну конечно же ради пользы пациента. Все, что здесь делается, делается ради пользы пациента. Ты живешь все время в одном отделении, и у тебя может создаться впечатление, что больница – это эффективный механизм, который будет функционировать так же хорошо, если бы даже пациентов сюда не помещали, но это не так. ЭШТ не всегда используется для карательных целей, как это заведено у нашей старшей сестры, и это также не чистый садизм со стороны персонала. Некоторое количество потенциально неизлечимых были возвращены к контакту с миром благодаря шоку, такому же количеству удалось помочь с помощью лоботомии и лейкотомии. Шокковое лечение имеет кое-какие преимущества: оно дешево, быстро и совершенно безболезненно. Оно просто стимулирует припадок.

– Что за жизнь, – стонет Сефелт. – Дайте одним из нас пилюли, чтобы остановить припадок, назначьте остальным шок, чтобы его вызвать.

Хардинг наклоняется вперед, чтобы объяснить это Макмерфи.

— Вот откуда все это пошло: два психиатра посетили бойню, бог его знает, по какой такой ошибке, и наблюдали, как скот убивают ударом кувалды между глаз. Они заметили, что не весь скот погибает, что некоторые падают на пол в состоянии, которое очень сильно походило на эпилептические конвульсии. «Ах, фот оно, — сказал первый доктор. — Это именно то, фто нам нушно для наших пациентоф, — искусственный припадок!» Его коллега конечно же согласился. Известно, что человек, переживший эпилептический припадок, на какое-то время становится более спокойным и миролюбивым, а самые буйные, с которыми совершенно не удавалось установить контакт, становятся способными после припадка вести разумные беседы. Никто не знал почему; они до сих пор не знают. Но было очевидно, что если вызвать эпилептический припадок у неэпилептика, то результаты могут быть самые благоприятные. И за всем этим стоял человек, который то и дело устраивал эпилептические припадки — и с неизменным успехом.

Сканлон предположил, что этот парень использовал молот вместо бомбы, но Хардинг это высказывание полностью игнорирует и продолжает свои объяснения:

— Молот это то, что использовал мясник. И именно в этом месте коллега сделал небольшую оговорку. В конце концов, человек — это не корова. Кто знает, а вдруг молот соскользнет и сломает ему нос? Или даже выбьет зубы? И что тогда с ними будет, учитывая высокую стоимость работы дантиста? Если они намереваются бить человека по голове, они должны использовать что-то более надежное и более аккуратное, нежели молот; и в конце концов оба сошлись на электричестве.

— Господи, разве они не думали, что это может нанести определенный вред? Разве публика не подняла из-за этого шум?

— Думаю, вы не до конца понимаете публику, мой друг; в этой стране, когда некоторые из нас съезжают с катушек, самый быстрый путь привести нас в чувство — и есть самый лучший.

Макмерфи трясет головой:

— Ничего себе! Пропускать электричество через голову. Ребята, это похоже на казнь за убийство на электрическом стуле.

— Оба действия гораздо больше связаны друг с другом, чем можно себе представить; и то и другое — лечебные средства.

— И ты говоришь, это не больно?

— Я лично это гарантирую. Совершенно безболезненно. Один разряд, и ты немедленно теряешь сознание. Никакого газа, никаких иголок, никаких кувалд. Абсолютно безболезненно. Проблема заключается лишь в том, что никто не хочет пройти через это еще раз. Ты.. меняешься. Ты забываешь вещи. Это, — он прижал руки к вискам, закрыв глаза, — это словно удар, который наносится по масленичному колесу твоих представлений, эмоций, воспоминаний. Эти колеса, ты их видел; зазывала принимает твою ставку и нажимает кнопку. Бац! Со всеми этими огнями, и звуками, и номерами, круг за кругом, сливаясь в одно, и, может быть, ты в конце концов выиграешь, а может быть, проиграешь, и тебе придется платить снова. Плати парню за следующую поездку, сынок, плати ему.

— Спокойно, Хардинг.

Дверь открывается, и каталка выезжает наружу с парнем под простыней, и техники отправляются за кофе. Макмерфи запустил руку в волосы.

– Похоже, я не сумею врубиться во все то, что вы мне напихали в голову.

– Во что? В шоковую терапию?

– Да. Нет, не только в нее. Во все это... – Он описал рукою круг. – Все эти вещи происходят...

Рука Хардинга касается колена Макмерфи.

– Приведи в порядок свой удрученный разум, друг мой. Судя по всему, тебе не следует беспокоиться насчет ЭШТ. Она уже почти вышла из моды и используется только в исключительных случаях, когда уже совсем ничего нельзя добиться, как лоботомия.

– А лоботомия – это когда удаляют часть мозга?

– Ты снова прав. Ты очень сильно поднаторел в смысле жаргона. Да, удаляют мозг. Кастрация передних долей. Я полагаю, что, если она не может отрезать то, что ниже пояса, она отрежет то, что выше глаз.

– Ты имеешь в виду Рэтчед?

– Совершенно верно.

– Не думаю, чтобы сестра могла решать такого рода вещи.

– Но она решает.

Макмерфи рад прекратить разговор о шоке и лоботомии и вернуться к разговору о Большой Сестре. Он спрашивает Хардинга, что с ней не так. У Хардинга, Сканлона и некоторых других есть на этот счет кое-какие соображения. Они некоторое время рассуждают о том, является ли она корнем всех здешних бед, и Хардинг заявляет, что в ней – корень большинства из них. Остальные ребята по большей части тоже так думают, но Макмерфи все еще в этом не уверен. Он говорит, что одно время тоже так думал, но сейчас он не знает. Даже если убрать ее с дороги, это вряд ли что сильно изменит; тут есть что-то более значительное, что устраивает весь этот бардак. Он даже пытается сформулировать, что, по его мнению, это такое. Но в конце концов сдается, потому что объяснить этого не может.

Макмерфи этого не знает, а только почуял то, что я осознал давным-давно: это не Большая Сестра сама по себе, но весь Комбинат, Комбинат шириной во всю страну является по-настоящему большой силой, а сестра – всего лишь их высокопоставленный чиновник.

Ребята не согласны с Макмерфи. Они говорят, что знают, что именно не так, а потом пускаются в спор. Они спорят до тех пор, пока Макмерфи их не прерывает.

– Черт побери, вы только себя послушайте, – говорит Макмерфи. – Все, что я слышу, – это нытье, нытье и еще раз нытье. В отношении старшей сестры, персонала, больницы. Скэнлон хотел бы разбомбить это заведение. Сефелт во всем винит лекарства. Фредериксон – свои семейные проблемы. Ребята, фишка совсем не в этом.

Он говорит, что Большая Сестра – просто жестокая, старая карга с ледяным сердцем, а все попытки заставить его выставить против нее рога – это полная фигня и не принесет никому ничего хорошего, в особенности ему

самому. И заткнуться насчет нее вовсе не означает заткнуться насчет всех тех, по-настоящему серьезных подводных камней, которые порождают нытье.

– Ты полагаешь, что нет? – спрашивает Хардинг. – В таком случае, поскольку ты неожиданно так ясно осознал проблему душевного здоровья, скажи нам, в чем проблема? Что это за глубоко спрятанные подводные камни, как ты их исключительно умно обозначил?

– Говорю вам, ребята, не знаю. Я никогда не видел ничего подобного. – Он минуту просидел тихо, прислушиваясь к жужжанию из рентгенкабинета, а потом сказал: – Но вы говорите, что дело ни больше ни меньше как в этой старой сестре и ее сексуальных тревогах. В таком случае решение ваших проблем в том, чтобы просто опрокинуть ее на спину и избавить от тревог, так?

Скэнлон хлопает в ладоши:

– Ч-черт побери! Так и надо! Мы выбираем тебя, Мак, ты – как раз тот жеребец, который подходит для этой работы.

– Только не я. Нет, сэр. Вы выбрали не того мальчика.

– Почему нет? Я думаю, что ты – супержеребец, если надо трахнуть побыстрому.

– Скэнлон, приятель, я планирую держаться от этой старой индейки так далеко, как это только возможно, дабы не запятнать своей чистоты.

– Это я заметил, – отзывается Хардинг улыбаясь. – Что происходит между вами двумя? Сначала ты ее на какое-то время втягиваешь в это дело, потом отпускаешь веревку. Неожиданное сострадание к нашему ангелу милосердия?

– Нет, я тут выяснил пару-тройку вещей, вот почему. Порасспрашивал кое-кого в разных местах. И выяснил, почему вы все лижете ей задницу, раболепствуете, позволяете ходить у вас по головам. И я допер, для чего вы решили меня использовать.

– О? Это интересно.

– Ты совершенно прав, черт возьми, это интересно. Интересно и то, что вы, бездельники, не сказали мне, какому риску я подвергаюсь, накручивая ей таким образом хвост. Да, конечно, она мне не нравится, но это вовсе не значит, что я собираюсь доводить ее, чтобы она добавила к моему заключению годик или около того. Вам следовало бы время от времени поступаться своей гордостью и не спускать глаз со старушки Номер Один.

– Ну что ж, друзья, не кажется ли вам, что имеются какие-либо основания для слухов, будто наш Макмерфи решил принять действующие правила, чтобы увеличить свои шансы на досрочное освобождение?

– Ты знаешь, о чем я говорю, Хардинг. Почему ты не сказал мне, что она может держать меня здесь, пока ей это не надоест?

– Ну что ж, я просто позабыло том, что тебя сюда определили. – Лицо Хардинга посредине пошло складками – такая широкая у него ухмылка. – Да. Ты становишься хитрецом. Как и все мы.

– Черт побери, конечно, станешь тут хитрым. Почему это я должен лезть на рожон на всех собраниях по поводу этих дурацких жалоб про спальню, сигареты на сестринском посту? Поначалу я не понял, почему вы, ребята, хотите сделать из меня своего спасителя. А потом случайно узнал, что

главное слово всегда остается за старшей сестрой, и кого отсюда выписывают, а кого – нет. И я, черт побери, очень быстро поумнел. Я сказал: «Ну что ж, эти коварные ублюдки меня провели, обвели вокруг пальца и заставили сунуться к их старой кошелке. Если это не игра, то ты продул, старый шулер П.Р. Макмерфи». – Он откидывает голову назад и с ухмылкой смотрит на нас. – Вы же понимаете, ребята, я хочу выбраться отсюда так же сильно, как и вы все. Поэтому ссориться с этой старой индейкой мне так же опасно, как и вам. – Он ухмыляется, шмыгает носом и тычет большим пальцем в ребра Хардингу: мол, говорить больше не о чем и давайте с этим покончим, но тут Хардинг добавляет кое-что еще:

– Нет, друг мой. В любом случае ты теряешь больше. – Хардинг ухмыляется, поглядывая искоса пугливым взглядом нервной кобылы, готовой вот-вот взбрыкнуть.

Все подвинулись ближе. Мартини выходит из-за экрана рентгена, застегивая куртку и бормоча под нос: «Никогда бы в это не поверил, если бы сам не видел», и Билли Биббит двинулся к черному стеклу аппарата, чтобы занять место Мартини.

– Ты теряешь больше, чем я, – снова говорит Хардинг. – Меня сюда не определили. Я здесь добровольно.

Макмерфи не сказал ни слова. На его лице все то же озадаченное выражение, будто что-то здесь не так, но что он понять не может. Он сидит и смотрит на Хардинга, с лица которого постепенно сходит улыбка, и он начинает ерзать и отодвигаться от Макмерфи, который так странно на него смотрит.

– Честно говоря, в нашем отделении только несколько человек, которых сюда определили. Только Скэнлон и кое-кто из Хроников. И ты. Во всей больнице не так много тех, кого поместили сюда принудительно. В самом деле, совсем не много. – И тут он останавливается, его голос постепенно стихает, словно морозящий дождь, под взглядом Макмерфи.

Помолчав немного, Макмерфи мягко спрашивает:

– Ты что, вешаешь мне лапшу на уши?

Хардинг мотает головой. Вид у него испуганный. Макмерфи встает и кричит на весь коридор:

– Что вы мне тут гоните?

Никто не отвечает. Макмерфи прошелся туда-сюда вдоль скамьи, теребя свои густые жесткие волосы. Он идет в конец очереди, разворачивается и подходит к рентгеновскому аппарату.

– Скажи, Билли, ради Христа, тебя-то наверняка определили?

Билли поворачивается к нам спиной, упирается подбородком в черный экран, привстав на цыпочки.

– Нет, – говорит он куда-то в машину.

– Тогда почему? Почему? Ты же молодой парень! Ты должен кататься в открытом авто, должен бегать за девчонками. А все это... – И он обводит вокруг себя руками. – Что тебе здесь делать?

Билли ничего не отвечает, и Макмерфи отворачивается от него к другой парочке.

– Скажите – почему? Вы жалуетесь, целыми неделями ноете, что вам здесь противно, что не можете выносить сестру и все, что с ней связано; оказывается – вас тут никто не держит! Я могу понять тех старых парней в отделении. Они – психи. Но вы.. Вы, конечно, не слишком похожи на людей, которых каждый день встретишь на улице, но вы не психи.

Они с ним не спорят. Макмерфи двинулся к Сефелту.

– Сефелт, а как насчет тебя? С тобой ведь все в порядке, просто у тебя бывают припадки. Черт, у меня был дядя, у которого были истерические припадки вдвое хуже, чем у тебя, и у него были видения – он даже дьявола видел во всех подробностях, – но он же не заперся в сумасшедшем доме! Ты мог бы так жить, только у тебя кишка тонка..

– Точно! – Это Билли, повернувшийся от экрана, с лицом, залитым слезами.
– Точно! – кричит он снова. – Если бы у н-н-нас не была к-к-кишка тонка! Я бы вышел отсюда сегодня же, если бы у меня духу хватило. Моя мать д-д-добрая подруга мисс Рэтчед, и мне бы сделали выписку сегодня же, еще до ужина, если бы у меня хватило духу! – Он сдергивает свою куртку со скамейки и пытается натянуть ее на себя, но у него сильно дрожат руки. В конце концов он отшвыривает ее и поворачивается к Макмерфи: – Ты д-д-думаешь, нам хочется оставаться здесь? Д-д-думаешь, я не хочу открытую м-м-машину и п-п-подружку? Но над т-т-тобой к-к-когда-нибудь смеялись люди? Нет, потому что ты т-т-такой большой и т-т-такой крутой! А я не большой и не крутой. И Хардинг тоже. И Фредериксон. И д-д-даже Сефелт. О черт, ты.. ты говоришь т-т-так, как будто нам здесь нравится! Черт, эт-то бесполезно объяснять..

Он плачет и заикается, и уже больше ничего не может сказать, вытирает глаза тыльной стороной руки, чтобы хоть что-то видеть. Один из засохших струпьев у него на руке содрался, он размазывает кровь по лицу и глазам. Наконец он уже ничего не видит и бросается по коридору с лицом, измазанным кровью, а за ним бежит черный парень.

Макмерфи поворачивается к остальным, открыл было рот, чтобы спросить что-то еще, и осекается на полуслове, видя, какони на него смотрят. Он стоит так минуту, их взгляды направлены на него – тусклые, словно заклепки; потом произносит «черт побери» внезапно ослабевшим голосом, натягивает на голову кепку, надвигает ее глубоко на глаза и возвращается на свое место на скамье. Двое техников уже выпили кофе и теперь возвращаются назад, в ту комнату; дверь распаивается, в воздухе пахнет кислотой, как бывает всегда, когда они перезаряжают батарею. Макмерфи сидит на скамье, глядя на дверь.

– Я просто не могу в это врубиться..

* * *

Обратно в отделение Макмерфи тащится в самом хвосте группы, засунув руки в карманы зеленой крутки, надвинув кепку как можно ниже на глаза и жуя незажженную сигарету. Все притихли. Билли они успокоили, он шагает во главе группы с черным парнем по одну руку и тем белым парнишкой из шокопа по другую.

Я начал отставать, пока не оказался рядом с Макмерфи. Я хотел сказать ему, чтобы он не мучился из-за всего этого, что все равно ничего нельзя

поделать, потому что видел, что он что-то задумал, какая-то мысль засела ему в голову – как пес кружит над норой, не зная, кто затаился внутри, и один голос говорит ему: пес, забудь об этой норе, тебе нет до нее дела – она слишком большая и слишком черная, и следы повсюду указывают на медведя или на кого еще хуже. А другой голос, похожий на хитрый шепот, голос самой его породы, не слишком приятный, слишком настойчивый, твердит: взятьего, пес, взятьего!

Я хотел сказать ему, чтобы он не мучился, и уже было раскрыл рот, когда он поднял голову, сдвинул кепку на затылок, быстро догнал черного парня, хлопнул его по плечу и спросил:

– Сэм, а не остановиться ли нам у буфета, чтобы я мог купить себе пачку-другую сигарет?

Мне пришлось пробежаться, и от этого мое сердце забилося так сильно, что его стук отозвался у меня в голове высоким, пронзительным звоном. Даже в буфете я все еще слышал этот звенящий, пульсирующий ритм у себя в голове, хотя сердце мое теперь билось вполне нормально. Этот звук напомнил мне о том, как я обычно чувствовал себя, стоя в пятницу вечером у края футбольного поля в ожидании первого удара по мячу и начала игры. Звон в голове становился все сильнее и сильнее, пока не начинало казаться, что я больше не устою на месте; а потом был удар по мячу, звон смолкал, и игра снова шла своим чередом. И сейчас я слышал тот же пятничный вечерний звон и ощущал то же дикое, дрожащее и нарастающее нетерпение. Мои чувства были обострены до предела, как это бывало перед игрой, как было совсем недавно, когда я смотрел в окно спальни; и все вокруг было таким ясным и резким, что я уже и позабыл, что так бывает. Зубная паста и шнурки, выложенные в линию, ряды солнечных очков и ряды шариковых ручек, на которых красовалась гарантия, что они способны писать на чем угодно и в любых условиях, и все это защищено от воров лупоглазым отрядом игрушечных медведей, сидящих над прилавком высоко на полке.

Макмерфи, топая, подошел к прилавку вместе со мной, засунул руку в карман и попросил дать ему пару блоков «Мальборо».

– Лучше три, – сказал он, улыбаясь во весь рот. – Собираюсь много курить.

Звон в голове в тот день не прекращался вплоть до собрания. Я слушал вполуха, как они обрабатывают Сефелта, пытаюсь заставить в полной мере осознать насущность его проблем, чтобы он мог к ним приспособиться («Это все дайлантин!» – в конце концов завопил он. «В данное время, мистер Сефелт, вы нуждаетесь в помощи, будьте же честны», – сказала она. «Но разве не дайлантин разрушает мои десны?» – «Джим, вам сорок пять лет...»), когда неожиданно поймал взгляд Макмерфи, сидевшего в углу. Он не вертел в руках карты и не смотрел в журнал, как обычно делал на всех собраниях в течение последних двух недель. И больше не сутулился. Сидел на стуле выпрямившись, с открытым и дерзким выражением лица и то и дело переводил взгляд с Сефелта на Большую Сестру. И пока я смотрел на него, звон в голове становился все громче. Его глаза – две синие полосы под светлыми бровями двигались туда-сюда, точно так же, когда он следил за картами, которые открывали за покерным столом. Я был уверен, что в любую минуту он может совершить какую-нибудь безумную выходку, после которой его точно отправят в буйное. Я видел такое же выражение на лицах других ребят, прежде чем они бросались на кого-нибудь из черных парней. Я вцепился в подлокотники стула и ждал, страшась того, что может случиться, и (я только-только начал это понимать), чуть-чуть того, что ничего не случится.

Он сидел молча и наблюдал, пока они не закончили с Сефелтом; потом повернулся вполборота и стал смотреть, как Фредериксон пытается

отыграться за то, что они насадили на вертел и поджарили его друга, устроив на несколько минут шум из-за сигарет, которые держат на сестринском посту. Фредериксон высказал все, что думает, потом вспыхнул, как всегда, извинился и сел на место. Макмерфи не сделал ни единого движения. Я слегка отпустил подлокотник стула, начиная думать, что, вероятно, ошибся.

До конца собрания оставалось всего пара минут. Большая Сестра собрала бумаги, положила их в корзину, спустила корзину на пол, а потом мельком посмотрела на Макмерфи, желая убедиться, что он не спит и слушает. Сложила руки на коленях, посмотрела на свои пальцы и глубоко вздохнула, качая головой.

— Мальчики, я долго думала над тем, что собираюсь сказать. Я обсуждала это с доктором и с остальным персоналом, и, как ни жаль, мы все пришли к общему выводу: должно быть определено какое-то наказание за безобразное отношение к обязанностям по уборке помещения три недели назад. — Она подняла голову и огляделась. — Мы долго ждали в надежде, что вы без посторонней помощи догадаетесь принести извинения за ту недисциплинированность. Но ни один из вас не выказал ни малейших признаков раскаяния. — Ее рука поднялась, чтобы предупредить любые возражения, которые могли быть высказаны, — движение гадалки по картам Таро. — Пожалуйста, поймите: мы никогда не навязываем определенных правил или ограничений без предварительных и весьма долгих размышлений насчет их терапевтической ценности. Большинство из вас находятся здесь потому, что вы не можете приспособиться к правилам общества во внешнем мире, пытаетесь обойти или избежать их. Когда-то, может быть в детстве, вам, вероятно, позволяли безнаказанно пренебрегать ими. И когда вы нарушали правило, знали, что последует наказание, но оно не приходило. Эта глупая снисходительность со стороны ваших родителей, возможно, и была тем эмбрионом, который впоследствии развился в вашу сегодняшнюю болезнь. Я говорю вам об этом в надежде, что вы поймете: когда мы устанавливаем в отделении дисциплину и порядок, это — исключительно для вашего блага. — Она повернула голову и обвела глазами комнату. На лице она изобразила сожаление о том, какую работу ей приходится выполнять.

Было мертвенно тихо, только у меня в голове стоял горячечный, исступленный звон.

— В подобных условиях поддерживать дисциплину довольно трудно. Вы должны это понимать. Что мы можем с вами сделать? Вас нельзя арестовать. Вас нельзя посадить на хлеб и воду. Вы прекрасно видите, что персоналу нелегко. Что мы, можемсделать?

У Ракли была кое-какая идея, что можно сделать, но она не обратила на него внимания. Раздалось тиканье, лицо ее задвигалось, приняло совершенно другое выражение. Наконец она ответила на свой собственный вопрос:

— Нам придется лишить вас какой-нибудь привилегии. Внимательно изучив обстоятельства имевшего место возмущения, мы решили, что будет совершенно справедливо лишить вас привилегии пользоваться ванной комнатой, которую вы используете для игры в карты. Разве это несправедливо?

Ее голова не двинулась. Она ни на кого не смотрела. Но — один за другим — все взгляды обратились к нему, сидящему в своем углу на стуле. Даже старые Хроники, не могущие взять в толк, с чего это все уставились в одном направлении, вытянули тощие шеи, словно птицы, и повернулись, чтобы видеть Макмерфи, — все лица были обращены к нему, полные неприкрытой, испуганной надежды.

В моей голове звучала единственная высокая нота, словно шины мчались по асфальту на страшной скорости.

Он сидел на стуле очень прямо, лениво почесывая на носу большим красным пальцем шрамы от швов. Он улыбнулся всем, кто смотрел на него, взял кепку за козырек и вежливо приподнял ее, а потом посмотрел на Большую Сестру.

— Итак, если мы не собираемся дискутировать по поводу нового правила, я полагаю, что час уже прошел... — Она замолчала и теперь уже сама посмотрела на него.

Он пожал плечами, шлепнул руками по коленям и рывком поднялся со стула. Потянулся, зевнул, снова почесал нос и двинулся через дневную комнату в сторону сестринского поста, где она сидела, подтягивая на ходу большими пальцами штаны пижамы. Я увидел это слишком поздно, чтобы удержать его от глупостей, что бы там ни было у него на уме, и потому только смотрел, как и все остальные. Макмерфи шел широким шагом, чересчур широким, большие пальцы он снова сунул в карманы куртки. Железные набойки на каблуках выбивали молнии, звеня о кафель. Он снова был лесорубом, хвастливым шулером, здоровенным рыжеволосым скандальным ирландцем, ковбоем из телика, выходящим на середину улицы, чтобы принять вызов.

Макмерфи подходил все ближе, и глаза Большой Сестры вылезли из орбит и побелели. Она не рассчитывала на ответный ход. Полагала, что это будет ее полная и окончательная победа над ним, думала, что он примет ее правила игры — раз и навсегда. Но вот он идет прямо на нее, огромный, словно дом!

Она попыталась было что-то выдать из своего кукольного ротика и обернулась в поисках черных ребят, но Макмерфи остановился, не доходя до нее. Он остановился напротив ее окна и сказал медленным, низким голосом, что ему хотелось бы получить одну пачку сигарет, которые он купил сегодня утром, после чего его кулак врезался в стекло.

Стекло разлетелось на мелкие части, словно это были водяные брызги, а Большая Сестра закрыла уши руками. Он дотянулся до блока сигарет со своим именем, вытащил из него пачку, затем положил обратно и повернулся к Большой Сестре, похожей на меловую статую, и очень нежно принялся стряхивать серебряные осколки стекла с ее шапочки и плеч.

— Мне очень жаль, мадам, — сказал он. — Какой я неловкий. Стекло в окне прямо-таки безупречно чистое, так что я совсем про него забыл.

Это заняло всего пару секунд. Он повернулся и оставил ее сидеть с дергающимся и расплзающимся лицом, прошел через дневную комнату к своему стулу, на ходу зажигая сигарету.

Звон в моей голове прекратился.

Часть третья

После этого Макмерфи довольно долго вел себя как ему заблагорассудится. Большая Сестра собиралась с силами и выжидала, пока ее не осенит какая-нибудь новая идея, которая позволит ей снова взять верх. Она знала, что проиграла один раунд и проигрывает второй, но нисколько не торопилась. Во

всяком случае, она не собиралась рекомендовать данного пациента к выписке; и игра могла продолжаться так долго, как она того захочет. До тех пор, пока соперник не сделает ошибку, или просто не сдастся, или пока она не сумеет выработать и применить новую тактику, которая снова поднимет ее в глазах окружающих на недостижимую высоту.

Много чего случилось, как она пустила в ход новую тактику. После того как Макмерфи вернулся к жизни, как бы это выразиться, после непродолжительной отставки, и продемонстрировал, что готов драться дальше, выбив ее личное окно, жизнь в отделении, определенно, стала намного интереснее. Он принимал деятельное участие в каждом собрании, каждом обсуждении – растягивая слова, подмигивая, выдавая свои лучшие шутки, заставляя отзываться на них жидким смехом даже тех немногих Острых, которые боялись улыбаться с тех самых пор, как им исполнилось двенадцать. Он собрал достаточно ребят, чтобы составить баскетбольную команду, и даже каким-то образом уговорил доктора разрешить им принести в отделение мяч из гимнастического зала, чтобы команда научилась с ним обращаться. Большая Сестра возражала, заявив, что дело кончится тем, что они начнут играть в футбол в дневной комнате и в поло – в коридоре, но доктор впервые проявил твердость и настоял, чтобы разрешение было дано.

– Большинство игроков, мисс Рэтчед, демонстрируют несомненный прогресс с тех самых пор, как была организована баскетбольная команда; я думаю, что ее терапевтическая ценность уже доказана.

Она некоторое время в изумлении смотрела на него. Судя по всему, он тоже в какой-то мере вышел из-под контроля. Она отметила на будущее, каким тоном он с ней разговаривает, чтобы припомнить ему это, когда снова придет ее время, а сейчас только кивнула в ответ и снова уселась на свое место на сестринском посту и принялась колдовать над тумблерами своего оборудования. Рабочие вставили в раму над ее столом картонку – до тех пор, пока не вырежут подходящее по размеру стекло, и она сидела за этой картонкой целый день – так, словно ее и не было, так, будто она до сих пор может видеть все, что происходит в дневной комнате. За этой квадратной картонкой она выглядела словно картина, повернутая лицом к стене.

Она выжидала, без всяких комментариев, а Макмерфи тем временем продолжал разгуливать по утрам по коридору в трусах с белыми китами, или бросал монетки в спальни, или носился туда-сюда по коридору, дуя в никелированный судейский свисток, обучая Острых добегать с мячом от двери отделения до изолятора в другом конце коридора, и мяч гулко стучал по коридору, словно гремела канонада, а Макмерфи ревел, словно сержант:

– Двигайтесь, мать вашу, быстрее!

Когда они разговаривали друг с другом, были сама вежливость. Он просил дать ему свою чернильную ручку, чтобы написать из больницы просьбу в Общество содействия осужденным, писал прямо у нее на столе и вручал ей просьбу и одновременно ручку с задушевным «благодарю вас». Она брала и то и другое и произносила вежливо, как только умела, что ей «нужно посоветоваться с врачом» – это занимало около трех минут, – и возвращалась сообщить ему, что, разумеется, очень сожалеет, но в настоящее время передать подобную просьбу считается терапевтически нецелесообразным. Он снова благодарил ее и отходил от сестринского поста, и дул в свисток с такой силой, что от его звука могли бы вылететь окна на несколько миль вокруг, и вопил:

– Действуйте, мать вашу, хватайте мяч и дайте ему немного попрыгать!

Он пробыл в отделении месяц, достаточно долго для того, чтобы на доске объявлений появилась его фамилия в списке тех, чьи кандидатуры обсуждались на собрании группы в отношении прогулки в сопровождении. Он подошел к доске объявлений с ее чернильной ручкой и рядом с графой «В сопровождении...» написал: «Куколки по имени Кэнди Старр, которую я знаю по Портленду» – и сломал кончик пера, поставив жирную точку. Данная просьба была вынесена на обсуждение группы несколькими днями позже – в тот самый день, когда рабочие вставили новое стекло перед столом Большой Сестры, и после того, как его просьба была отклонена, «поскольку мисс Старр не кажется нам подходящей кандидатурой для сопровождения пациента». Макмерфи только пожал плечами и сказал, что хотелось бы ему посмотреть, как бы она запрыгала, встал и подошел к сестринскому посту, к окну, на котором все еще красовалась наклейка поставяющей стекла компании, и снова выбил его кулаком, объяснив Большой Сестре, пока кровь текла по его пальцам, что он думал, будто картонку сняли и рама пуста.

– Когда они успели всунуть туда это чертово стекло? Эта штука просто опасна!

Большая Сестра заклеивала ему руку на сестринском посту, пока Скэнлон и Хардинг вытаскивали картонку из кладовой и снова прилаживали ее к раме, используя пластырь из того же рулона, каким Большая Сестра обматывала кулаки и пальцы Макмерфи. Макмерфи сидел на стуле, гримасничая и изображая, что ему ужасно больно, когда ему обрабатывают порезы, и подмигивая Скэнлону и Хардингу через голову Большой Сестры. Выражение ее лица было отсутствующим и спокойным, словно оно было сделано из эмали, но напряжение все-таки находило себе выход. По тому, как резко и нервно она рвала пластырь, можно было догадаться, что ее долготерпение когда-нибудь кончится.

Мы ходили в спортзал и смотрели, как наша баскетбольная команда – Хардинг, Билли Биббит, Скэнлон, Фредериксон, Мартини и Макмерфи, который снова стал в строй, как только его рука перестала кровоточить, – играет с командой санитаров. Двое наших больших черных парней были за санитаров. Они были лучшими игроками на площадке, носились туда-сюда по залу, словно пара теней, в красных спортивных трусах, забивая мяч за мячом с механической точностью. Наша команда была слишком низкорослой и чересчур медлительной, и Мартини все время передавал пасы человеку, которого никто, кроме него, не видел, так что санитары громили нас со счетом двенадцать – ноль. И тем не менее, однажды произошло что-то такое, что заставило нас почувствовать себя победителями: в одной из драк за мяч наш здоровенный черный парень по имени Вашингтон получил от кого-то локтем по носу, его пришлось удалить с поля. Он тарашился на Макмерфи, не обращая никакого внимания на пострадавшего, и вопил ребятам, которые оттаскивали его с поля:

– Он еще об этом пожалеет! Этот сукин сын еще попросит прощения!

Макмерфи снова писал Большой Сестре записки насчет проверок в уборной с этим ее зеркалом. Он сочинял о себе длинные диковинные истории в амбарной книге и подписывал их – Онан. Иногда он спал до восьми часов. И ей приходилось выговаривать ему, очень вежливо, и он вставал и слушал, пока она не закончит, а потом портил впечатление от ее речи, спрашивая, какой размер бюстгалтера она носит, В или С, дескать, его это всегда интересовало, или, может быть, она вообще его не носит?

Острые потихоньку начали ему подражать. Хардинг принялся флиртовать со всеми медсестрами-практикантками, Билли Биббит вообще перестал записывать в амбарную книгу свои «наблюдения», а когда окно починили снова, нарисовав побелкой букву «Х», чтобы у Макмерфи больше не было отговорок, что он не знал про стекло, Скэнлон его разбил, нечаянно запустив в него

баскетбольный мяч, прежде чем «Х» успела высохнуть. Мяч прокололся, Мартини поднял его с пола, словно мертвую птицу, и отнес к Большой Сестре на пост – она сидела, глядя на новую грудку осколков, покрывающих ее стол, – и спросил, не могла бы она заклеить его скотчем или чем-нибудь еще? Чтобы им снова можно было играть. Не говоря ни слова, она вырвала мяч у Мартини из рук и забросила его в кладовку.

Поскольку баскетбольный сезон, видимо, закончился, Макмерфи решил, что теперь пришел черед рыбалки. Он написал заявку еще на одну прогулку – после того, как сообщил доктору, что у него есть кое-какие друзья в бухте Сиуслоу во Флоренции, которые были бы рады пригласить восемь или девять человек на глубоководную рыбалку, если персонал не будет возражать. В списке заявок, висящем в коридоре, он написал, что его будут сопровождать «две хорошенькие старые тетушки из маленького местечка под Орегоном». На собрании было решено, что эту прогулку он получит в следующие выходные. После того как Большая Сестра не нашла в амбарной книге ничего, что можно было бы представить как официальную причину отказа, она потянулась к плетеной корзине, стоящей у ее ног, и вытащила вырезку из сегодняшней утренней газеты. После чего прочитала вслух, что пик рыбной ловли у побережья Орегона год на год не приходится, что лосось в этом сезоне запаздывает и что море – бурное и опасное. И она предложила пациентам хорошенько над этим поразмыслить.

– Прекрасная мысль, – сказал Макмерфи. Он закрыл глаза и втянул сквозь зубы побольше воздуха. – Да, сэр! Соленый ветер, волны бурлят и бьются о нос корабля – это то, что придает храбрости, то, где мужчина становится мужчиной, а лодка – лодкой... Мисс Рэтчед, вы меня уговорили. Я позвоню и закажу лодку сегодня же вечером. Вас записать?

Вместо ответа, она подошла к доске объявлений и прикрепилла кнопками вырезку из газеты.

На следующий день он начал записывать желающих и собирать по десять баксов за прокат лодки, а Большая Сестра приносила из дому все больше записок из газет, в которых говорилось о потерпевших крушение лодках и неожиданных штормах на побережье. Макмерфи плевать хотел на нее и на ее газеты и заявлял, что две его тетушки провели большую часть жизни, мотаясь по волнам от одного порта к другому то с одним моряком, то с другим, и обе они гарантируют, что поездка будет безопасной и приятной, сладкой, словно пирожное, и беспокоиться вообще не о чем. Но Большая Сестра знала своих пациентов. Газетные вырезки напугали их больше, чем предполагал Макмерфи. Он думал, что они тут же рванут записываться, но ему пришлось не один день уговаривать и обхаживать парней, чтобы они согласились на его предложение. За день до поездки ему все еще не хватало двух добровольцев, чтобы оплатить лодку.

У меня не было денег, но мне очень хотелось внести свое имя в список. И чем больше он говорил, как ловят чинукского лосося, тем больше мне хотелось поехать. Я знал: было глупо этого хотеть; записаться – значит сообщить всем и каждому, что я не глухой. Если бы я показал, что слышу эти разговоры о лодках и рыбалке, я бы выдал, что слышал и все остальное за последние десять лет. А если Большая Сестра об этом узнает, если она поймет, что я слышал обо всех ее коварных и вероломных планах, она начнет за мной охоту, она распилит меня электрической пилой и загонит туда, где я действительно стану глух и нем. То, что мне хочется поехать, – плохо, и все же я слегка улыбался при мысли об этом: я должен притворяться глухим, если хочу вообще хоть что-то слышать.

В ночь перед поездкой на рыбалку я лежал в постели и думал обо всем этом: о своей глухоте, как долгие годы не давал им повода догадаться, что я слышу их разговоры и смогу ли когда-нибудь вести себя по-другому. Но я помнил одно: не я первым начал прикидываться глухим; люди первыми начали вести себя так, будто я слишком тупой, чтобы слышать, или видеть, или сказать хоть что-то.

Это началось раньше, чем я попал в больницу: задолго до этого люди начали вести себя так, будто я ничего не слышу и ничего не могу сказать. В армии любой человек, у которого было больше нашивков, обращался со мной точно так же. Они считали, что с человеком вроде меня надо вести себя подобным образом. И даже еще в школе люди говорили, что я их не слушаю, и потому перестали слушать, что я говорил им в ответ. Я лежал в кровати и пытался вспомнить, когда впервые это заметил. Думаю, когда мы еще жили в деревне в Колумбии. Это было летом...

..Мне десять лет, я сижу перед хижинкой и посыпаю солью лосось, чтобы потом его завялить, вдруг вижу, как с шоссе сворачивает автомобиль и движется ко мне через поле шалфея, а за ним поднимается шлейф красной пыли, тяжелый и длинный, словно несколько товарных вагонов.

Смотрю, как автомобиль поднялся на холм и затормозил неподалеку от нашего двора, пыль все еще стоит в воздухе, разлетается во всех направлениях и в конце концов оседает на шалфей и полынь и делает их похожими на красные, дымящиеся обломки, словно после аварии. Автомобиль тоже весь в пыли. Я знаю, это не туристы с фотоаппаратами, потому что они никогда не подъезжают так близко к деревне. Если они хотят купить рыбу, они покупают ее там, на шоссе; к деревне не приближаются, думают, что мы все еще снимаем скальпы, а людей сжигаем у столба. Они не знают, что некоторые из наших работают в Портленде адвокатами, и вряд ли поверили, если бы им сказали. На самом деле один из моих дядюшек стал настоящим юристом, и сделал это, говорит папа, только для того, чтобы доказать, хотя сам предпочел бы гарпунить лосося в водопаде. Папа говорит, если не держать ухо востро, люди заставят тебя делать то, что им надо, или вынудят тебя стать упрямым, словно мул, и делать все наоборот.

Двери автомобиля открываются все сразу, и оттуда выходят трое: двое спереди, один сзади. Они карабкаются по склону в направлении нашей деревни. Первые двое – мужчины в синих пиджаках, а тот, что за ними, – седая женщина, одетая во что-то тяжелое и плотное, как боевые латы. Вылезают из шалфея на расчищенный двор, потные и запыхавшиеся.

Первый из мужчин останавливается и оглядывает деревню. Он низенький, круглый и на голове у него белая стетсоновская шляпа. Качает головой, глядя на шаткие нагромождения сушилок для рыбы, подержанные автомобили, курятники, мотоциклы и на собак.

– Вы за всю свою жизнь видели что-либо подобное? Видите теперь? Небесами клянусь, вы видите? – Он стягивает шляпу и вытирает красный резиновый мячик своей лысины носовым платком. – Можете ли вы себе представить, чтобы люди хотели жить вот так? Скажи мне, Джон, можешь ли ты себе представить? – Он говорит громко, считая, что за грохотом водопада его не слышно.

Джон стоит рядом с ним, у него густые серые усы, в которые он прячет нос, чтобы не чувствовать запаха моего лосося. Лицо и шея блестят от пота, видно, что и спина под синим пиджаком тоже вся мокрая. Он делает пометки в своем блокноте, все поворачивается, глядя на нашу хижину, на наш маленький сад, на мамины красные, зеленые и желтые платья, сохнувшие на веревке. Он все поворачивается, пока не делает полный круг, смотрит на меня так, будто видит в первый раз, а я сижу всего в двух футах от него. Он наклоняется

надо мной и прищуривается, и снова зарывается носом в усы, словно воняю я, а не моя рыба.

— Как вы думаете, где его родители? — спрашивает Джон. — Там, в доме? Или на водопаде? Мы можем сразу же обсудить все это с ним, когда он выйдет.

— Я не полезу в эту нору, — говорит толстый парень.

— Эта нора Брикенридж, — произносит Джон сквозь усы, — место, где живет вождь, человек, к которому мы приехали, чтобы вести с ним дела, благородный предводитель этих людей.

— Вести с ним дела? Нет, эта работа не по мне. Мне платят за оценку, а не за братание.

Это вызывает у Джона смех.

— Да, это правда. Но кто-то должен проинформировать их о планах правительства.

— Если они еще не знают, то скоро узнают.

— Нет ничего проще — войди и поговори с ним.

— Внутри этого убожества? Ну что ж, готов с тобой поспорить на что угодно — это место кишит ядовитыми пауками. Говорят, глинобитные лачуги всегда предшествуют нормальной цивилизации — уже в стенах, но еще среди «черных вдов». И жара, Господь милосердный, я хочу, чтобы вы меня поняли. Держу пари, что там — настоящая духовка. И посмотрите, как пережарен наш маленький Гайавата. Сожжен вчистую, вот так.

Он смеется и прикладывает платок к голове, женщина смотрит на него, и он перестает смеяться. Откашливается, сплевывает в пыль, а потом проходит вперед и садится на качели, которые папа подвесил для меня на можжевельнике, и сидит там, покачиваясь туда-сюда, и обмахивается стетсоновской шляпой.

Его слова привели меня в ярость — я злюсь сильнее, чем когда-либо. Они с Джоном продолжают обсуждать наш дом и деревню, и наше имущество, и сколько оно может стоить, и я вдруг понимаю, что они обсуждают все это прямо при мне, думая, что я не говорю по-английски. Возможно, они откуда-нибудь с Востока, где люди ничего не знают об индейцах, кроме как из фильмов. Им, наверное, будет стыдно, когда они узнают, что я понял их разговор.

Я даю им возможность еще немного поговорить о жаре и о доме; потом встаю и говорю толстяку на правильном английском, как в школе, что наш глинобитный дом, по моему мнению, прохладнее, чем любой другой дом в городе, многопрохладнее!

— Я точно знаю, что в нем прохладнее, чем школе, в которую я хожу, и даже прохладнее, чем в кинотеатре в Дэлз, на котором красуется реклама, вроде как из ледяных букв — «Вечная прохлада»!

Уже готов сказать им, что, если они войдут в дом, я сбегая и приведу папу, когда замечаю, что они, похоже, вообще меня не слышат. Они на меня даже не смотрят. Толстяк все качается туда-сюда, глядя на гребень застывшей лавы, где наши мужчины стоят под водопадом, — с этого расстояния можно различить просто фигурки в клетчатых рубашках, растворяющиеся в тумане. То и дело кто-нибудь выбрасывает вперед руку и делает шаг, словно фехтовальщик, а потом передает пятнадцатифутовое

раздвоенное копье тому, кто стоит на лесах над ним, чтобы с него сняли бьющегося лосося. Толстяк смотрит, как мужчины стоят на своих местах вдоль пятифутового покрывала воды, и моргает, и похрюкивает всякий раз, как один из них делает выпад за лососем.

Двое других, Джон и женщина, просто стоят рядом. Ни один из них и виду не подал, что услышал меня; они даже смотрят мимо, как будто меня вообще здесь нет.

Все останавливается и замирает так на минуту.

У меня появляется странное чувство, что солнце стало ярче и обрушило на этих троих свою мощь. Все вокруг выглядит как обычно – куры возятся в траве на крышах глинобитных домов, кузнечики прыгают с куста на куст, мухи собираются в черные облачка вокруг сушилок для рыбы, и их прогоняют дети, размахивая вениками из шалфея, – все как в любой другой летний день. Кроме солнца, освещающего трех чужаков; оно неожиданно стало ярче, и я вижу... швы, которые соединяют их вместе. И еще я вижу, как аппараты у них внутри принимают мои слова и пытаются приспособить их то тут, то там, а когда видят, что нигде нет подходящего места, отбрасывают их в сторону, будто они никогда не были произнесены.

Все трое стоят как каменные, пока все это творится у меня на глазах. Даже качели остановились, пригвожденные солнцем к земле, с толстяком, застывшим на них, словно резиновая кукла. А потом папина гвинейская насадка выходит из можжевельных ветвей и видит, что у нас во дворе незнакомцы, и принимается лаять на них, словно собака, и приступ проходит.

Толстяк вскрикивает, спрыгивает с качелей и боком-боком движется по двору, вздымая пыль, прикрываясь от палящего солнца шляпой так, чтобы видеть, что там в ветвях можжевельного дерева послужило причиной такого безобразия. Увидев, что там ничего нет, кроме пестрой курицы, он плюет на землю и снова натягивает шляпу.

– Лично я полагаю, – говорит он, – что бы мы им за все это ни предложили... в столице останутся довольны.

– Возможно. И все же мы должны поговорить с вождем..

Пожилая женщина прерывает их беседу, тяжело шагнув вперед.

– Нет. – Это первое слово, которое она произносит. – Нет, – повторяет она снова, и ее тон напоминает мне о Большой Сестре. Она поднимает брови и оглядывается. Ее глаза дергаются, словно цифры в кассовом аппарате, она смотрит на мамины платья, аккуратно развешанные на веревке, и кивает. – Нет. Мы не будем говорить с вождем сегодня. Пока нет. Я думаю... что согласна с Брикенриджем в одном. Но только по другой причине. Вы помните запись, из которой видно, что жена вождя не индианка, а белая? Белая. Женщина из города. Ее фамилия Бромден. Он взял ее фамилию, не свою. О да, я полагаю, что, если мы сейчас уедем, вернемся в город и расскажем его жителям о планах правительства, чтобы они поняли, какие преимущества даст им гидроэлектростанция и озеро вместо кучки лачуг у водопада, а только потом напечатаем наше предложение и пошлем его жене вождя, как бы по ошибке... это намного упростит нашу задачу. – Она взглядом показывает на древние, зигзагообразные леса, которые вздымаются и нависают над водопадом уже сотни лет. – Если мы сейчас встретимся с мужем и сделаем ему неожиданное предложение, он, вероятно, начнет упорствовать и сопротивляться, как какой-то навахо из-за так называемой любви к родным краям.

Я хочу сказать им, что мой отец ненавахо, но потом понимаю: какой в этом толк, если они все равно не слушают? Им нет дела до того, к какому племени он принадлежит.

Женщина улыбается и кивает обоим мужчинам, каждому в отдельности, и ее взгляд для них словно звонок, и с непреклонным видом идет к машине, говоря бодрым и молодым голосом:

— Как подчеркивал мой профессор социологии, в каждой ситуации имеется одна личность, силу которой не следует недооценивать.

И они садятся в машину и уезжают, а я стою и гадаю, видели ли они меня вообще.

Я сильно удивился, что вспомнил это. Слишком долго не мог вспомнить хоть что-то из своего детства. И меня привело в восторг открытие, что я все еще могу это сделать. Я лежал в кровати без сна, вспоминая и другие случаи из моей прошлой жизни, и как раз в то время, когда я уже наполовину задремал, услышал у себя под кроватью звук — словно мышь грызет орех. Я наклонился и увидел блеск металла, откусывающего кусочки моей жевательной резинки. Черный парень по имени Гивер нашел, где я прячу свою жвачку; он откусывал ее по кусочку и складывал в пакет при помощи длинных кривых ножниц, которые открывались словно челюсти.

Я скользнул назад под простыни, пока он не увидел, что я подглядываю. Сердце колотилось, его стук отдавался в ушах — я испугался, что он меня увидел. Мне хотелось сказать, чтобы он убирался, чтобы занимался своим делом и оставил мою жвачку в покое, но я должен был притвориться, что не слышу его. Я ждал, что вот сейчас он поймает меня на том, что я, согнувшись, подсматриваю за ним со своей кровати, но, похоже, он был слишком занят — все, что я слышал, был металлический звук его ножниц и шорох жвачки, падающей в пакет, он напоминал мне о граде, который колотит по толевой крыше. Он щелкал языком и тихонько хихикал сам с собой.

— Гмм. Господи Боже всемогущий. Хи-хи. Хотел бы я знать, сколько раз этот олух жевал их? Такие твердые.

Макмерфи услышал бормотание черного парня, проснулся и приподнялся на локте, чтобы посмотреть, что тот делает у меня под кроватью, да еще так поздно. С минуту он смотрел на черного парня, протирая глаза, как маленький ребенок, чтобы убедиться, что все это ему не чудится, потом сел, наконец осознав, в чем дело.

— Будь я сукин сын, если этот парень не шастает здесь в полдвенадцатого ночи и пердит тут в темноте с парой ножниц и бумажным пакетом.

Черный парень подпрыгнул и направил свой фонарик в глаза Макмерфи.

— А теперь скажи мне, Сэм, какого черта ты тут собираешь всякое дерьмо, да еще ночью? Что, днем это сделать было нельзя?

— Можешь спать дальше, Макмерфи. Это никого не касается.

Макмерфи ухмыльнулся, но от света не заслонился. Черный парень светил на него примерно полминуты, разглядывая блестящий свежий шрам, блестящие зубы и пантеру, вытатуированную у него на плече. В конце концов он смутился и отвел фонарик, вернулся к своей работе, хрюкая и пыхтя, словно высматривать засохшую жвачку требовало невероятных усилий.

— Одна из обязанностей ночной смены, — объяснил он кряхтя, стараясь говорить как можно дружелюбнее, — держать спальни в чистоте.

— Во мраке ночи?

— Макмерфи, все это отпечатано в перечне работ, и там сказано: уборка — круглосуточно!

— Не кажется ли тебе, что свои круглосуточные обязанности ты мог бы исполнять до того, как мы уляжемся, а не пялиться в телик до половины одиннадцатого? Интересно, старая леди Рэтчед знает о том, что большую часть своей смены ты смотришь телевизор? Как ты думаешь, что она сделает, если узнает об этом?

Черный парень поднялся и уселся на край моей кровати. Он приставил фонарик к зубам, ухмыляясь и хихикая. Свет разливался по его лицу, делая его похожим на кувшин со свечкой внутри.

— Так и быть, расскажу тебе про эту жвачку, — сказал он и придвинулся поближе к Макмерфи, словно старый друг. — Понимаешь, не первый год я пытаюсь понять, где Вождь Бромден берет жвачку — у него нет денег, чтобы ходить в буфет, и я никогда не видел, чтобы кто-нибудь дал ему хоть пластинку, и он никогда ничего не просит у леди из Красного Креста — я наблюдали ждал. И вот, посмотри. — Он снова опустился на колени и приподнял край моего покрывала и осветил кровать фонариком. — Как тебе это нравится? Готов поспорить, что эти куски жвачки он жевал тысячураз!

Это развеселило Макмерфи. Он смотрел и хихикал над тем, что видит. Черный парень поднял пакет и потряс его, и они еще немного посмеялись. Пожелав Макмерфи спокойной ночи, он сложил верхушку пакета так, словно это был его ленч, и ушел, чтобы спрятать его.

— Вождь? — прошептал Макмерфи. — Скажи мне кое-что. — И он начал напевать одну песенку, на мотив народной, популярной много лет назад: — «Теряет ли Сперминт свой вкус под кроватью, теряет или нет?»

Первый раз за все время я обозлился по-настоящему. Я думал, что он смеется надо мной, как все другие люди.

— «Когда ты жуешь ее утром, — шепотом напевал он, — не слишком она тверда? Не слишком, не слишком, скажи мне: нет или да?»

Но чем больше я об этом думал, тем смешнее мне становилось. Я сдерживал себя — думал, что вот-вот расхохочусь. Не над тем, что пел Макмерфи, а над собой.

— «Это меня тревожит, кто же мне даст ответ, теряет ли Сперминт свой вкус под кро-о-оватью, так теряет или не-е-е-т?» — Он протянул последнюю ноту, и она закрутилась вокруг меня, словно перышко.

Я не мог удержаться, чтобы не закашляться, и тут же испугался, что сейчас я рассмеюсь и уже не смогу остановиться. Но Макмерфи тут же вскочил с кровати и принялся рыться в своей тумбочке, и я затих. Я стиснул зубы, думая, что же теперь делать. Много-много лет никто не слышал от меня ничего, кроме мычания или хрюканья. Он закрыл тумбочку, и эхо разнеслось по спальне, словно это была дверца парового котла. Потом что-то упало мне на кровать. Маленькое. Размером с ящерицу или змейку.

— «Джуси фрукт» — единственное, что я могу предложить тебе в данный момент, Вождь. Эту пачку я выиграл у Скэнлона в сотки. — И он снова лег в кровать.

И прежде чем я успел понять, что я делаю, ответил ему:

– Спасибо.

Сначала он ничего не сказал. Только поднялся на локте, глядя на меня, как смотрел на черного парня, ожидая, когда я скажу что-нибудь еще. Я поднял пачку жвачки с покрывала, взял ее в руку и снова сказал ему:

– Спасибо.

Это прозвучало не особенно выразительно, потому что в горле у меня пересохло, а язык потрескался. Он сказал, что мне не хватает языковой практики, и рассмеялся. Я попробовал смеяться вместе с ним, но у меня получился какой-то птичий клекот, словно курица пытается каркать. Это больше было похоже на плач, чем на смех.

Макмерфи сказал мне, чтобы я не торопился, и если желаю попрактиковаться, то у него полно времени – до шести тридцати утра. Потом добавил, что человек, так долго молчавший, наверняка хочет много чего сказать, а потом улегся на подушку и стал ждать. Минуту я думал, что бы такое сказать ему, но единственное, что приходило в голову, были такие вещи, которые ни один мужчина не может сказать другому, потому что, облаченные в слова, они звучат фальшиво. Увидев, что я ничего не могу из себя выдать, скрестил руки за головой и начал говорить сам.

– Знаешь, Вождь, мне вспомнилось, как я работал в долине Уилльямлет – собирал бобы недалеко от Эужена и считал, что мне, черт возьми, страшно повезло. Это было в начале тридцатых, так что немногие мальчишки могли себе что-нибудь найти. Я получил эту работу, потому что доказал бобовому начальнику, что могу собирать так же быстро и чисто, как и любой взрослый. Я был единственным ребенком в рядах сборщиков. Вокруг одни взрослые. Раз или два попытался заговорить с ними, но понял, что они меня не слушают – для них я был просто маленький тощий рыжий оборванец. И тогда я заткнулся. Был настолько зол на них, что молчал все четыре недели, пока мы убрали поле, работа наравне, рядом с ними, слушая, как они болтают то о дядюшке, то о кузине. А если видели, что кто-то не справляется с работой, сплетничали про него. Четыре недели, и я ни разу даже не пискнул. Пока не решил, что они забыли о том, что я мог говорить, старые ублюдки. Я терпел. А в последний день рассказал им, какие они все жалкие вонючки. Я рассказал каждому из них, как его же приятель стучит на него начальству, когда его рядом нет. Фу-у-х, вот теперь-то они меня слушали! В конце концов они начали ругаться друг с другом и устроили такую потасовку, что я потерял свою премию – четверть цента за фунт, – которую должен был получить за то, что не пропустил ни одного рабочего дня, потому что у меня в городе и так была неважная репутация, а бобовый начальник заявил, что случившиеся беспорядки – полностью моя вина, даже если он и не берет это доказать. Ну я и его тоже послал. Мой длинный язык в тот раз обошелся мне долларом в двадцать. Но оно того стоило. – Он посмеялся еще, вспоминая ту историю, а потом повернул на подушке голову и посмотрел на меня. – Вот что я хотел бы знать, Вождь: ты целый день делаешь все, что тебе говорят, потому что решил стелиться под них?

– Нет, – ответил я. – Я просто не могу.

– Не можешь их послать? Это легче, чем ты думаешь.

– Ты... ты намного больше и сильнее меня, – промямлил я.

– Как это? Я не понимаю тебя, Вождь.

Я попытался сглотнуть немного слюны.

— Ты больше и сильнее, чем я. Ты можешь это сделать.

— Я? Да ты шутишь? Посмотри на себя: ты ведь на голову выше любого мужчины в отделении. Да тут нет ни одного, кто мог бы с тобой совладать, это же факт!

— Нет. Я сейчас слишком мал. Когда-то я был большим, но теперь — нет. Ты в два раза больше меня.

— Эй, парень, да ты что, с ума сошел? Когда я попал сюда, первым делом увидел тебя, огромного, словно гора. Я жил повсюду — в Кламахе, в Техасе, в Оклахоме и под Гэллопом, и, уверяю тебя, ты — самый большой индеец, какого я когда-либо видел.

— Я из Колумбийского ущелья, — сказал я, и он ждал, пока я продолжу. — Мой папа был главный вождь, и его звали Ти А Миллатуна. Это значит Самая Высокая Сосна На Горе, но мы не жили на горе. Когда я был мальчишкой, он был по-настоящему большим. Теперь мать в два раза больше его.

— Твоя мать, должно быть, настоящий лось. Она очень большая?

— О, большая, большая.

— Я хочу сказать, какого она роста?

— Какого роста? Парень тогда на ярмарке посмотрел на нее и сказал: больше пяти футов, а вес — сто тридцать фунтов, но это только на глаз. Она становилась все больше и больше.

— Да? Насколько больше?

— Больше чем папа и я, вместе взятые.

— В один прекрасный день взять и вырасти, а? Ну, это для меня что-то новенькое: никогда не слышал, чтобы с индианками такое бывало.

— Она не была индианкой. Она была городская.

— И как ее звали? Бромден? Ну да, я понял, подожди минутку. — Он немного подумал и сказал: — А когда городская девушка выходит замуж за индейца, это для нее что-то вроде мезальянса, разве не так? Да, думаю, что понял.

— Нет. Это не из-за нее он стал таким маленьким. Все обрабатывали его, потому что он был большой, не сдавался и делал как он считает нужным. Все обрабатывали его, как теперь обрабатывают тебя.

— Кто все, Вождь? — мягко спросил он, сразу став серьезным.

— Комбинат. Они обрабатывали его много лет. Он был достаточно большим, чтобы какое-то время бороться. Они хотели, чтобы мы жили в домах под присмотром. Они хотели забрать водопад. Они даже в племени его обрабатывали. Один раз в городе они напали на него в переулке, избili и обрезали ему волосы. О, Комбинат большой — очень большой. Он боролся с ним долго — пока моя мать не сделала его слишком маленьким, чтобы бороться дальше, и он сдался.

Макмерфи молчал. Потом приподнялся на локте, посмотрел на меня и спросил, зачем они избili его.

– Они сказали, что будет еще хуже, если он не подпишет бумаги и не отдаст все правительству.

– Что он должен был отдать правительству?

– Все. Племя, деревню, водопад...

– Теперь вспоминаю – ты говоришь о водопаде, где индейцы обычно гарпунили рыбу? Но насколько я помню, племени выплатили громадные деньги.

– Они тоже ему это говорили. А он отвечал: чем вы заплатите за то, как живет человек; чем вы заплатите за то, что делает мужчину мужчиной? Они не понимали. И в племени тоже. Все стояли у двери, и у каждого в руках были эти чеки. Спрашивали у него, что им теперь делать. Они просили вложить за них деньги, или сказать, куда им теперь идти, или купить ферму. Но он к тому времени был уже маленьким. И он слишком много пил. Комбинат поймал его на крючок. Он всех побеждает. Он и тебя победит. Они не могут позволить, чтобы кто-нибудь большой, как папа, шатался по округе, если он – не один из них. Ты сам это видишь.

– Да, вижу.

– Именно поэтому ты не должен был выбивать стекло. Теперь они видят, что ты большой. Теперь они за тебя возьмутся.

– Станут объезжать, как мустанга, да?

– Нет. Нет, послушай. Они не будут тебя обламывать подобным образом; они будут бороться с тобой такими методами, что ты ничего не сможешь сделать! Они действуют изнутри. Они в тебя внедряются. Они начинают сразу же, как только понимают, что ты можешь стать большим, и начинают работать над тобой, и внедряют свои мерзкие штуки, когда ты еще маленький, и все продолжают, и продолжают, пока ты не связан по рукам и ногам!

– Спокойно, приятель, тсс.

– А если ты борешься, они запирают тебя где-нибудь и вынуждают остановиться...

– Спокойно, спокойно, Вождь. Погоди минутку. Остынь. Они тебя услышали.

Он лежал не двигаясь. Моя кровать стала горячей. Я услышал скрип резиновых подошв – это черный парень вошел в спальню с фонариком, чтобы разобраться, что тут за шум. Мы лежали неподвижно, пока он не ушел.

– В конце концов он стал просто пьяницей, – прошептал я. Казалось, я просто не могу остановиться, не могу, пока не расскажу ему все. – Последний раз я его видел бредущим в кедровнике, ослепшим от пьянства. И всякий раз, когда он подносил ко рту бутылку, это не он тянул из нее выпивку, это бутылка тянула из него душу, пока он не усох и не стал таким желтым и сморщенным, что даже собаки его не узнавали. Нам пришлось вывозить его из кедровника на пикапе в Портленд. Там он и умер. Я не говорю, что они его убили. Они его не убивали. Они сделали кое-что похуже.

Мне ужасно хотелось спать, и говорить я больше не мог. Я попытался вспомнить о нашем разговоре и понял, что это все не то.

– Я говорю как ненормальный, правда?

– Да, Вождь, – он повернулся на кровати, – ты говоришь как ненормальный.

— Это не то, что я хотел сказать. Я не могу сказать всего. Это бессмыслица.

— Я не говорил, что это бессмыслица, Вождь, я только сказал, что это звучит как бред.

Он надолго замолчал, и я решил, что он уже спит. Мне хотелось пожелать ему спокойной ночи. Я посмотрел на него сверху, но он отвернулся от меня. Его рука не была укрыта простыней, и я мог разглядеть на ней туз и восьмерку. Большая рука, подумал я, такая же большая, какими были и мои руки, когда я играл в футбол. Мне захотелось протянуть руку и коснуться того места, где были татуировки, чтобы убедиться, что он все еще жив.

Но это была ложь. Я знал, что он жив. Я хотел коснуться его по другой причине.

Мне хотелось прикоснуться к нему, потому что он был мужчиной.

Но это тоже было ложью. Вокруг было полно других мужчин. Я мог прикоснуться к ним.

Я хотел прикоснуться к нему, потому что я — один из этих самых гомиков!

Но это тоже было ложью. Один страх громоздился на другой. Если бы я был одним из них, я бы от него хотел и другого. А мне только хотелось прикоснуться к нему, потому что он был тем, кем он был.

Когда я протянул руки, чтобы тронуть его за плечо, он произнес:

— Скажи, Вождь, — и повернулся в кровати, смяв покрывало, лицом ко мне. — Скажи, Вождь, почему ты завтра не едешь с нами на рыбалку?

Я ничего не ответил.

— Ну же, что скажешь? Черт возьми, такого случая больше не представится. Ты знаешь двух моих тетусек, которые отправятся с нами? Парень, это совсем не тетушки, нет; это две девчонки, которые отплясывают шимми за деньги и все такое прочее — я их знаю по Портленду. Что ты на это скажешь?

В конце концов я ему признался, что я — один из бесплатных.

— Ктоты?

— У меня нет денег.

— О, — сказал он. — Да, об этом я не подумал.

Он на время затих, почесывая пальцем шрам на носу. Потом перестал, приподнялся на локте и посмотрел на меня.

— Вождь, — медленно сказал он, оглядывая меня с ног до головы, — когда ты был нормального размера, ну, скажем, шесть, семь или даже восемь футов в высоту и весом два раза по восемьдесят или что-то вроде, ты бы смог поднять, например, контрольную панель в ванной?

Я задумался. Вряд ли она весила больше, чем те цистерны с маслом, которые я поднимал в армии. Я сказал ему, что раньше, наверное, бы смог.

— Если ты снова станешь таким большим, ты сможешь ее поднять?

– Думаю, да.

– Меня не интересует, что ты думаешь. Я хочу знать, можешь ли ты пообещать, что поднимешь, если я сделаю тебя таким же большим, как и раньше? Если ты пообещаешь мне это, то не только получишь бесплатно специальный курс по атлетическим упражнениям, но и поедешь бесплатно на рыбалку! – Он облизал губы и снова лег. – Готов поспорить, шансы у меня неплохие.

Он лежал, посмеиваясь своим мыслям. Когда я спросил, как он собирается снова сделать меня большим, приказал мне молчать, прижав палец к губам.

– Парень, мы не можем позволить себе разбрасываться подобными секретами. Я же не обещал, что расскажу тебе как, разве обещал? Ну ты даешь, парень. Вернуть человеку прежний размер – это секретное дело, ты не можешь об этом рассказывать всем и каждому, это – сильное оружие, и оно может быть опасным, если попадет в руки врага. Большую часть времени ты и сам не будешь знать, как это происходит. Но даю тебе честное слово: следуй моей программе тренировок и увидишь, что произойдет.

Он спустил ноги с кровати и сел на край, упершись руками в колени. Его зубы и один глаз, глядевший на меня, блеснули в тусклом свете, проникавшем в спальню с сестринского поста. В спальне мягко зарокотал нахальный голос прожженного аукциониста:

– Представляю вашему вниманию. Большой Вождь Бромден, рассекающий по бульвару, – мужчины, женщины и дети встают на цыпочки, чтобы поглазеть на него: «Смотрите, смотрите, смотрите, что за великан! Каждый шаг – десять футов, только телефонные провода обрываются!» В нашем городе проездом, то есть – проходом, задержится только для девственниц, остальные же могут не выстраиваться в очередь, ну разве что у вас титьки как мускусные дыни и прелестные сильные белые ноги, достаточно длинные, чтобы обвиться вокруг его могучей спины, и хорошенькие штучки там, где положено, – теплые, сочные и сладкие, как масло и мед.. – И он продолжал вещать в темноте, сплетая свою сказку о том, как все мужики перепугаются, а все прелестные юные девушки будут по мне сохнуть. А потом сказал, что сию же минуту пойдет и запишет меня на рыбалку.

Он встал, стянул с тумбочки полотенце, обернул его вокруг бедер, натянул на голову кепку и встал у моей кровати.

– О, парень, говорю тебе, женщины будут от тебя тащиться и отдаваться прямо на полу. – И совсем неожиданно развязал на мне простыню, стащил покрывало и оставил лежать обнаженным. – Посмотри сюда, Вождь. Гм. Что я тебе говорил? Ты уже вырос на полфута. – И, смеясь, двинулся вдоль ряда кроватей в коридор.

Две шлюхи едут из Портленда, чтобы отвезти нас на рыбалку, – в лодке, в открытое море! После того как в шесть тридцать в спальне зажегся свет, оставаться в постели было трудно.

Первое, что я сделал, выйдя из спальни, – это посмотрел в список, прилепленный на доске рядом с сестринским постом, чтобы убедиться, что мое имя действительно там записано. «ЖЕЛАЮЩИЕ УЧАСТВОВАТЬ В МОРСКОЙ ПРОГУЛКЕ С РЫБАЛКОЙ» – было напечатано сверху большими буквами. Сначала подписался Макмерфи, а номером первым был Билли Биббит. Номером третьим был Хардинг, а номером четвертым – Фредериксон и так до номера десятого, где еще никто не подписался. Теперь там стояло мое имя, оно было написано последним, залезая на номер девятый. Я действительно покину сегодня

больницу и отправлюсь в путешествие с двумя шлюхами; мне приходилось снова и снова повторять себе это, чтобы поверить.

Трое черных ребят проскользнули вперед и стали водить по списку серыми пальцами, нашли мое имя и повернулись, чтобы посмеяться надо мной.

— Эй, ребята, как вы думаете, кто внес Вождя Бромдена в этот дурацкий список? Индейцы не умеют писать.

А кто тебе сказал, что индейцы умеют читать?

Было еще рано, и рукава их накрахмаленных курток похрустывали, словно бумажные крылья. Они смеялись надо мной, но я притворился, что ничего не слышу и не понимаю, но когда они сунули мне швабру, чтобы я убрался за них в коридоре, я повернулся и ушел в спальню. Человек, собирающийся отправиться на рыбалку с двумя цыпочками из Портленда, не обязан заниматься таким дерьмом.

То, что я послушался черных ребят, меня немного напугало. Я обернулся и увидел, что они идут за мной со шваброй. Они, наверное, вошли бы за мной в спальню и заставили бы меня, если бы не Макмерфи; он там поднял такой шум, так вопил и носился между кроватями и хлестал полотенцем ребят, которые записались на прогулку сегодня утром, что черные парни, вероятно, решили, что спальня сегодня — не самое безопасное место, чтобы рисковать из-за какого-то там маленького кусочка коридора.

Макмерфи натянул мотоциклетную кепку на рыжие кудри и выглядел как заправский капитан, и татуировки, высывавшиеся из-под рукавов его футболки, были сделаны в Сингапуре. Он с важным видом разгуливал по полу, словно это была палуба корабля, и свистел в руку, подражая боцманскому свистку.

— Очистить палубу, или я протащу всех вас под килем от носа до кормы!

Он затормозил у кровати Хардинга и протрубил в кулак подъем.

— Шестьсклянок, и все путем. Так держать! Очистить палубу. Отдать концы, свистать всех наверх!

Он заметил, что я стою в дверях, подбежал ко мне и ударил по спине:

— Посмотрите на Большого Вождя; перед вами пример доброго моряка и рыбака: до света на ногах и уже нарыл дождевых червей для наживки. Вы, команда пораженных цингой доходят, лучшее, что вы можете сделать, — это последовать его примеру. Очистить палубу. Сегодня уходим в море!

Острые ворчали и отбивались от него и его полотенца, а Хроники просыпались один за другим и вертели головами, синими от недостатка крови, потому что они были слишком туго перевязаны простынями до шеи, осматривали спальню, пока в конце концов не останавливали свой взгляд на мне, и смотрели на меня слабыми водянистыми старыми глазами, и на их лицах были написаны любопытство и тоска. Они лежали и смотрели, как я натягиваю на себя теплые вещи, чтобы отправиться на прогулку, и я чувствовал себя от этого неловко, я чувствовал себя немного виноватым. Я — единственный из Хроников, кто отправлялся в путешествие. Они смотрели на меня — старые парни, уже много лет приваренные к своим креслам на колесиках, с катетерами, змеящимися у них по ногам, словно вены, словно корни, которые удерживают их на весь остаток жизни там, где они есть, они смотрели на меня и инстинктивно понимали, что я — еду. Они все еще были способны испытывать нечто вроде ревности, что это — не они. В них мало что осталось от прежней жизни, верх взяли старые животные инстинкты

(старые Хроники неожиданно просыпались среди ночи, когда еще никто не знает, что кто-то из парней в спальне умер, отворачивали головы и выли), а испытывать ревность могут потому, что в них еще сохранилось что-то человеческое и они это помнят.

Макмерфи вышел взглянуть на список, потом вернулся в спальню и попытался уговорить еще одного Острога записаться, ходил и пинал кровати, где все еще лежали ребята, натянув на головы простыни, и говорил им, как здорово сегодня там, в самой гуще шторма, когда шляпка трещит от ударов волн и раздается это чертово «йо-хо-хо и бутылка рому».

— Ну давайте же, бездельники, мне нужен еще один помощник, чтобы укомплектовать команду, мне нужен еще один чертов доброволец..

Но он никого не мог уговорить. Большая Сестра так запугала всех своими историями о штормящем море, о потонувших лодках, что, похоже, мы не найдем последнего члена экипажа, пока через полчаса к Макмерфи не подошел Джордж Соренсен, когда мы ожидали, пока откроют двери столовой.

Большой беззубый узловатый старый швед, которого черные парни называли Джордж Барабанный Бой, шаркая ногами, прошел по коридору, наклонившись назад, так что его ноги двигались впереди головы (он наклонялся назад, чтобы держать лицо как можно дальше от того, с кем он разговаривал), остановился перед Макмерфи и пробормотал что-то себе в руку. Джордж был очень застенчивый. Трудно было разглядеть глубоко посаженные глаза, а остальную часть лица он закрывал ладонью. Его голова раскачивалась на длинном теле, похожем на мачту. Макмерфи подошел к нему и отвел руку от лица, чтобы разобрать слова.

— Ну, Джордж, что ты хочешь сказать?

— Тожтевые черви, — говорил он. — Просто я не тумаю, што они вам приготятся — не приготятся, если ловить лосось.

— Да? — сказал Макмерфи. — Дождевые черви? Я могу согласиться с тобой, Джордж, если ты мне объяснишь, что там с этими дождевыми червями, о которых ты толкуешь.

— Я просто коворю, што вы ниш-шего не поймаете с этими тожтевыми червями. Это месяц, когда идет польшой лосось — то-очно. Сельдь вам нушна. То-очно. Вы приманиваете на блесну немного сельди и используете ее для нашивки, тогда вам, мошет быть, повезет.

К концу каждого предложения его голос шел вверх — пове-зет? — как будто он задавал вопрос. Большой подбородок, уже с утра выскобленный так, что даже кожа ободралась, несколько раз поднялся и опустился — он кивнул Макмерфи раза два. Потом обогнул его и пошел по коридору, чтобы занять очередь. Макмерфи позвал его:

— Эй, погоди-ка минутку, Джордж. Ты говоришь так, будто что-то понимаешь в этом деле.

Джордж повернулся и зашаркал обратно к Макмерфи, отклоняясь так далеко назад, что, казалось, его ноги выплывают прямо из-под него и двигаются сами по себе.

— Тошно, могу шпорить. Я тватцать пять лет рапотал на трайлерах, што ловят лосося, — от бухты Ущербной Луны до Патжет-Саунт. Тватцать пять лет я рыпачил — пока не стал таким грязным. — Он протянул к нам руки, чтобы мы увидели на них грязь.

Все вокруг наклонились и посмотрели. Грязи я не увидел, зато увидел глубокие шрамы на белых ладонях – шрамы от канатов. Он дал нам посмотреть минутку, потом спрятал руки в рукава пижамы, как будто мы могли запачкать их взглядами, и улыбнулся Макмерфи, открывая десны, похожие на ветчину, отбеленную в морской воде.

– У меня пыть хороший трайлер, почти сорок футов, он ухотить в воту на тватцать футов, ис крепкого тика и крепкого туба. – Он качался туда-сюда – так, что ты начинал сомневаться, не качается ли сам пол. – Он пыть хороший трайлер, ей-погу! – Он начал отворачиваться, но Макмерфи остановил его снова:

– Черт возьми, Джордж, почему ты не сказал, что был рыбаком? Я обсуждаю эту поездку, словно старый морской волк, но, говоря между нами, чтобы никто не слышал, единственный корабль, на котором я плавал, был линкольн «Миссури», а про рыбу знаю только то, что есть ее намного лучше, чем чистить.

– Чистить рыпу легко, если кто-то показать, как это телать.

– Ради бога, Джордж, ты должен быть нашим капитаном, а мы будем твоим экипажем.

Джордж отклонился назад, качая головой:

– Эти лотки всегда ужасногрязные – всегда ужасногрязные.

– Да и черт с ним. Мы берем лодку, которую специально простерилизовали от носа до кормы, оттерли шваброй, так что она блестит, как зубы у первокурсника в привилегированном колледже. Ты не запачкаешься, Джордж, потому что будешь капитаном. Тебе даже не придется насаживать наживку на крючок; просто будь нашим капитаном, отдавай приказы нам, глупым сухопутным крысам. Ну как тебе это нравится?

Джордж боролся с искушением – я понял это по тому, как он крепко сжимал руки под рукавами рубашки, – но все-таки ответил, что не может так рисковать, а вдруг запачкается? Макмерфи все еще уговаривал Джорджа, но тот качал головой, когда клуч Большой Сестры повернулся в замке столовой и она с шумом открыла дверь. С плетеной корзиной, полной сюрпризов, она двинулась вдоль очереди, одаривая каждого из мужчин автоматической улыбкой с пожеланием доброго утра. Когда она прошла, Макмерфи наклонил голову и подмигнул Джорджу. Глаза у него горели.

– Джордж, а как насчет того, что разводила наша старшая сестра – дескать, плохое море и как жутко опасна может быть такая поездка – это правда?

– Океан мошет быть ужасно плохой, тошно, ужасно шестокий.

Макмерфи посмотрел вслед сестре, исчезнувшей в недрах поста, а потом на Джорджа. Тот принялся теревить куртку сильнее обычного, глядя на молчаливые лица вокруг.

– Эй-погу! – неожиданно сказал он. – Вы думаете, я позволю ей напугать меня насчет океана? Вы тактумаете?

– Я так не думаю, Джордж. Правда, если ты не поедешь с нами и если на сегодня действительно есть какое-нибудь ужасное штормовое предупреждение, мы запросто можем потеряться в море, ты понимаешь? Я же сказал, что ничего не знаю о лодках, и скажу тебе еще кое-что: о тех двух женщинах, которые приедут нас забрать. Я сказал доктору, что это – мои тетушки, обе – вдовы рыбаков. Так вот: единственное плавание, в которое они когда-либо

отправлялись, было плавание по застывшему цементу. Случись что, на них можно рассчитывать не больше, чем на меня. Ты нужен нам, Джордж. — Он вытащил из пачки сигарету и спросил: — Между прочим, у тебя есть десять баксов?

Джордж покачал головой.

— Нет, не думаю, что есть. Ну хорошо, к дьяволу все это, я с самого начала не рассчитывал, что это окупится. Держи. — Макмерфи вытащил из кармана зеленого жакета карандаш, аккуратно вытер его полкой рубашки и протянул Джорджу. — Будь нашим капитаном, и ты поедешь с нами за пятерку.

Джордж оглядел нас снова, двигая кустистыми бровями, не зная, как выйти из этого затруднительного положения. И наконец его десны обнажились в бледной улыбке, и он взял карандаш.

— Эй-погу! — сказал он и двинулся с карандашом вперед, чтобы заполнить последнюю пустую графу. После завтрака, прогуливаясь по коридору, Макмерфи остановился у списка и печатными буквами вывел напротив имени Джорджа: «КАПИТАН».

Шлюхи запаздывали. Все уже начали думать, что они вообще не приедут, когда Макмерфи, глядевший в окно, вдруг издал вопль, и все мы бросились к нему посмотреть. Он сказал, что это они, но мы не видели ничего, кроме одной машины, вместо ожидаемых двух, и всего одной женщины. Макмерфи окликнул ее через решетку, когда она остановилась на стоянке, и она двинулась к отделению прямо через газон.

Она была моложе и красивее, чем мы представляли. Все уже выяснили, что вместо тетушек приедут две шлюхи, и ожидали от этой поездки чего угодно. Некоторые чересчур религиозные ребята были не слишком рады. Но когда мы увидели ее, идущую легким шагом по траве, с зелеными глазами, с закрученными в длинный узел волосами, блестящими, словно стебли спелой пшеницы на солнце, каждый из нас думал только об одном: это — женщина, которая не одета с ног до головы в белое, словно зачленела на морозе, и нет никакой разницы, как именно она добывает себе на пропитание.

Она подбежала прямо к решетке, у которой стоял Макмерфи, схватила руками прутья и прижалась к ним. Она задыхалась от быстрого бега, и при каждом вдохе казалось, что ее грудь вот-вот просочится через решетку. Она всхлипывала.

— Макмерфи, черт тебя побери, Макмерфи...

— Не расстраивайся, детка. Где Сандра?

— Она занята, парень, и не может ехать. Но ты, черт, ты в порядке?

— Она занята!

— Правду сказать, — девушка утерла нос и хихикнула, — наша старушка Сэнди вышла замуж. Ты помнишь Арти Гилфиллана из Бивертон? Вечно являлся на вечеринки с какими-нибудь дурацкими штучками: то с гремучей змеей, то с белой мышью — помнишь, вечно держал в кармане какую-нибудь гадость? Настоящий маньяк...

— Вот это да! — простонал Макмерфи. — Разве я запихну десять ребят в этот вонючий «форд», Кэнди, сладкая моя? Как Сандра и этот гремучий змей из Бивертон могли подстроить мне такую подлянку?

Девушка задумалась, пытаясь изо всех сил найти ответ на этот вопрос, когда громкоговоритель в потолке крякнул и голосом Большой Сестры сообщил Макмерфи, что, если он желает побеседовать со своей подружкой, пусть она, как это и полагается, войдет через главную дверь, а не беспокоит всю больницу. Девушка отошла от окна и направилась к главному входу, а Макмерфи плюхнулся на стул в углу, опустив руки.

– Черт побери, – только и сказал он.

Маленький черный парень пропустил девушку в отделение и забыл запереть за нею дверь (и позже получил за это взбучку, могу поручиться), и девушка, виляя бедрами, продефилировала по коридору мимо сестринского поста, где сестры попытались заморозить ее всеобщим ледяным взглядом, вошла в дневную комнату, всего на несколько шагов опередив доктора. Он подошел с какими-то бумагами к сестринскому посту, посмотрел на нее, потом обратно в бумаги, потом снова на нее и принялся обеими руками вертеть очки.

Она остановилась посредине дневной комнаты, со всех сторон на нее уставились мужчины в зеленом, примерно человек сорок. В комнате стояла такая тишина, что можно было услышать, как у кого-то бурчит в животе и как булькают катетеры по всему ряду Хроников.

Пока она отыскивала взглядом Макмерфи, всем удалось хорошенько ее рассмотреть. У потолка над ее головой вился синий дымок; я думаю, аппараты по всему отделению просто раскалились, пытаясь приноровиться к ее появлению; они снимали с нее электронные показания, просчитывали и пришли к выводу, что никогда не имели дела с чем-то подобным, и просто перегорали.

На ней была футболка – такая же, как у Макмерфи, только намного меньше, белые теннисные туфли и джинсы «Ливайс», обрезанные выше колен, чтобы дать ногам дышать. Да, одежды маловато, учитывая, что они обтягивали. Должно быть, эти прелести видели куда больше мужчин, но в данных обстоятельствах она начала нервничать и стесняться, словно школьница, которая впервые вышла на сцену. Все смотрели и молчали. Мартини прошептал, что джинсы у нее такие тугие, что даже можно определить достоинство монет, лежащих в кармане. Он стоял к ней ближе всех, поэтому и видел лучше.

Билли Биббит был первым, кто заговорил, но не словами, а низким свистом, от которого едва не заболело в ушах, и лучше сказать, что она здорово выглядит, никто бы не смог. Она рассмеялась и сказала ему «большое спасибо», оба покраснели, и она опять рассмеялась. И тут все задвигалось. Острые подошли к ней, пытаясь говорить все одновременно. Доктор дергал Хардинга за куртку, спрашивая, кто это. Макмерфи поднялся со стула, протолкался к ней через толпу, и когда она его увидела, обхватила руками за шею и сказала: «Ты, чертов Макмерфи!» – а потом вдруг засмушалась и покраснела снова. Когда она краснела, ей можно было дать лет шестнадцать или семнадцать, клянусь вам.

Макмерфи представил ее пациентам, и она пожала каждому руку. Когда она добралась до Билли, то снова поблагодарила его за свист. Большая Сестра выскользнула с поста, улыбаясь, и спросила Макмерфи, как он намеревается усадить девять человек в один автомобиль, а он спросил, не может ли он на время взять машину у кого-нибудь из персонала, которую поведет лично, и Большая Сестра процитировала правило, запрещающее это делать, чего все от нее и ожидали. Она заявила, если нет второго водителя, который подписал бы доверенность, значит, половина экипажа вынуждена будет остаться. Макмерфи сообщил ей, что в таком случае это обойдется ему еще в пятьдесят чертовых баксов – придется вернуть ребятам деньги, если они не поедут.

– В таком случае, – сказала Большая Сестра, – от поездки, вероятно, придется отказаться – и таким образом вернуть вседеньги.

– Я уже нанял лодку; парень получил семьдесят баксов из моего собственного кармана!

– Семьдесят долларов? Неужели? Мне кажется, вы говорили пациентам, что должны собрать сто долларов плюс десять ваших собственных, чтобы финансировать эту поездку, мистер Макмерфи.

– Я включил сюда цену за бензин – туда и обратно.

– И эта цена, таким образом, доходит до тридцати долларов, не так ли? – Она улыбалась ему так мило, улыбалась и ждала.

Он махнул рукой и посмотрел в потолок.

– Вы своего не упустите, мисс Окружной Прокурор. Точно, я собирался зажать, что останется. И не думаю, чтобы кто-то из ребят ожидал другого. Я полагал, что заслуживаю небольшого вознаграждения за те хлопоты, которые на себя взвалил...

– Но ваш план не сработал, – сказала она. Она все еще улыбалась, и ее улыбка была полна сочувствия. – Ваши маленькие финансовые спекуляции не могут всегда быть успешными, Рэндл. Я полагаю, что вы и так одерживаете победы чаще, чем того заслуживаете. – Она немного поразмышляла над этим, обдумывая кое-что. Об этом нам еще предстоит услышать позже. – Да. Каждый Острый в то или другое время уже выдал вам долговую расписку для каких-то там ваших «ставок», так что, полагаю, вы сможете выстоять перед лицом этой маленькой потери. – И тут она замолчала. Она заметила, что Макмерфи ее больше не слушает.

Он смотрел на доктора. А доктор не сводил глаз с белокурой девчонки в футболке, он смотрел на нее так, будто ничего на свете больше не существовало. Лицо Макмерфи расплылось в улыбке. Сдвинув кепку на затылок, он подошел к доктору, находящемуся в состоянии транса, и положил ему руку на плечо:

– Доктор Спайвей, вы когда-нибудь видели, как идет косяк чинукского лосося? Самое фантастическое зрелище, какое только можно увидеть на просторах всех морей. Скажи, Кэнди, моя сладкая ягодка, почему бы тебе не пригласить доктора с нами на морскую рыбалку.

Долго уговаривать не пришлось, и через две минуты маленький доктор уже запирал кабинет и вернулся к нам, запихивая бумаги в портфель.

– Мне придется заняться бумажной работой в лодке, – объяснил он Большой Сестре и промчался мимо на такой скорости, что она не успела произнести что-то в ответ; остальная часть экипажа проследовала за ним куда менее торопливо, одаривая ухмылками мисс Рэтчед, стоявшую в дверях сестринского поста.

Острые, которые не ехали на рыбалку, собрались у дверей дневной комнаты и говорили нам, чтобы мы не приносили нечищеную рыбу, а Эллис оторвал свои руки от гвоздей на стене, пожал руку Билли Биббиту и пожелал ему стать рыболовом.

И Билли, глядя на медные заклепки на джинсах Кэнди, подмигнул ему, а когда девчонка вышла из дневной комнаты, сказал Эллису, чтобы он шел к

черту со своей христианской проповедью. Он догнал нас у дверей, и мелкий черный парень выпустил нас, запер за нами дверь, и мы вышли наружу.

Солнце проглядывало из-за облаков и окрашивало кирпичный фасад больницы в розово-красный цвет. Сильный ветер срывал с дубов оставшиеся листья, аккуратно складывая их у проволочной ограды. На ограде сидели маленькие коричневые птички; и, когда очередная порция листьев осыпала ограду, птички поднимались в воздух, и их подхватывало ветром. И поначалу казалось, что листья, касаясь ограды, превращаются в птиц и улетают.

Это был хороший осенний день, в воздухе пахло дымящейся листвой, доносились голоса мальчишек, играющих в футбол, и шум летящего самолета, и, казалось, что за оградой больницы каждый должен быть счастлив. А мы стояли безмолвной группой, засунув руки в карманы, пока доктор пошел за машиной. Безмолвная группа, глядящая на горожан, которые катили на работу и притормаживали, чтобы поглазеть на психов в зеленых пижамах. Макмерфи заметил, как мы сникли, и попытался нас развеселить, выдавая шуточки и поддразнивая девчонку, но от этого нам стало только хуже. Каждый думал, как просто было бы сейчас вернуться в отделение, вернуться и сказать, что Большая Сестра права; при таком ветре море, должно быть, слишком бурное.

Подъехал доктор, мы погрузились и двинулись в путь: я, Джордж, Хардинг и Билли Виббит – в машине с девушкой и Макмерфи; а Фредериксон, Сефелт, Скэнлон, Мартини, Тэйдем и Грегори – следом, в машине доктора. Все молчали. Примерно в миле от больницы завернули на бензозаправку, доктор последовал за нами. Он вышел первым, и заправщик тут же подскочил к нам, улыбаясь и вытирая руки тряпкой. А когда он увидел, кто сидит в машине доктора и в нашей, улыбаться перестал. Отвернулся, вытирая руки промасленной тряпкой, и нахмурился. Доктор, нервничая, поймал парня за рукав, вытащил десятидолларовую бумажку и сунул ее парню в руку.

– Будьте так любезны, заправьте оба бензобака обычным, – попросил доктор. Вне стен больницы он выглядел смущенным, как и все мы. – Сделаете?

– Эти, в форме, – сказал заправщик, – они ведь из больницы? – Он осмотрелся, нет ли поблизости гаечного ключа или чего-нибудь такого же тяжелого. В конце концов он отошел к груде пустых бутылок из-под газировки. – Вы, парни, из психушки.

Доктор нашел очки и тоже посмотрел на нас, словно впервые заметил наши пижамы.

– Да. Нет, я хочу сказать. Мы, то есть они, конечно, из психушки, но они – рабочие, не пациенты, разумеется, нет. Рабочие.

Заправщик покосился на доктора, потом на нас и отошел пошептаться со своим напарником, который возился с машинами позади заправки. Они минуту посовещались, потом второй парень спросил доктора, кто мы такие, и доктор повторил, что мы – рабочие из больницы, и оба парня рассмеялись. По их смеху я понял, что они решили налить нам бензина – наверное, он будет паршивым, неочищенным, разбавленным и стоит в два раза дороже, – но от этого мне лучше не стало. Я видел, что остальным тоже довольно паршиво. А от докторского вранья нам стало еще хуже, не столько от вранья, сколько от правды.

Второй парень, ухмыляясь, подошел к доктору:

– Вы говорите, вам нужен хороший, сэр? Ну конечно. А как насчет того, чтобы проверить масляные фильтры и «дворники»? – Он был больше своего друга. Он наклонился к доктору, как будто говорил с ним по секрету. – Вы не поверите: восемьдесят восемь процентов машин, которые ездят сегодня по

дорогам, нуждаются в новых масляных фильтрах и новых «дворниках»! – Его ухмылка обнажила черные зубы – долгие годы он вытаскивал ими пробки зажигания. Он все наклонялся над доктором, заставляя его признать, что его взяли на мушку. – А как ваши ребята посмотрят на то, чтобы купить солнечные очки? У нас есть хорошие «полароиды».

Доктор понял, что он его раскусил. Но едва он открыл рот, чтобы сдаться и сказать: да, как вам будет угодно, раздался скрежет, и верх нашей машины откинулся. Макмерфи осыпал проклятиями откидной верх, пытаясь заставить его сложиться быстрее, чем это могла сделать техника. Все видели, как он разозлился. Когда Макмерфи, осыпая машину проклятиями, добился, наконец, чтобы верх стал на место, он перелез прямо через девушку, выпрыгнул из машины, встал между доктором и заправщиком и заглянул одним глазом тому в черный рот.

– Ну ладно, мы возьмем обычный, как доктор и сказал. Два бака обычного. Это – все. И пошел ты на хрен с остальным хламом. И нам положена скидка по три цента за литр, потому что наша экспедиция финансируется правительством.

Парень не двинулся с места.

– Да? Мне казалось, профессор говорил, что вы – не пациенты?

– Слушай, неужели ты не понял, это – всего лишь предосторожность, чтобы не слишком напугать вас, ребята? Если бы вы знали правду! Доктор не стал бы так врать насчет простых пациентов, но мы – не просто психи; каждый из нас – самый горячий парень в буйно-уголовном отделении, на каждом из нас – кровь, и мы направляемся в тюрьму Сан-Квентин, там надежнее. Ты видишь этого парнишку с веснушками? Сейчас он выглядит как с обложки «Сэтедей ивнинг пост», но на самом деле – он маньяк, уже троих убил. А парень рядом с ним – Чокнутый Буйвол, непредсказуем, как дикий кабан. А видишь того здоровенного парня? Он индеец, забил до смерти шестерых белых ручкой кирки. Они попытались надуть его, когда он продавал шкуры мускусных крыс. Встань, чтобы они посмотрели на тебя, Вождь.

Хардинг ткнул меня кулаком в бок, и я встал в машине во весь рост. Парень приложил ладонь к глазам, посмотрел на меня и ничего не сказал.

– Да, признаю, опасная компания, – сказал Макмерфи, – но это запланированная, санкционированная, официальная экспедиция, и мы имеем право на законную скидку, как если бы мы были из ФБР.

Парень посмотрел на Макмерфи, а Макмерфи сунул кулаки в карманы и, чуть раскачиваясь, косился на него. Тот обернулся, решив убедиться, что его дружок рядом, а затем ухмыльнулся Макмерфи.

– Говоришь, крутые ребята, рыжий? Такие крутые, что нам следует ходить по струнке и делать что велют? Ну хорошо, скажи мне, рыжий, за что тебя самого повязали? Покушение на президента?

– Никто не сможет это доказать. Я убил одного на ринге, понимаешь, ну и меня вроде как наняли на другую работу.

– Один из этих убийц в боксерских перчатках, ты об этом мне говоришь, рыжий?

– Нет, я ничего такого не говорил, разве говорил? Я никогда не привязывал к рукам эти ваши подушки. Нет, этот матч не был главным телевизионным событием; я покруче, чем какой-то там отставной боксер.

Парень сунул большие пальцы в карманы и издевательски сказал Макмерфи:

– Ты покруче, чем какое-то там отставное трепло.

– Нет, я не говорил, что умение трепаться никогда не было одной из моих сильных сторон, не говорил ведь? Но я хочу, чтобы ты посмотрел сюда. – И он поднес руки к лицу парня. – Ты видел когда-нибудь, чтобы у мужика были такие уделанные ручки только потому, что он – хорошее трепло? Видел?

Он довольно долго тыкал руками в лицо парню, ожидая, найдет ли тот, что ответить. Парень посмотрел на руки, потом на меня, потом опять на руки. Когда стало ясно, что он ничего сказать не хочет, Макмерфи отошел к его дружку, прислонившемуся спиной к холодильнику с газировкой, выдернул у него из руки десятидолларовую купюру доктора и направился к соседнему гастроному.

– Вы, ребята, выпишите счет за бензин и направьте его на адрес больницы, – бросил он им через плечо. – Я намерен потратить наличку, чтобы дать ребятам немного освежиться. Думаю, мы можем себе это позволить – в счет новых «дворников» и восьмидесяти восьми процентов масляных фильтров.

К тому времени, как он вернулся, все чувствовали себя смелыми, словно бойцовые петухи, и раздавали заправщикам указания: подкачать запасную шину, протереть стекла и соскрести там, где птичка нагадила на капот, будьте так любезны, как будто мы все были большие шишки. А когда здоровый парень, протирая ветровое стекло, не угодил Билли Биббиту, Билли тут же завернул его назад.

– Вы не в-в-вытерли там, где жукк в-в-вляпался.

– Это не жук, – насупившись, сообщил парень, соскребая что-то ногтем. – Это птица.

Мартини из другой машины прокричал, что это не могла быть птица.

– Если бы это была птица, там были бы кости и перья.

Парень, подъехавший на мотоцикле, спросил, на кой хрен мы все вырядились в зеленую форму; это что, какой-то клуб? Хардинг тут же влез в разговор и объяснил ему:

– Нет, друг мой. Мы – психи из больницы дальше по шоссе, чокнутая глина, треснутые горшки человечества. Хочешь проверить меня на тест Роршаха? Нет? Торопишься? Ах, он уехал. Какая жалость. – Хардинг повернулся к Макмерфи: – Никогда раньше не осознавал, что психическая болезнь имеет свои преимущества – силу, могущество – в таком вот аспекте. Подумайте об этом: чем безумнее человек, тем он могущественнее. Возьмем, к примеру, Гитлера. Посредственность, у которой съехала крыша, разве не так? Тут есть пища для размышлений.

Билли открыл девушке банку с пивом, и она, вспыхнув, вознаградила его такой ослепительной улыбкой и своим «спасибо, Билли», что он принялся открывать банки всем подряд.

Наши голубки тем временем разгуливали туда-сюда по тротуару, заложив руки за спину.

Я сидел в машине, чувствуя себя совершенно здоровым, прихлебывал пиво; мог слышать, как пиво вливается в меня – ш-ш-ш, ш-ш-ш, – типа этого. Я уже забыл, что на свете может быть такой прекрасный звук и такой прекрасный вкус, как звук и вкус пива, которое глотает человек. Я сделал

еще один большой глоток и стал смотреть вокруг – о чем еще я позабыл за эти двадцать лет.

– Парень! – сказал Макмерфи, усаживаясь за руль, отодвигая девушку в сторону и прижимая ее к Билли. – Ты выглядишь как Большой Вождь, который вот-вот переберет этой огненной воды! – и бросил машину прямо в самую гущу движения, а доктор кричал сзади, чтобы мы были осторожнее.

Он показал нам, что могут сделать небольшая бравада и определенная доля мужества, и мы решили, что он научил нас всем этим пользоваться. Всю дорогу до побережья мы веселились, прикидываясь страшно храбрыми. Когда на светофоре люди глазели на нас, в наших зеленых пижамах, мы вели себя точь-в-точь как он: сидели прямо, с каменными лицами и делали вид, что мы страшно крутые, с ухмылкой пялясь на них, пока у них не глохли моторы и они не опускали солнцезащитные козырьки, а когда включался зеленый, продолжали стоять, страшно напуганные тем, что в трех футах от них оказалась толпа бешеных обезьян, а помощи ждать неоткуда.

А Макмерфи тем временем вез нас, двенадцать человек, к океану.

Макмерфи, наверное, лучше всех понимал, что наши «крутые» взгляды были всего лишь игрой, потому что мы все еще были не в состоянии по-настоящему над кем-то посмеяться. Может быть, он и не понимал, почему мы не хотим смеяться, но понимал, что никогда не сможешь быть действительно сильным, если не видишь смешную сторону вещей. На самом деле он так усердно старался показать нам смешную сторону, что я даже подумал: может быть, он был слеп ко всему остальному, может быть, он не способен рассмотреть тот сухой смех, что возникает внутри тебя. Может быть, ребята тоже не могли этого понять, просто чувствовали давление разных радиосигналов и частот, распространяющихся во всех направлениях, которые сгибали тебя и толкали на тот или иной путь, чувствовали, как работает Комбинат, но я был способен это видеть.

Ты замечаешь перемену в человеке, с которым давно не встречался, тогда как те, кто видит его изо дня в день, ничего не замечают, потому что эти изменения происходят постепенно. Всю дорогу до побережья я мог видеть признаки того, чего добился Комбинат с тех пор, как я в последний раз колесил по стране, например такое: когда поездостанавливается на станции и из него выползает цепочка взрослых мужчин в блестящих костюмах и штампованных шляпах, они выползают словно выводок совершенно одинаковых насекомых, наполовину живые, наполовину мертвые, пф-пф-пф, они выходят из последнего вагона, а поезд дает свой электрический свисток и движется дальше по разграбленной земле, чтобы выпустить следующий выводок.

Или такие вещи: пять тысяч домиков, отштампованных машиной один в один и вытянувшихся в линеечку по холмам за городом, таких свеженьких, только что с фабрики, еще даже слеplенных друг с другом, как сосиски, а надпись на вывеске гласит: «СЕМЕЙНОЕ ГНЕЗДЫШКО В ЗАПАДНОМ ДОМЕ – ВЕТЕРАНАМ СКИДКА», а ниже дома детская площадка за проволочной оградой и еще одна вывеска: «ШКОЛА СВ. ЛУКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ» – и там пять тысяч пацанов в зеленых вельветовых штанах и белых рубашках под зелеными пуловерами играют в «щелкни хлыстом» на акре мелкого гравия. Линия появляется и исчезает, изгибается и дергается, словно змея, и в конце каждого хлыста болтается мальчишка и отлетает к ограде, словно перекатипole. В конце каждого хлыста. И каждый раз один и тот же ребенок, снова и снова.

Все эти пять тысяч мальчишек живут в пяти тысячах домов, которые принадлежат тем парням, сошедшим с поезда. Дома так похожи друг на друга, один к одному, и мальчишки по ошибке возвращаются в другой дом и в другую

семью. И никто ничего не замечает. Они едят и отправляются спать. Единственный, кого они замечают, — это тот мальчишка в конце хлыста. Он всегда такой побитый и весь в синяках и царапинах, что его отовсюду прогоняют, куда бы он ни пошел. И он тоже не способен раскрыться и не может смеяться. Трудно смеяться, когда ты чувствуешь давление лучей, исходящих из каждой новой машины, проезжающей по дороге, от каждого нового дома, мимо которого ты идешь.

— Мы можем даже создать агентство в Вашингтоне, — говорит Хардинг, — Национальную Ассоциацию Продвижения Ненормальных. Будем оказывать давление на общественное мнение. Большие рекламные щиты на шоссе, а на них — лепечущий шизофреник в бульдозере и крупными буквами — красными и зелеными: «НАНИМАЙТЕ ПСИХОВ». У нас блестящее будущее, господа.

Мы проехали по мосту через Сиуслоу. Воздух был достаточно влажным, и я мог, высунув язык, ощутить вкус океана до того, как его увидел. Все знали, что мы подъезжаем, и всю дорогу до пристани молчали.

У нашего капитана была лысая голова цвета серого металла, сидящая поверх черного свитера, словно орудийная башня на подводной лодке; потухшая сигара, торчавшая у него изо рта, повернута в нашу сторону. Он стоял рядом с Макмерфи на деревянном причале и, разговаривая с ними, смотрел в море. За ним, несколькими ступенями выше, на скамье у магазина, где продавалась наживка, сидели шесть или восемь мужчин в ветровках. Капитан говорил громко — так, чтобы его слышали все: и бездельники с той стороны, и Макмерфи с этой — в его голосе звенела медь, и слова были направлены куда-то в пространство.

— Меня не волнует. Я вам об этом сообщил в письме. Если у вас нет специального разрешения, заверенного властями и освобождающего меня от ответственности, я в море не выйду. — Круглая голова повернулась, словно на шарнире, в орудийной башне его свитера, нацелив сигару прямо на нас. — Посмотрите. Стоит нам выйти в море, и вся ваша компания попрыгает с лодки, и все они потонут, словно крысы. Родственники подадут на меня в суд и оберут до нитки. Я не могу так рисковать.

Макмерфи объяснял, что другая девушка должна была оформить все бумаги в Портленде. Один из парней, прислонившихся к стене магазина, прокричал:

— Что за другая девушка? Разве эта белобрысая со всеми не управится?

Макмерфи не обратил на парня никакого внимания и продолжал ругаться с капитаном, но было видно, что девушку это задело. Парень продолжал пялиться на нее и нашептывал друзьям какую-то гадость. Весь наш экипаж, включая доктора, заметил это, и нам стало стыдно, что мы ничего не предприняли. Мы уже не были теми бойцовыми петухами, которые выезжали с заправки.

Макмерфи прекратил спорить, понимая, что от капитана он ничего не добьется, и пару раз оглянулся, приложив ладонь ко лбу.

— Какую лодку мы наняли?

— Вот эту. «Жаворонок». Ни один из вас не ступит на борт, пока у меня не будет подписанной бумаги, освобождающей меня от ответственности. Ни один.

— Я не собирался нанимать лодку только для того, чтобы мы целый день сидели и смотрели, как она болтается у причала, — сказал Макмерфи. — У вас в этом сарае есть телефон? Пойдемте проясним это дело.

Они поднялись по ступеням к магазину и зашли внутрь, оставив нас жаться друг к другу под насмешливыми взглядами бездельников, которые разглядывали нас, хихикали, подначивали друг друга, тыча кулаками в ребра. Ветер раскачивал лодки на швартовых, прижимал их носом к мокрым ребристым покрышкам вдоль пирса с таким звуком, словно они смеялись над нами. И вода под лодками тоже хихикала, а над дверью магазина красовалась вывеска, на которой можно было прочесть: «МОРСКАЯ СЛУЖБА – ВЛАДЕЛЕЦ КАП. БЛОК», – и она взвизгивала и скрипела, когда ветер раскачивал ее на ржавых крюках. Ракушки, облепившие сложенные в кипу канаты, – четыре фута над водой, – обозначавшие линию прилива, свистели и шелкали на солнце.

Ветер стал холодным и задувал снизу; Билли Биббит снял зеленую куртку и отдал ее девушке, и она натянула ее поверх своей крошечной тоненькой футболки. Один из бездельников продолжал к ней прикалываться:

– Эй, белобрысая, тебе нравятся такие сопляки? – Губы у парня были очень темные, а под глазами лежали лиловые тени. – Эй, ты, белобрысая... эй, ты, белобрысая... эй, ты, белобрысая...

Мы струдились поближе, защищаясь от ветра.

– Скажи мне, белобрысая, тебя-тоза что определили?

– Ха, Перс, да она у них для лечения!

– Это правда, белобрысая? Тебя наняли для лечения? Ну ты, белобрысая, даешь!

Она подняла голову и спросила нас взглядом, где те бесстрашные горячие парни, которых она видела недавно, и почему бы им не заступиться за нее? Никто не ответил на ее взгляд. Вся наша кипучая и могучая сила только что поднялась по ступенькам, обняв за плечи лысого капитана.

Она подняла воротник куртки, закрывая шею, крепко прижала локти к бокам и отошла от нас по причалу как можно дальше. Никто за ней не двинулся. Билли Биббит трясся от холода и кусал губы. Парни у магазина о чем-то пошептались и снова разразились хохотом.

– Спроси ее, Перс... давай!

– Эй, белобрысая, а ты заставила их написать расписку – дескать, случись чего, они не в претензии? А у нотариуса заверила? Мне сказали, если один из ребят вывалится из лодки и утонет, родственники всех затаскают по судам. Об этом ты подумала? Может быть, тебе лучше остаться с нами, белобрысая?

– Да, белобрысая! Мои родственники не станут подавать в суд. Я обещаю. Оставайся с нами, белобрысая.

Я почти чувствовал, что мои ноги от стыда становятся такими же холодными и мокрыми, как и песок у причала. Мы не годимся, чтобы жить здесь, среди людей. Мне хотелось, чтобы Макмерфи вернулся и хорошенько обругал этих парней, а потом отвез нас назад, туда, откуда мы прибыли.

Парень с темными губами сложил свой нож, встал и вытер лезвие о край куртки. Он сделал несколько шагов.

– Ну же, белобрысая, на кой черт тебе сдались эти придурки?

Она обернулась, посмотрела на него с дальнего конца причала, затем посмотрела на нас, и видно было, что она обдумывает его предложение, когда дверь магазина вдруг распахнулась и Макмерфи, распихав парней, сбежал по ступенькам.

— Экипаж, построиться, все замечано! Лодка готова, бензина полный бак, наживка и пиво — на борту!

Он дал Билли подзатыльник, изобразил звук волынки и начал стаскивать с тумбы канаты.

— Капитан Блок еще звонит по телефону, но как только он выйдет, мы отчаливаем. Джордж, посмотрим, сумеешь ли ты запустить мотор. Скэнлон, вы с Хардингом развязывайте тот канат. Кэнди! Что ты там делаешь? Поторопись, дорогая, мы отчаливаем!

Мы толпой попрыгали в лодку, готовые отправиться куда угодно, только подальше от этих парней, стоявших рядком у магазина. Билли взял девушку за руку и помог ей спуститься в лодку. Джордж мямлил над приборной доской, склонившись над капитанским мостиком, показывая Макмерфи кнопки, которые нажимать, и ручки, которые следует поворачивать.

— Та, эти сборные лотки, мы называли их «эльфы», — говорил он Макмерфи, — управлять легко, как будто ты ветешь автомобиль.

Доктор медлил.

— Может быть, нам подождать, пока капитан...

Макмерфи схватил его за лацканы куртки и перетащил с причала в лодку, словно маленького мальчика.

— Что, док, — спросил он, — ждем, пока капитан что?.. — И он расхохотался, словно пьяный, и заговорил возбужденно и нервно: — Ждем, пока капитан не выйдет и не скажет нам, что тот номер телефона, который я ему дал, принадлежит одной ночлежке в Портленде? Даю слово. Ну же, Джордж, лопни твои глаза, берись за дело и увози нас отсюда! Сефелт! Бросай канат, и смываемся. Давай же, Джордж.

Мотор запыхтел и смолк, запыхтел снова, словно бы прочищал глотку, а потом взревел в полную силу.

— Фу-у-ух! Пошла, родная. Подбрось в топку угля, Джордж, приготовились отразить атаку с берега!

За кормой лодки с ревом взвился белый фонтан дыма и пены, дверь магазина с треском распахнулась, оттуда показалась голова капитана, она тоже взревела и понеслась по ступеням, волоча за собой не только свое тело, но и тела остальных восьмерых ребят тоже. Они с грохотом мчались по причалу и остановились как раз вовремя — волна лишь окатила им ноги, а Джордж развернул большую лодку, и она понеслась в открытое море.

Неожиданно лодка сильно накренилась, так что Кэнди упала на колени, и Билли помогал ей подняться и одновременно извинялся за наше поведение на берегу. Макмерфи спустился с капитанского мостика и поинтересовался, не хотят ли эти двое остаться наедине, вспомнить старые времена, и Кэнди посмотрела на Билли, но он только смог потрясти головой и выговорить несколько звуков заикаясь. Макмерфи сказал, что в таком случае они с Кэнди отправятся вниз и проверят, нет ли где течи, а все остальные пока могут поработать. Он стоял в дверях рубки, посылая нам всем привет ручкой

и подмигивал; он назначил Джорджа капитаном, а Хардинга – вторым помощником, и сказал: «Действуйте» – и проследовал за девушкой в рубку.

Ветер утих, солнце поднялось выше, посеребрив восточный край глубокой зеленой зыби. Джордж направил лодку прямо в открытое море на полной скорости, оставляя причал и этот магазин все дальше и дальше. Когда мы миновали последний мол и последнюю черную скалу, я почувствовал, как меня охватывает великий покой, покой, который становился тем сильнее, чем дальше мы удалялись от берега.

Ребята некоторое время возбужденно обсуждали похищение лодки, но теперь они утихли. Дверь рубки один раз открылась, чтобы явить нам ящик пива, и Билли откупоривал каждую бутылку открывалкой, которую он нашел в коробке с инструментом, и передавал ее нам. Мы пили и смотрели на землю, которая все удалялась, и это было наяву.

Примерно через милю Джордж снизил скорость до черепашьего шага, поставил четверых ребят к четырем удочкам на корме, а остальные растянулись на солнышке на верхушке рубки и на носу, стащили с себя курки и стали наблюдать за рыбаками. Хардинг сказал, что удить надо по очереди, до первой поклевки, а потом отдать удочку другому. Джордж стоял у руля, щурясь сквозь просоленное ветровое стекло, косился назад и бормотал, как следует обращаться с катушками и леской, как насаживать сельдь и как забрасывать удочку.

– И брать эту удошку номер шетьреи прицепить блесну твенацать унций и к ней трепуху тля нашивки – потоштите минутошку, я вам показать, – и потом мы прать эту польшую рыпу этой удошкой прямо ис-пот тна, ей-погу!

Мартини подбежал к краю лодки, наклонился за борт и принялся тарашиться на воду.

– Боже мой, – сказал он, но что именно он увидел в темной глубине, осталось для всех нас загадкой.

Другие спортивные лодки сновали туда-сюда вдоль побережья, но Джордж даже не сделал попытки к ним приблизиться; он правил мимо них, постепенно продвигаясь в открытое море.

– Вот увитите, – сказал он. – Мы пойдем тута, где ловят настоящие лотки, гте настоящая рыпа.

Мы скользили по волнам, которые с одной стороны были глубокого изумрудного цвета, с другой – блестящие, словно хромированные. Единственным звуком был гул мотора, то громче, то тише, когда лодка зарывалась носом в волну, а еще смешной, бессмысленный крик маленьких черных птиц, плавающих вокруг лодки и выясняющих друг у друга, в какую сторону плыть. Во всем остальном мире царил тишина. Некоторые из ребят спали, другие смотрели на воду. Мы дрейфовали уже около часа, когда поплавок на удочке Сефелта начал подпрыгивать – и ушел в воду.

– Джордж! Джордж, помоги нам!

Но Джордж не собирался прикасаться к удочке; он только ухмыльнулся и велел Сефелту ослабить натяжение, «держать кончик удочки кверху – кверху! – и вытаскивать, к шертовой матери, эту рыпу!»

– Но что, если у меня начнется припадок? – прокричал Сефелт.

– Ну, тогда мы просто возьмем крюк, насадим тебя на него и используем в качестве наживки, – сказал Хардинг. – А теперь тащи эту рыбу, как капитан приказал, и не думай о припадке.

В тридцати ярдах от лодки рыба блеснула на солнце серебряной чешуей, Сефелт захлопал глазами и пришел в такой восторг, что не сумел справиться с удочкой, и рыба, оборвав леску, вместе с крючком ушла в глубину.

– Ввевх, говорил я тебе! Ты слишком сильно тянуть леску, и он вырваться, понимаешь? Надо терзать концом ввевх... ввевх! Ей-погу, ты упустил отню большую серепрянку.

Побледневший, с трясущимся подбородком Сефелт наконец отдал удочку Фредериксону.

– Ну ладно, но если ты поймаешь рыбу с крючком во рту, знай, что это – моя!

Я был в таком же восторге, как и все остальные. Я не собирался рыбачить, но когда увидел стальную мощь лосося на конце лески, слез с крыши рубки и натянул куртку, ожидая своей очереди к удочке.

Скэнлон начал принимать ставки на самую большую и на первую пойманную рыбу, по четыре цента с каждого, и, как только сложил деньги в карман, Билли вытащил какую-то странную штуковину, похожую на десяти фунтовую жабу с колючками, как у дикобраза.

– Это не рыба, – сказал Скэнлон. – Ты ничего не выиграл.

– Но это и не п-п-птица.

– Шлушайте сюта, это – морскаящука, – сказал нам Джордж. – Эта рыпа хороша тля еты, только нато снять все ее поротавки.

– Вот видишь. Это – тоже рыба. П-п-плати.

Билли отдал мне удочку, взял деньги, отошел и сел поближе к рубке, где были Макмерфи с девушкой, глядя на закрытую дверь с самым несчастным видом.

– Х-х-хотел бы я, чтобы у нас было д-д-остаточно удочек д-д-для всех, – сказал он, прислоняясь к стенке рубки.

Я сидел с удочкой и смотрел, как леска уходит в кильватер. Я втянул носом воздух и почувствовал, что четыре банки пива ослабили дюжину контрольных сопротивлений внутри меня: все вокруг блестело, зыбилось, мерцало и вспыхивало на солнце.

Джордж прокричал, чтобы мы посмотрели вперед, дескать, там, впереди, есть на что посмотреть. Я тоже обернулся, чтобы взглянуть, но все, что я увидел, было большое бревно, качающееся на воде, и эти черные морские чайки кружились и ныряли вокруг него, словно черные листья, подхваченные пыльной бурей. Джордж немного прибавил ход, направляясь туда, где собрались птицы, и от скорости моя леска натянулась, и я уже не мог ничего видеть и даже не мог сказать, клюет у меня или нет.

– Эти репята, эти пакланы, они летят за косяком рыпы-свешки, – объяснил нам Джордж. – Маленькие пелые рыбы размером с палец. Ты их сушишь, и они корят, как свешки. Эту рыпу можно есть, хорошая рыпа. И коворю вам, если найдешь польшой косяк рыпы-свешки, снашит, ты нашел, где кормится серепрянный лосось.

Он направил лодку прямо туда в гущу птиц, позабыв о плывущем бревне, и неожиданно гладкие блестящие склоны волн вокруг меня покрылись ныряющими птицами, бьющейся рыбешкой и лоснящимися серебристо-синими спинами лосося, которые торпедами прорезали воду. Я увидел, как одна спина изменила направление и двинулась к месту в тридцати ярдах от конца моей удочки, где должна была быть моя сельдь. Я вцепился в удочку, сердце мое заколотилось, и тут же почувствовал обеими руками толчок, как будто кто-то ударил по удочке битой, и леска начала разматываться с катушки под моей рукой, красная, словно кровь.

– Потсекай и сматыфай! – кричал мне Джордж, но я знал об этом столько же, сколько соринка может быть в глазу, так что я лишь крепче вцепился в удочку и держал ее до тех пор, пока не пошла желтая леска. А потом катушка замедлила ход и остановилась.

Я огляделся, три другие удочки плясали так же, как моя.

– Ввевх! Ввевх! Дерши конец ввевх! – вопил Джордж.

– Макмерфи, вылезай и посмотри на это.

– Благослови тебя Бог, Фред, ты поймал мою рыбу!

– Макмерфи, нам нужна помощь!

Я услышал смех Макмерфи и краем глаза увидел его, стоящего в дверях рубки, он даже не попытался двинуться с места или сделать что-то, а я был слишком занят борьбой с рыбой, чтобы просить его о помощи. Все кричали ему, чтобы он сделал что-нибудь, но он не двигался. И даже доктор, у которого глубоководный спиннинг, попросил Макмерфи ему помочь. А Макмерфи только смеялся. Наконец Хардинг понял, что Макмерфи и не собирается ничего предпринимать, сам схватил багор, загарпунил мою рыбу и бросил ее в лодку ловким, грациозным движением, словно занимался этим всю жизнь. Здоровенная, как моя нога, думал я, как столб ограды! Она больше чем любая из рыб, которых мы добывали на водопаде. Лосось бился в лодке, и это было похоже на взбесившуюся радугу! Он пачкал все кровью и разбрасывал чешую, словно серебряные монетки, и я испугался, что он сейчас выпрыгнет за борт. Макмерфи все еще не сделал ни малейшего движения, чтобы помочь. Скэнлон схватил рыбу и принялся с ней бороться, чтобы не дать ей перепрыгнуть через борт. Девушка прибежала снизу с криком, что теперь ее очередь, черт побери, схватила мою удочку и три раза поймала меня на крючок, пока я пытался насадить для нее наживку.

– Вождь, черт бы тебя побрал, что ты копаешься! Ух, у тебя палец в крови. Что, этот монстр тебя укусил? Кто-нибудь, завяжите Вождю палец – быстро!

– Мы снова входим в косяк! – кричит Джордж, и я забросил леску и увидел, как кусок сельди исчез среди темных сине-серых спин лосося, и леска с шипением ушла в воду.

– О нет, ты ведь не будешь, черт тебя побери! О нет...

Девушка вскочила, зажав толстый конец удочки между ног и вцепившись обеими руками пониже катушки, и катушка, раскручиваясь, била ее по рукам.

– О, ты ведь не будешь...

На ней все еще была зеленая куртка Билли, но катушка вертелась, как вентилятор, и куртка распахнулась, и каждый увидел, что футболки на ней больше нет. Все вытаращились, пытаюсь одновременно совладать с

собственной рыбой, увильнуть от моей, которая бьется в лодке, а ручка катушки трясет ее грудь с такой скоростью, что ее соски кажутся просто двумя красными пятнышками!

Билли бросился на помощь. Обхватил ее сзади и прижал удочку к груди, и катушка остановилась, прижатая к ее телу. Ее груди казались такими твердыми, что я подумал, они с Билли вполне могут поменяться ролями, только она все равно удержит удочку.

Неразбериха продолжается довольно долго, а в открытом море – это одна секунда. Все несут вздор, борются, сыпят проклятиями, пытаются удержать свои удочки, одновременно глядя на девушку; шумная битва между Скэнлоном и моей рыбой под ногами; лески запутались и рвутся каждая в свою сторону – они танцуют и пляшут в руках, так же как пенсне доктора зацепилось за леску, и рыба кидается на линзы, принимая их за наживку, и девушка ругается последними словами и смотрит на свою обнаженную грудь, одна – белая, другая – ярко-красная, а Джордж в довершение всего перестает смотреть вперед, врезается в бревно, и двигатель глохнет.

И все это время Макмерфи смеется – он смеется над девушкой, над ребятами, над Джорджем, надо мной, высасывающим кровь из пальца, над капитаном, оставшимся на пирсе, и над мотоциклистом, и над ребятами с заправки, и над пятью тысячами домов, и над Большой Сестрой, надо всем. Он знает: ты должен смеяться над тем, что тебя тревожит, просто чтобы сохранить душевное равновесие, удержать мир, чтобы он окончательно не снес тебе крышу. Он знает: у всего есть темная сторона; что мой палец дико болит, и что его подружка поранила грудь, и что доктор потерял свои очки, но он не позволяет боли заслонить юмор, так же как не позволяет юмору заслонить боль.

Замечаю, что Хардинг в изнеможении повалился рядом с Макмерфи – и тоже хохочет. И смеется Скэнлон со дна лодки. Над самим собой, как и над всеми нами. И девушка, у которой в глазах все еще плещется страдание, когда она переводит взгляд с белой груди на красную, она тоже начинает смеяться. И Сефелт, и доктор – все.

Это начинается медленно и работает, словно насос, когда человек становится все больше и больше. Я смотрел на них, был одним из них, смеялся вместе с ними – и в то же время не был с ними вместе. Я был не в лодке, я выныривал из воды, и меня подхватывало ветром вместе с черными птицами, я был высоко над собой, я смотрел вниз и видел себя и остальных ребят, видел лодку, качающуюся среди ныряющих птиц, видел Макмерфи в окружении дюжины парней и наблюдал за ними, хохочущими так, что смех расходился по воде широкими кругами все дальше и дальше, пока не разбивался о пляжи по всему побережью, волна за волной, волна за волной.

Доктор подцепил кое-что на свой глубоководный спиннинг, и каждый из нас, кроме Джорджа, уже поймал и вытащил свою рыбу за то время, пока он тащил вверх свою добычу. Мелькнул беловатый силуэт, а потом, несмотря на все старания доктора вытащить рыбину, она уходила обратно в глубокие воды. Стоило ему снова вытянуть ее на поверхность, – он тащил и крутил катушку, упрямо кряхтя и отказываясь от любой помощи, – как, завидев свет, она снова уходила в глубину – только ее и видели.

Джордж не стал заводить лодку, а вместо этого спустился к нам, чтобы показать, как чистить рыбу и выдирать жабры, чтобы не испортить вкус. Макмерфи нанизал по куску мяса на каждый конец четырехфутовой веревки, подбросил ее в воздух и заставил двух пронзительно орущих птиц описывать круги.

— Теперь до смерти не разлучатся.

Лодка внутри и большинство людей были заляпаны кровью и чешуей. Некоторые из нас пытались отстирать свои куртки, опустив их за борт. Так мы и развлекались: немного рыбачили, выпили еще один ящик пива и кормили птиц до обеда, когда лодка лениво развернулась навстречу волнам, а доктор все трудился над своим монстром. Ветер крепчал, и лодку стало бросать с волны на волну. Джордж сказал доктору: пусть он или вытаскивает свою рыбу, или бросает это дело, потому что небо на горизонте ему не нравится. Доктор ничего не ответил. Он лишь крепче вцепился в удилище, наклонился вперед, ослабил леску и поднялся снова.

Билли с девушкой перебрались на нос лодки, болтали и смотрели на воду. И тут Билли что-то увидел и закричал нам; мы все бросились в ту сторону. Примерно в десяти или пятнадцати футах под нами тяжело проплывало что-то широкое и белое. Было странно смотреть, как оно поднимается из воды — нелепое белое пятно, словно туман, становящееся все более плотным и живым...

— Господи Иисусе, — вскричал Скэнлон, — это рыба доктора!

Рыба была с другой стороны от доктора, но мы видели, что его леска идет к этому подводному силуэту.

— Нам ни за что не затащить ее в лодку, — сказал Сефелт. — А ветер становится сильнее.

— Это — польшая кампала, — сказал Джордж. — Иногда они весят две-три сотни фунтов. И прихотится потнимать ее лепеткой.

— Придется бросить это дело, док, — сказал Сефелт и положил руку ему на плечо.

Доктор ничего не ответил; его одежда пропотела насквозь, а глаза стали ярко-красными оттого, что он так долго был без очков. Он продолжал тянуть, пока рыба не появилась с его стороны лодки. Мы еще несколько минут разглядывали ее у поверхности, а потом начали готовить веревку и багор.

Но даже с помощью багра нам понадобился час, чтобы втащить рыбу на корму. Нам пришлось вытаскивать ее с помощью трех других удочек. Макмерфи наклонился, запустил руку ей под жабры и с усилием втащил ее, белую, просвечивающую и плоскую, и она шлепнулась на дно лодки вместе с доктором.

— Это было что-то. — Доктор пыхтел на полу, не в силах оттолкнуть от себя гигантскую рыбу. — Это действительно... было что-то.

Всю дорогу до берега лодка качалась и трещала, а Макмерфи рассказывал мрачные истории о кораблекрушениях и акулах. У берега волны стали еще больше, с их высоких гребней ветер поднимал белую пену, и она кружилась в воздухе вместе с чайками. У входа в бухту волны поднимались выше лодки, и Джордж заставил нас всех надеть спасательные жилеты. Я заметил, что все спортивные лодки уже стояли у причала.

Трех жилетов нам не хватило, и мы начали спорить, кто из нас окажется таким храбрым, чтобы взять эту высоту без жилета. В конце концов сошлись на том, что это будут Билли Биббит, Хардинг и Джордж, который вообще не соглашался надевать жилет по причине того, что он грязный. Все были порядком удивлены, когда Билли сам вызвался добровольцем, тут же стащив с

себя жилет, помог девушке его надеть, но еще больше нас удивило то, что Макмерфи не рвался быть одним из героев; все время, пока шла ругань, он стоял привалившись спиной к рубке, расставив ноги, чтобы удержаться от качки, и смотрел на ребят, не говоря ни слова. Только смотрел и ухмылялся.

Мы миновали мол и рухнули в водяную яму, нос лодки смотрел прямо на шипящий гребень волны, идущей перед нами, а сзади нависала другая темная волна, и все, кто стоял на корме, вцепились в поручни, глядя на водяную гору, гнавшуюся за нами, на черные камни мола в сорока футах слева от нас и на Джорджа за штурвалом. Он стоял, словно мачта, и все время вертел головой, глядя то назад, то вперед, включая полную скорость, замедляя ход и включая ее снова, постепенно продвигаясь вперед и взбираясь вместе с лодкой на высокий склон впереди идущей волны. Он сказал нам, прежде чем мы начали штурмовать гавань, что, если мы перескочим через гребень и пойдем впередиволны, мы потеряем управление, как только днище и руль окажутся в воздухе, а если снизим скорость, нас сумеет догнать задняяволна, она разобьет корму и обрушит на лодку десять тонн воды. Никто не шутил над тем, как он вертит головой вперед и назад, словно она у него была на шарнирах.

В бухте море было тихим, только рябь шла по поверхности воды, и на причале рядом с магазином мы увидели капитана, поджидавшего нас с двумя копами. Все остальные бездельники столпились у них за спиной. Джордж направил к ним лодку на полной скорости, произведя на всех неизгладимое впечатление, пока капитан не начал махать руками и вопить, чтобы мы остановились, а копы вместе с остальными бездельниками отступили на ступеньки. И когда лодка уже должна была разнести причал, Джордж повернул рулевое колесо, дал задний ход и с оглушительным ревом пристроил лодку прямо напротив резиновых шин, словно в колыбельке. Мы выскочили на причал и привязали лодку, когда по воде пошла волна с белой пеной и все лодки у причала закачались и наклонились, будто мы привезли с собой море.

Капитан, копы и бездельники с топотом побежали к нам вниз по ступеням. Доктор вступил с ними в перепалку, сразу же заявив, что у них нет никакого права задерживать нас, поскольку наша поездка законная, финансируемая правительством, и если мы и будем с кем-либо иметь дело, то только с федеральным агентством. Кроме того, не мешало бы провести расследование насчет количества спасательных жилетов на лодке. Разве не полагается по закону, чтобы спасательным жилетом был снабжен каждый сажающийся в лодку? Поскольку капитан не нашелся, что на это ответить, копы записали несколько фамилий и удалились, растерянно ворча. Как только они покинули причал, Макмерфи с капитаном принялись ругаться и крыть друг друга последними словами. Макмерфи достаточно много выпил и все еще боролся с качкой: он поскользнулся на мокром дереве, два раза падал в океан, прежде чем обнаружил, что один из его башмаков вполне годится для того, чтобы запустить им капитану в лысую башку и тем самым покончить с разногласиями. Он промахнулся, все благополучно разрешилось, и капитан вместе с Макмерфи отправились в магазин за пивом, а мы принялись выгружать из трюма рыбу. Бездельники стояли в верхней части причала, глаза на нас и покуривая самодельные трубки. Мы ждали, что они снова начнут подкалывать девушку, и даже надеялись на это в глубине души, но когда один из них раскрыл рот и что-то сказал, это было не о девушке, а о нашей рыбе, что это самый здоровый палтус из всех, каких он видел на орегонском побережье. Остальные закивали, согласившись с ним. Они подошли к краю причала рассмотреть рыбу. Спросили Джорджа, где он научился так лихо причаливать лодку, и выяснилось, что Джордж не только ходил на рыбацких лодках, но был еще капитаном патрульной лодки в Тихом океане и получил Морской крест.

– Мог бы занять теплое местечко на государственной службе, – сказал один из бездельников.

– Слишком грязно, – ответил ему Джордж.

Они почувствовали перемену, о которой большинство из нас только догадывалось; теперь мы уже не были стайкой слабаков с дрожащими коленками из сумасшедшего дома, которых они сегодня утром осыпали оскорблениями. Они, конечно, не стали так прямо извиняться перед девушкой, но когда попросили показать рыбу, были при этом сама вежливость. А когда Макмерфи с капитаном вернулись из магазинчика, мы все вместе выпили пива на дорожку.

В больницу мы возвращались поздно.

Девушка спала на груди Билли, а когда проснулась, выяснилось, что у него затекла рука, потому что он всю дорогу держал ее в страшно неудобном положении, и девушке пришлось ее растирать. Он сказал, что, если у него как-нибудь окажутся свободные выходные, он бы пригласил ее на свидание, и она сказала, что может навестить его недельки через две, пусть только скажет, в какое время, и Билли посмотрел на Макмерфи, не зная, что ответить. Макмерфи обнял их за плечи и сказал:

– В два часа, заруби себе на носу.

– В два часа пополудни?

Он подмигнул Билли и потрепал девчонку по голове своей лапищей.

– Нет. В субботу, в два часа ночи. Проскользнешь в ворота и постучишь в то окно, у которого стояла сегодня утром. Я поговорю с ночной сменой, чтобы тебя пустили.

Она захихикала и кивнула.

– Ты, чертов Макмерфи, – сказала она.

Кое-кто из Острых в отделении еще не лег, они собрались в уборной и спорили, утонули мы или нет. Мы шагали по коридору, испачканные кровью, прожаренные солнцем, воняющие пивом и рыбой, и несли своих лососей, словно мы герои-победители. Доктор спросил, не хотят ли они выйти и полюбоваться на его палтуса в багажнике машины, и мы все пошли назад – кроме Макмерфи. Он сказал, что немного устал и ему лучше завалиться на боковую. Когда он ушел, один из Острых, не ездивших с нами на рыбалку, спросил, почему Макмерфи выглядит таким пришибленным и уставшим, когда все остальные бодры и полны восторга. Хардинг объяснил, что вся разница в том, что он загорел меньше других.

– Помните, как Макмерфи ворвался сюда на всех парах, закаленный суровой жизнью на вольном воздухе, то есть в исправительно-трудовой колонии, румяный, пышущий здоровьем. Мы просто свидетели того, как увядает его величественный психопатский загар. Вот в чем дело. Сегодня он провел несколько изнурительных часов в тусклом свете рубки, тогда как мы были на палубе и впитывали витамин D. Конечно, и они могли до определенной степени его изнурить, эти суровые испытания в трюме, так что поразмыслите об этом, друзья. Что касается меня, я вполне мог бы обойтись несколько меньшей дозой витамина D в обмен на его исправительные работы. Особенно если бы бригадиром у меня была малютка Кэнди. Разве я не прав?

Я этого не сказал, но подумал: может быть, он не так уж и не прав. Я заметил, что Макмерфи устал еще раньше, когда возвращались в больницу и

он настоял, чтобы мы проехали мимо местечка, где он жил когда-то. Мы только что распили последнюю банку пива и выбросили пустую жестянку в окно на светофоре, и откинулись на сиденьях, чтобы почувствовать прошедший день, плыть в сладкой дремоте, которая охватывает тебя после целого трудового дня, когда ты, не жалея себя, занимался приятным тебе делом – наполовину прожаренный солнцем, наполовину пьяный, бодрствующий только потому, что тебе хочется растянуть удовольствие подольше. Я смутно ощутил, что начинаю видеть в окружающей жизни что-то хорошее. Макмерфи учил меня этому. Не помню, когда мне было так хорошо – только когда я был мальчишкой и все вокруг было хорошо, и земля все еще напевала мне детские стишки.

Мы поехали не вдоль побережья, а двинулись вглубь, чтобы увидеть городок, в котором Макмерфи прожил дольше всего за всю свою жизнь. Мы спускались с холма Водопад и уже подумали, что заблудились, когда въехали в городок размером раза в два побольше больничной территории. По улице, где мы остановились, ветер гнал песок, закрывая солнце. Макмерфи припарковался у каких-то зарослей и показал рукой через дорогу:

– Здесь. Вот этот. Выглядит как самый большой сорняк – жалкий приют моей растроченной юности.

Вечерело, вдоль пыльной улицы выстроились сбросившие листву деревья, вонзившиеся в тротуар, словно деревянные молнии; асфальт вокруг них потрескался, и каждое окружено кольцом ограды. Линия железного частотола выростала из земли, окружая заросший перепутавшимися сорняками двор, а в глубине виднелся большой дом с крыльцом, упорно подставляющий ветру рахитичное плечо, чтобы его не унесло на пару кварталов дальше, словно картонную коробку из бакалейной лавки. Ветер уронил пару капель дождя, и я увидел, что окна дома закрыты ставнями, а дверь гремит на цепи.

А на крыльце висела одна из тех штук, которые делают японцы, – кусочки стекла на веревочке, и они звенят и стучаются друг о друга при малейшем дуновении; и осталось только четыре кусочка стекла. И эти четыре кусочка крутились, сбивались вместе и тихонько звякали над деревянным полом крыльца.

Макмерфи снова завел машину.

– Как-то однажды заезжал я сюда. Это было в тот год, когда мы возвращались с корейской бойни. Навестил. Мои старики еще были живы. Дома было хорошо. – Он отпустил сцепление, двинулся было вперед, но снова остановился. – О боже! – сказал он. – Посмотрите туда, видите платье? – Он показал назад. – На ветке, на том дереве? Тряпка, черная с желтым?

Высоко в ветвях мне удалось рассмотреть что-то похожее на флаг.

– Первая девчонка, которая затащила меня в постель, была одета в это самое платье. Мне было лет десять, а ей, наверное, и того меньше, и в то время переспать считалось серьезным делом. Я спросил ее, не кажется ли ей, что нам следует сообщить об этом. Например, сказать родителям: «Мама, мы с Джуди сегодня обручились». И я это серьезно говорил, такой был дурак; думал, если ты это сделал, парень, значит, ты законно женат, прямо с этой минуты, хочешь ты этого или нет, и это правило действует без исключений. Но эта маленькая шлюшка – восемь-девять лет, не больше – потянулась, подняла с пола платье и сказала, что оно мое: «Ты можешь это где-нибудь повесить, а я пойду домой в трусах – они все поймут». Господи Иисусе, девяти лет от роду, – сказал он, потянулся и ущипнул Кэнди за нос, – а знала куда больше любой проститутки.

Она засмеялась и укусила его за руку; он стал разглядывать след от зубов.

— Она отправилась домой в трусах, а я дождался темноты, рассчитывая потихоньку выбросить это чертово платье, чтобы никто не заметил, — но вы видели, какой ветер? — он подхватил платье, словно коршун, и унес его куда-то за дом, я и не видел куда, а на следующее утро — Господи Боже! — оно болталось на этом дереве, и мне казалось, что весь город будет смотреть на него. — Он лизнул руку с таким удрученным видом, что Кэнди рассмеялась и поцеловала его. — Так что мой флаг развевался на ветру, и с того самого дня вплоть до сегодняшнего я жил согласно своему имени — неутомимый любовник, — и, видит Бог, это правда: маленькая девятилетняя девчонка из моего детства — вот кого следует в этом винить.

Дом остался позади. Он зевнул и подмигнул.

— Научила меня любить, благослови Бог ее сладкий зад.

Обогнавшая нас машина задними фарами осветила лицо Макмерфи, и я увидел такое выражение, какого он никогда бы не допустил, если бы знал, что его увидят... Смертельно уставшее, напряженное и отчаянное, как будто он хотел что-то сделать, но у него уже не оставалось времени...

Между тем его добродушный, расслабленный голос в скупых подробностях описывал нам его жизнь, которой могли бы жить и мы, бесшабашное прошлое, полное детских радостей, и пьяных приятелей, и любящих женщин, и отчаянных баталий с превосходящими силами противника — о такой жизни мы все могли только мечтать.

Часть четвертая

Большая Сестра предприняла очередной обходной маневр на следующий день после рыбалки. Эта идея посетила ее, когда она обсуждала с Макмерфи днем раньше, сколько денег он намерен заработать на рыбалке и на прочих маленьких увеселениях в этом роде. Она обдумывала эту идею всю ночь, рассматривая ее со всех сторон, пока не преисполнилась абсолютной уверенности, что на этот раз осечки быть не должно, и весь следующий день делала намеки, чтобы по отделению поползли слухи, и ждала, пока закваска не подойдет, прежде чем позволить себе открыто высказаться на этот счет.

Она знала, что люди есть люди и что раньше или позже они начнут выказывать недовольство любым, кто дает им больше обычного, недовольство Санта-Клаусом, миссионерами, благотворителями, которые жертвуют деньги на какие-то мероприятия, и что раньше или позже они начнут думать: для чего им это нужно? Кривые улыбочки, когда слышат о том, что молодой адвокат принес детям в соседнюю школу мешок орехов-пекан — это предвыборный трюк, он хочет пролезть в сенат штата, хитрый дьявол, — и говорят один другому: ищи дураков!

Она знала, что не составит особого труда заставить ребят усомниться и задуматься, зачем, к слову говоря, этот Макмерфи тратит столько времени и сил, устраивая поездки на рыбалку, организуя партии для игры в бинго и тренируя баскетбольную команду. Что толкает его на это, тогда как все остальные в отделении вполне довольны, играя в пинокль и читая прошлогодние журналы? Как может этот парень, этот буян-ирландец из исправительно-трудовой колонии, откуда его отправили за драки и азартные

игры, обвязывать себе голову платком, болтать, словно подросток, и два часа подряд заставлять всех Острых в отделении хлопать ему, когда он, изображая девушку, пытается научить Билли танцевать? И как может он – профессиональный мошенник, ярмарочный зазывала, прирожденный игрок и шулер – враждовать с женщиной, которой достаточно лишь слово сказать, и одного – выпишут, а другого – нет?

Большая Сестра начала раздувать пламя сомнения, наклеив на стену объявление о состоянии счетов пациентов за последний месяц; должно быть, это у нее заняло не один час работы, и ей пришлось изрядно порыться в записях. График ясно показывал, что счета Острых, кроме одного, постепенно истощаются. А счет одного неизменно возрастал начиная с первого дня появления.

Острые принялись шутить с Макмерфи, что, похоже, он всех их по очереди обобрал, а он этого и не отрицал. Ни на секунду. На самом деле он даже хвастался, что, если задержится в этой больнице на год или около того, он, вероятно, ко дню выписки обретет финансовую независимость и поселится во Флориде до конца своих дней. При нем все над этим смеялись, но когда он уходил из отделения на психотерапию, трудотерапию или физиотерапию или когда он отправлялся на сестринский пост, чтобы повыступать насчет чего-нибудь, отвечая на ее застывшую пластмассовую улыбку широкой нахальной ухмылкой, они уже не особенно смеялись.

Они спрашивали друг друга, с чего это он трудится с утра до вечера, будто пчелка, так радеет о пациентах – то требует отмены правила, что больные должны собираться группой не менее восьми человек, чтобы отправиться куда-нибудь («Вот Билли здесь говорил о том, что снова порезал запястье, – заявил он на собрании, где спорили насчет этого правила. – Итак, ребята, есть ли среди вас семеро добровольцев, готовых к нему присоединиться, чтобы принять лечение?»), или как он вертит доктором, который после поездки на рыбалку здорово сблизился с пациентами, уговорив его подписаться на «Плейбой», «Наджет» и «Мэн» и избавиться от старых «Макколл'з», которые приносил из дому Связи с общественностью с обрюзгшим лицом и оставлял их стопкой в отделении – каждая статья, которая, по его мнению, представляла интерес, отмечена зелеными чернилами. Макмерфи даже отправил по почте петицию в Вашингтон, до востребования, спрашивая, почему до сих пор применяют для лечения лоботомию и электрошок. Зачем старине Маку все это нужно?

Эта мысль витала в отделении примерно неделю, после чего Большая Сестра попыталась сыграть свою партию на собрании группы: в первый раз, когда она попыталась это сделать, Макмерфи был с нами и разбил ее раньше, чем она набралась духу начать (она объявила группе, как была шокирована и смущена, узнав, до чего низко позволило себе пасть ее отделение: «Оглянитесь вокруг; настоящая порнография, вы выдираете эти листы из журналов и вешаете на стены»). Она, между прочим, решила обратить на это внимание, потому что главный корпус намеревается провести проверку в больнице. Она сидела опершись на спинку стула, готовая продолжить и указать, кто во всем этом виноват и почему, эту пару секунд она сидела в полной тишине, словно королева на троне, когда Макмерфи, взорвавшись хохотом, нарушил ее молчание, сообщив, что она может в нас не сомневаться, – кстати, не забудьте напомнить главному корпусу принести маленькие ручные зеркала, когда они явятся со своей проверкой), так что в следующий раз она подготовила свой спектакль, предварительно убедившись, что его на собрании не будет.

Ему звонили по междугороднему из Портленда, и он отправился в вестибюль вместе с черным парнем, ожидая, когда ему перезвонят. Мы начали передвигать мебель, подготавливая дневную комнату к собранию, самый мелкий черный парень спросил, не пойти ли ему вниз и не позвать ли

Макмерфи и Вашингтона, но она сказала нет, все в порядке, пусть остаются там, кроме того, некоторые из пациентов будут рады возможности обсудить нашего мистера Рэндла Патрика Макмерфи в его отсутствие, когда над ними не тяготеет его сильная личность.

Собрание началось со всяких смешных рассказов о нем и о том, что он совершил, и ребята некоторое время говорили о том, какой он классный парень, и она спокойно выжидала, пока все не выговорятся. Потом подкинула им вопросы: что с Макмерфи? Что заставляет его быть таким, делать то, что он делает? Некоторые предположили, что, возможно, история с дракой в исправительно-трудовой колонии для того, чтобы его определили сюда, — всего лишь один из его обычных розыгрышей и, может быть, на самом деле — он больней больше, чем мы думаем. При этих словах Большая Сестра улыбнулась и подняла руку.

— Больная лиса, — произнесла она. — Полагаю, вы это хотите сказать о Макмерфи?

— Это как понимать? — спросил Билли. Макмерфи был его личным другом и его героем, и ему не нравилось это сравнение. — Что вы хотите этим ск-к-казать: больная лиса?

— Это простая наблюдательность, Билли, — любезно отвечала Большая Сестра. — Давайте посмотрим, сможет ли кто-либо из присутствующих объяснить тебе, что это значит. Как насчет вас, мистер Скэнлон?

— Она хочет сказать, Билли, что Маку никого не одурачить.

— Но никто и не говорит, что он д-д-дурачит! — Выговаривая последнее слово, Билли ударил кулаком по ручке стула. — Но мисс Рэтчед намекает..

— Нет, Билли, я ни на что не намекаю. Я просто заметила, что Макмерфи — не тот человек, который станет рисковать без причины. Вы согласитесь со мной, не так ли? Вы все со мною согласны?

Все молчали.

— И тем не менее, — продолжала она, — он совершает поступки, словно бы совсем не думая о себе, словно он мученик или святой. Отважится ли кто-нибудь утверждать, что Макмерфи святой? — Она знала, что может сколько угодно улыбаться, оглядывая комнату, в ожидании ответа. — Нет, не святой и не мученик. Давайте исследуем оборотную сторону филантропии этого человека? — Она вытащила из корзины лист желтой бумаги. — Посмотрите на некоторые из этих даров, как их, вероятно, назовут его преданные сторонники. Во-первых, ванная комната. Что это на самом деле дало? Потерял ли он что-либо, забрав ее под казино? С другой стороны, как вы думаете, сколько прибыли он получил в короткое время, будучи крупье в маленьком Монте-Карло, в который превратилось наше отделение? Сколько потеряли вы, Брюс? Мистер Сефелт? Мистер Скэнлон? Я полагаю, вы все примерно представляете, каковы ваши личные потери, но знаете ли вы, до каких цифр доходят его личные выигрыши согласно вкладу, который он положил на свой счет? Почти три тысячи долларов.

Скэнлон отозвался тихим свистом, но больше никто ничего не сказал.

— У меня есть список и других ставок, которые он здесь записал, если кто-нибудь потрудится посмотреть, включая ставки на его подрывные действия, ставящие своей целью нарушить спокойствие персонала. Все эти азартные игры целиком и полностью идут вразрез с политикой отделения, и каждый, кто имел с ним дело, об этом знал. — Она снова посмотрела в бумагу, а потом положила ее обратно в корзину. — А эта недавняя поездка на рыбалку?

Как вы думаете, какую выгоду мог извлечь Макмерфи из этого мероприятия? Насколько я понимаю, он воспользовался машиной доктора, взял с него деньги на бензин и, как я уже говорила, воспользовался некоторыми другими преимуществами, не заплатив ни цента. Совсем как лиса, должна я сказать. — Она подняла руку, чтобы остановить Билли, который пытался ее перебить. — Пожалуйста, Билли, пойми меня, я не критикую подобного рода занятия как таковые, я только думаю, будет лучше, если у нас не останется никаких иллюзий относительно его мотивов. Но может быть, это нечестно — выдвигать такие обвинения в отсутствие человека, о котором мы говорим. Давайте вернемся к проблеме, которую мы обсуждали вчера. О чем мы говорили? — Она принялась листать бумаги в корзине. — О чем мы говорили, вы не помните, доктор Спайвей?

Доктор дернулся:

— Нет... подождите... я думаю...

Она вытащила из папки лист бумаги:

— Вот оно. Мистер Скэнлон; его чувства в отношении взрывных веществ. Прекрасно. Сейчас мы займемся этим, а в какой-нибудь другой раз, когда Макмерфи будет присутствовать, вернемся к нему. Однако, полагаю, вы можете пока что обдумать то, о чем мы сегодня говорили. Итак, мистер Скэнлон...

Позже в тот день мы собрались, человек восемь или десять, у двери буфета, ожидая, пока черный парень сопрет наконец масло для волос, некоторые из ребят заговорили об этом снова. Они сказали, что не согласны с тем, что сказала Большая Сестра, но, чёрт, старая дева кое-что подметила верно. И все равно, черт побери, Мак хороший парень... действительно.

Наконец Хардинг высказался в открытую:

— Друзья мои, когда люди так сильно все отрицают, волей-неволей поверишь в их виновность. В глубине души, в глубине ваших скаредных маленьких сердечек вы верите, что наша мисс Ангел Милосердия Рэтчед абсолютно права в отношении каждого предположения, которое она выдвинула сегодня против Макмерфи. Вы знаете это так же, как и я. К чему это отрицать? Давайте будем честны и воздадим этому человеку должное, вместо того чтобы втайне критиковать его талант капиталиста. Что плохого в том, что он получит небольшую прибыль? Мы, без сомнения, начинаем больше ценить свои деньги всякий раз, как он нас обдирает, разве не так? Он практичный человек, он не может пройти мимо легкой добычи. Он не скрывает своих мотивов, разве не так? Почему же мы должны притворяться? У него здоровое и честное отношение к своей софистике, и я целиком и полностью на его стороне, так же как на стороне доброй старой капиталистической системы с ее свободным предпринимательством, его честного двуглавого орла, и американского флага, благослови его Господь, и мемориала Линкольна, и всего такого. Я просто вынужден защитить честь моего друга, как добропорядочного, красно-бело-синего стопроцентного американского жулика. Хороший парень, не сойти мне с этого места. Мы нанесли бы Макмерфи глубочайшую рану, если бы он узнал о подлинных мотивах, которые согласно человеческой молве стоят за некоторыми его деяниями. Он бы воспринял это как умышленное оскорбление в отношении его ремесла. — Хардинг полез в карман за сигаретами, не нашел, стрельнул одну у Фредериксона, зажег, театрально чиркнув спичкой, и продолжал: — Признаю, поначалу его действия меня смутили. Выбить окно — Господи, подумал я, вот перед вами человек, который, похоже, действительно хочет остаться в этой больнице, держаться вместе с друзьями и все такое прочее, пока я не понял, что Макмерфи делал это потому, что не хотел потерять кое-что ценное. Он провел здесь большую часть своего срока. И да не введут вас в заблуждение его неотесанные манеры, он —

ловкий делец, уравновешенный и расчетливый. Смотрите, все, что он делает, он делает по какой-то причине.

Билли не собирался сдаваться без боя.

— Да. А как насчет того, что он учит меня танцевать? — Он щелкнул пальцами, и я увидел, что сигаретные ожоги на его запястьях почти зажили, а на их месте красуются татуировки, которые он нарисовал, облизывая химический карандаш. — Как насчет этого, Хардинг? Разве он делает д-д-деньги на том, что учит меня танцевать?

— Не расстраивайся, Уильям, — сказал Хардинг. — Или просто потерпи немного. Давайте просто посидим и подождем — и увидим, как это работает.

Похоже было, что теперь в Макмерфи верили только мы с Билли. И в тот же вечер Билли перебежал на сторону большинства и принял точку зрения Хардинга — когда Макмерфи вернулся после очередного телефонного звонка и сказал Билли, что свидание с Кэнди точно состоится, и добавил, записывая ему адрес, что было бы неплохо послать ей чего-нибудь на дорогу.

— Д-деньги? Ск-к-колько? — Он посмотрел на ухмыляющегося Хардинга.

— О, знаешь, парень, может быть, десять баксов и десять...

— Двадцать баксов! Автобус оттуда ст-т-только не стоит.

Макмерфи посмотрел из-под козырька кепки, медленно улыбнулся Билли, потом почесал горло, высунув язык.

— Парень, у меня в глотке пересохло. А к субботе пересохнет еще сильнее. Ты ведь не будешь против, чтобы она принесла мне глоточек, ведь нет, Билли? — И одарил Билли таким невинным взглядом, что тот не удержался от смеха и покачал головой, нет, дескать, и отправился в угол, чтобы взволнованно обсудить планы на будущую субботу с человеком, которого он подозревал в том, что он — сутенер.

Я все еще держался при своем мнении — думал о том, что Макмерфи — великан, сошедший с небес, чтобы спасти нас от Комбината, опутавшего землю медными проводами и кристаллами, что он — слишком большой, чтобы беспокоиться о таких вонючих микробах, как деньги, но даже я был на полпути к тому, чтобы начать думать как все остальные. А дальше случилось вот что. Он помогал переносить столы в ванную комнату перед одним из собраний группы и увидел, как я стою рядом с контрольной панелью.

— Ради бога, Вождь, — сказал он, — мне кажется, что со времени рыбалки ты вырос на десять дюймов. И, всемогущий Боже, посмотри на свои ноги; они здоровые, как вагоны!

Я посмотрел вниз и увидел, что мои ноги больше, чем я когда-либо помнил, — как и сказал Макмерфи, они раза в два увеличились в размере.

— А рука! Это рука настоящего индейца, бывшего футболиста, если я когда-нибудь такого видел. Знаешь, что я думаю? Тебе нужно чуть-чуть приподнять эту панель — чтобы проверить, как идут дела.

Я покачал головой и ответил «нет», но он сказал, что мы заключили сделку и я просто обязан сделать попытку, чтобы убедиться, как работает система роста. Я не видел другого выхода и потому подошел к панели — просто чтобы показать, что мне это не по силам. Я нагнулся и ухватил ее за ручки.

– Хороший мальчик, Вождь. А теперь просто выпрямляйся. Поставь ноги рядом, так... да-да. Теперь не напрягайся... просто выпрямись. У-у-уф! А теперь отпусти ее.

Я думал, что он будет разочарован, но, когда я сделал шаг назад, он улыбался во весь рот и показывал мне туда, где панель сдвинулась примерно на фут.

– Лучше поставить ее, как она стояла, дружище, чтобы никто не узнал. Пока никто не должен об этом знать.

Потом, после собрания, болтаясь без дела возле игроков в пинокль, он завел разговор о силе, о том, у кого кишка тонка, а у кого нет, и о контрольной панели в ванной комнате. Я подумал, что он хочет рассказать им, как он помогает мне вернуть свой прежний размер; и это бы доказало, что он не все делает ради денег.

Но он обо мне и не упомянул. Он все говорил и говорил, пока Хардинг не спросил его, готов ли он предпринять еще одну попытку и поднять эту штуку, и он сказал: нет, но то, что он не может ее поднять, не доказывает, что сделать этого вообще нельзя. Скэнлон сказал, что, вероятно ее можно поднять с помощью крана, но ни один человек не в состоянии сам поднять ее, и Макмерфи кивнул и сказал: возможно, и так, возможно, и так, но вы не можете говорить о том, чего не знаете.

Я смотрел, как он играет с ними, как заставил их собраться вокруг него и твердит, что никакой человек не сможет ее поднять – и в конце концов они сами предложили ему пари. Я видел, с каким сомнением он отнесся к нему – во всяком случае, так это выглядело. Он давал им повышать ставки, затягивая их все глубже и глубже, пока не заключил пари пять к одному с каждым из них, некоторые поставили по двадцать долларов. Макмерфи ни слова не сказал, что я при нем уже поднял панель.

Всю ночь я надеялся, что он откажется от этой затеи. И на следующий день во время собрания, когда Большая Сестра сказала, что все принимавшие участие в рыбалке должны будут принять специальный душ – на предмет паразитов, я уже начал надеяться, что она каким-то образом вмешается, заставит принимать душ прямо сейчас или что-то в этом роде. Я был согласен на что угодно, только бы не поднимать панель.

Но когда собрание закончилось, мы все пошли в ванную комнату, прежде чем черные ребята успели ее закрыть, и он заставил меня ухватить панель за ручки и поднять. Я не хотел, но ничего не мог поделать. Я чувствовал себя так, как будто помогаю ему обчистить их карманы. Когда они выплачивали ему ставки, разговаривали с ним дружески, но я-то знал, что они чувствуют в глубине души. Я поставил панель на место и выбежал из ванной комнаты, даже не посмотрев на Макмерфи, бросился в уборную. Мне хотелось побыть одному. Я увидел себя в зеркале. Он сделал что обещал: мои руки снова были большими, такими же большими, какими были в старших классах школы, какими были в деревне, и мои грудь и плечи были широкими и твердыми. Я стоял там, глядя в зеркало, когда вошел Макмерфи. Он протянул мне пятидолларовую бумажку:

– Держи, Вождь, деньги на жвачку.

Я помотал головой и двинулся в уборную. Он поймал меня за руку:

– Вождь, это просто в знак признательности. Если ты считаешь, что заслужил больше...

– Нет! Оставь свои деньги себе, я не хочу их.

Он отступил назад, сунул большие пальцы в карманы, наклонил голову и посмотрел на меня. Смотрел довольно долго.

— Ну хорошо, — сказал он. — Тогда скажи мне, в чем дело? Почему это все вокруг начали воротить от меня нос?

Я ему не ответил.

— Разве я не сделал что обещал? Разве я не сделал тебя опять большим? Что с вами случилось, ни с того ни с сего? Вы ведете себя будто я предал родину.

— Ты всегда... выигрываешь!

— Выигрываю? Ты, чертова шлюха, в чем ты меня обвиняешь? Все, что я делаю, — это не даю себя облапошить. Чего вы все взбеленились...

— Мы думаем, что нельзя все время выигрывать...

Я чувствовал, как у меня дрожит подбородок, как бывает, когда собираешься заплакать. Я стоял перед ним с дергающимся подбородком. Макмерфи открыл было рот, чтобы сказать что-то, и вдруг осекся. Вынул руки из карманов, взялся за переносицу двумя пальцами, словно ему жали очки, и закрыл глаза.

— Выигрываю, о Господи! — повторил он с закрытыми глазами. — Ну да, выигрываю.

Я решил, что в том, что произошло в ванной комнате в тот вечер, виноват больше, чем другие. Поэтому единственное, что я мог сделать, чтобы исправить ситуацию, было то, что я сделал, не пытаясь как-то уклониться, обезопасить себя, — я не беспокоился ни о чем, я знал, что нужно сделать, и делал это.

После того как мы вышли из уборной, появились трое черных парней, они собирали всю компанию, чтобы вести в специальный душ. Мелкий черный парень пробрался к приборной панели, растолкав нас черной скрюченной рукой, холодной, словно железный лом, с любопытством поглядывая на растерянных ребят, толпившихся в ванной, и сказал, что Большая Сестра называет это профилактическимочищением и что нас следует вымыть, пока мы не разнесли всяких паразитов по всей больнице.

Мы выстроились в ряд голыми на кафельном полу, а перед нами один из черных парней и в руке у него черный пластиковый шланг. Он разбрызгивает вонючую дезинфицирующую жидкость, густую и тягучую, словно яичный белок. Сначала — волосы, потом — спина, а теперь поворачивайтесь и подставляйте щеки!

Ребята жаловались, и дурачились, и шутили насчет всего этого, стараясь не смотреть друг на друга и на эти маячащие маски цвета грифеля, словно из фильма ужасов, отпечатанные на негативе, направляющие на нас мягкие, сдавленные ружейные стволы из ночных кошмаров. Мальчишки подначивали черных ребят, говоря:

— Эй, Вашингтон, как вы будете развлекаться оставшиесяшестнадцать часов?

— Эй, Уильямс, можешь сказать, что я ел на завтрак?

Все смеялись. Черные парни сжали зубы и не отвечали; раньше, пока этот рыжий не появился в отделении, такого не бывало.

Когда Фредериксон надул щеки, в ванной комнате раздался звук, от которого мелкий черный парень едва не свалился с ног.

— Слушайте! — провозгласил Хардинг, приложив ладонь к уху. — Это небесный ангельский глас!

Все шумели, смеялись, подкалывали друг друга, пока черный парень не подошел к следующему пациенту, и в комнате внезапно наступила абсолютная тишина. Следующим был Джордж. И в ту же секунду, когда прекратились смех, шуточки и жалобы, когда Фредериксон, чья очередь была следующей за Джорджем, вытянулся и отвернулся, а большой черный парень уже собирался попросить Джорджа наклонить голову, чтобы полить его этой вонючей дезинфицирующей жидкостью, — в эту самую секунду до всех нас наконец дошло, что происходит, и почему это происходит, и почему мы все ошибались насчет Макмерфи.

Джордж, принимая душ, никогда не пользовался мылом. Он даже не позволял никому передавать ему полотенце, чтобы вытереться. Парни из вечерней смены, которые обычно присматривали за нашими вторичными и четверговыми вечерними помывками, знали, что проще оставить все как есть, и не приставали к Джорджу. И так продолжалось долгое время. Все черные парни это знали. Но сейчас все понимали — и даже Джордж, отпрянувший назад, с трясущейся головой, прикрывающий себя большими узловатыми руками, — что черный парень с расквашенным носом и с прокисшими мозгами со своими двумя приятелями, стоявшими рядом и глядевшими, что он будет делать, не упустят такого шанса.

— Опusti голову, Джордж...

Все посмотрели туда, где через пару человек стоял Макмерфи.

— А-а-а, давай, Джордж...

Мартини и Сефелт стояли в душе не двигаясь. Водосток у их ног мелкими глотками всасывал воздух и мыльную воду. Джордж на секунду посмотрел в водосток, словно это он с ним разговаривал. Он смотрел, как тот булькает и давится. Потом снова взглянул на шланг в черной руке прямо перед ним, на слизь, которая медленно стекала из маленькой дырочки в конце шланга вниз по чугунным коленцам. Черный парень подвинул шланг на несколько дюймов ближе, Джордж отклонился еще дальше назад, мотая головой.

— Нет, не этой штукой.

— Тебе придется сделать это, Барабанный Бой, — сказал черный парень, и в его голосе звучало чуть ли не сожаление. — Ты должен это сделать. Мы не можем тут разводить насекомых, не можем, понимаешь? Насколько я знаю, они на тебе кишмя кишат!

— Нет! — сказал Джордж.

— А-а-а, Джордж, ты просто не понимаешь. Эти насекомые — они очень-очень крошечные, не больше кончика булавки. И, парень, они попадают тебе в волосы, и вцепляются там, и ввинчиваются тебе под кожу, прямо внутрь тебя, Джордж.

— Нет насекомых! — сказал Джордж.

— А-а-а, дай я тебе расскажу. Джордж: я знавал случаи, когда эти ужасные насекомые на самом деле были как...

— Ну ладно, Вашингтон, — сказал Макмерфи.

Шрам на разбитом носу черного парня изгибался, словно неоновый шнур. Черный парень знал, кто говорит с ним, но даже не повернулся; что услышал, было видно по тому, как он замолчал, разогнул длинный серый палец и поднес его к шраму, полученному во время баскетбольного матча. Он потер нос, затем, растопырив пальцы, поднес их к лицу Джорджа.

— Крабы, видишь, Джордж? Видишь? Теперь ты знаешь, как выглядит краб, правда? Уверен, что у вас там, в рыбацкой лодке, были крабы. Мы же не можем позволить, чтобы эти крабы залезли в тебя, разве можем, Джордж?

— Нет крапов! — закричал Джордж. — Нет! — Он стоял прямо, вскинув брови так, что мы могли увидеть его глаза.

Черный парень на секунду отступил. Остальные двое смеялись над ним.

— Что-то не так, Вашингтон, братишка? — спросил большой парень. — Что-то задерживает процедуру, братишка?

Вашингтон шагнул обратно.

— Джордж, говорю тебе: наклони голову! Или ты наклонишь голову и вымоешься этим, или я до тебя дотронусь! — Он снова — поднял руку — она была большая и черная, словно болотная грязь. — Дотронусь до тебя этой черной! грязной! вонючей рукой, всего облапаю!

— Рука — нет! — сказал Джордж и поднял над головой кулак, словно был готов разбить на куски грифельно-серый череп, рассыпав зубцы, гайки и болты по всему полу.

Но черный парень просто направил шланг в пупок Джорджу и сдавил его, и Джорджа обдало фонтаном дезинфицирующей жидкости. Черный парень направил струю в редкие седые волосы Джорджа, затем растер их рукой, размазывая черноту со своих пальцев по голове старика. Джордж обхватил живот обеими руками и кричал:

— Нет! Нет!

— А теперь повернись спиной, Джордж...

— Я сказал, достаточно, приятель. — На этот раз голос звучал так, что черный парень вынужден был повернуться к Макмерфи. Он с ухмылкой глядел на голого Макмерфи — ни кепки, ни ботинок, ни карманов, чтобы сунуть в них большие пальцы.

— Макмерфи, — произнес он, качая головой, — ты знаешь, я уже начал думать, что мы с тобой никогда не разберемся.

— Ты, проклятый черномазый, — сказал Макмерфи, и голос его был скорее усталым, чем злым. Черный парень ничего не ответил. Макмерфи прибавил голосу: — Ты, проклятый чертов ниггер, мать твою так!

Черный парень покачал головой и захихикал вместе со своими приятелями.

— Как вы полагаете, братья, чего добивается Макмерфи такими разговорчиками? Он хочет, чтобы я первый начал? Хи-хи-хи. Разве он не знает, что нас учили не реагировать на дурацкие оскорбления психов?

– Проклятый гомик! Вашингтон, ты просто...

Вашингтон отвернулся от него и снова посмотрел на Джорджа. Джордж все еще стоял скрючившись, глотая ртом воздух, потому что дезинфицирующая жидкость попала ему в желудок. Черный парень ухватил его за руку и развернул лицом к стене.

– Вот так, Джордж, а теперь подставляй щечки.

– Не-е-ет!

– Вашингтон, – сказал Макмерфи. Он глубоко вздохнул и шагнул к черному парню, оттеснив его от Джорджа. – Вашингтон, ну хорошо, хорошо...

И все услышали в голосе Макмерфи беспомощность, отчаяние человека, загнанного в угол.

– Макмерфи, ты вынуждаешь меня обороняться. Разве он не вынуждает меня, братья?

Остальные двое кивнули.

Вашингтон осторожно положил шланг на скамью рядом с Джорджем и, размахнувшись, неожиданно ударил Макмерфи в скулу. Макмерфи едва не упал. Он отшатнулся в сторону обнаженных мужчин, и ребята подхватили его и подтолкнули вперед – навстречу улыбающемуся грифельному лицу. Он снова получил удар, на этот раз в подбородок, прежде чем осознал, что это, наконец, началось и теперь ему не остается ничего другого, как только делать то, что он может. Он отбил следующий удар черной руки, ухватил Вашингтона за запястье и потряс головой, чтобы прийти в себя.

Так они стояли примерно секунду, пыхтя не хуже чем вода в сливе, а потом Макмерфи оттолкнул черного парня и стал в стойку, подняв огромные плечи так, чтобы защитить подбородок, и, прикрыв кулаками голову, стал кружить вокруг стоявшего перед ним противника.

И эта аккуратная, безмолвная линия обнаженных мужчин в мгновение ока превратилась в вопящий круг, соединившись и образуя что-то вроде ринга.

Черные кулаки впивались в склоненную рыжую голову и бычью шею, разбивая в кровь брови и щеки. Черный парень танцевал и уворачивался. Он был выше, руки у него были длиннее, чем толстые красные руки Макмерфи, он бил быстрее и резче, он был способен отделать руки и голову Макмерфи не приближаясь к нему. Макмерфи продолжал двигаться вперед – тяжелыми, решительными шагами, лицо опущено, глаза щурятся между татуированными кулаками, – пока не загнал черного парня в круг обнаженных мужчин и не вlepил кулаком в середину белой, накрахмаленной груди. Грифельное лицо порозовело, черный парень облизал губы языком цвета клубничного мороженого. Он уклонился от лобовой атаки Макмерфи и еще пару раз увернулся, прежде чем мощный кулак хорошенько врезал ему еще раз. Рот у него открылся пошире – бледная розовая клякса.

У Макмерфи на голове и плечах красовались красные отметины, но, похоже, боли он не чувствовал. Он продолжал наступать, десять ударов к одному. Драка продолжилась в душевой, пока черный парень не начал задыхаться, покачиваться и стараться по большей части избежать ударов этих красных, покрытых тrefами рук. Ребята кричали Макмерфи, чтобы он отпустил его. Но Макмерфи не торопился делать этого.

Черный парень увернулся от удара в плечо и быстро посмотрел на тех двоих, что стояли и любовались дракой.

– Уильямс... Уоррен... черт вас побери!

Второй черный парень врезался в толпу и ухватил Макмерфи сзади за руки. Макмерфи стряхнул его, словно бык стряхивает обезьяну, но парень бросился снова.

Так что мне пришлось поднять его и забросить в душ. В нем было полно трубок; он весил не больше десяти или пятнадцати фунтов.

Мелкий черный парень покрутил головой, повернулся и выбежал в дверь. Пока я смотрел на него, другой вылез из душа и применил ко мне специальный захват – просунул руки под мышки и сцепил на шее, – и мне пришлось вбежать в душ, повалить его на кафель, и, пока я лежал там в воде, пытаюсь разглядеть, как Макмерфи сломает Вашингтону еще пару ребер, тот парень, который применил ко мне специальный захват, принялся кусать меня за шею, и мне пришлось разорвать его хватку. После этого он лежал тихо, и крахмал с форменной куртки стекал в давящийся водосток.

А к тому времени, как мелкий черный парень прибежал назад с ремнями, наручниками и одеялами и четверьмя санитарам из буйного, все уже оделись и пожимали руки мне и Макмерфи и говорили, что чувствовали: это должно было случиться, и какая классная была драка, и потрясающая большая победа. И продолжали так говорить, подбадривая нас и поддерживая, пока Большая Сестра помогала санитарам из буйного прилаживать нам на руки кожаные ремни.

* * *

Наверху, в буйном, стоит непрекращающийся машинный гул – тюремная фабрика штампует патентованные тарелки. Иногда шум прерывается легким стуком по столу для пинг-понга – про -у-чить, про -у-чить. Люди ходят по личным тропинкам, подходят к стене, разворачиваются накренья и снова идут назад быстрыми, семенящими шагами, протаптывая на кафельном полу перекрещивающиеся тропинки, на лицах – тюремная жажда. Тут один общий запах – запах неустрашимых воинов, боящихся людей, запах мужчин, которые себя не контролируют, а по углам и под столом для пинг-понга согнулись вещи, скрежеща зубами, такие вещи, которые доктора и сестры видеть не могут и санитары не могут убить дезинфицирующими растворами. Когда дверь отворилась, я почувствовал этот общий запах и услышал скрежет зубов.

Высокий костлявый старик, покачивающийся на проволоке, прикрученной у него между лопаток, встретил нас с Макмерфи у двери, куда привели нас санитары. Он осмотрел нас желтыми от окалины глазами и покачал головой.

– В данном случае я умываю руки, – сообщил он цветным санитарам, и проволока утащила его вдаль по коридору.

Мы последовали за ним в дневную комнату, Макмерфи остановился у двери и расставил ноги, откинув голову назад, чтобы все получше рассмотреть; он попытался сунуть большие пальцы в карманы, но наручники были слишком тугие.

– Ну и зрелище, – сказал он уголком рта.

Я кивнул. Я уже видел все это раньше.

Парочка шагающих парней остановилась посмотреть на нас, и старого костлявого доктора снова протащило мимо, и он в данном случае умывал руки. Поначалу никто не обратил на нас особого внимания. Санитары отправились на сестринский пост, оставив нас стоять у дверей дневной комнаты. Заплывший глаз Макмерфи с трудом изобразил подмигивание, и я могу сказать, что ухмыляться ему тоже было больно. Он поднял руки в наручниках, постоял, пока не утихнет их звон, и глубоко вздохнул.

— Макмерфи мое имя, друзья, — сказал он, растягивая гласные, словно актер, играющий ковбоя. — И вот что мне хотелось бы знать: кто из вас, нищета, играет в этом заведении в покер?

Стук теннисного мячика смолк, и мячик покатился по полу.

— Я не рассчитываю хорошо попастьись на вашей травке, для этого меня слишком сильно стреножили, но утверждаю, что как жеребец я не знаю удержу. — Он зевнул, дернул плечом, потом нагнулся, прокашлялся и выплюнул что-то в корзину для использованных бумаг в пяти футах от него; в корзине брякнуло, Макмерфи снова выпрямился, ухмыльнулся и лизнул языком кровоточащую дырку на месте зуба. — Прибыли снизу. Мы с Вождем обломали рога двум жирным обезьянам.

Вся фабричная штамповка в эту минуту стихла, и все посмотрели на нас. Макмерфи притягивал к себе взгляды, словно ярмарочный зазывала. Стоя рядом с ним, я почувствовал, что тоже обязан выглядеть внушительно, — распрямился и вытянулся во весь рост. От этого моя спина заболела — ударился в душе, когда черный парень навалился на меня, но виду не подал. Один парень с голодным взглядом, черноволосый и лохматый, поднялся и протянул руку, думая, что я могу ему что-нибудь дать. Я попытался не обращать на него внимания, но он продолжал крутиться вокруг меня, куда бы я ни повернулся, словно маленький мальчик, протягивающий мне пустую ладошку, сложенную чашечкой.

Макмерфи рассказывал о драке, а моя спина тем временем болела все сильнее и сильнее; я так долго просидел сгорбившись на стуле в углу, что мне было трудно стоять. Я обрадовался, когда маленькая сестра-японка пришла, чтобы отвести нас на сестринский пост, — смогу наконец присесть и отдохнуть.

Она спросила, успокоились ли мы, чтобы снять наручники, и Макмерфи кивнул. Он тяжело опустился на стул, свесив руки между колен. Он выглядел совершенно измученным — до меня только теперь дошло, что ему было так же трудно стоять прямо, как и мне.

Сестра — маленький кончик ничего, обструганный начисто, как позже сказал о ней Макмерфи, — сняла наручники и дала Макмерфи сигарету, а мне — полоску жвачки. Она помнит, что я жую резинку. А я ее совсем не помнил. Макмерфи курил, пока она погружала свои пальчики, похожие на розовые свечки для именинного торта, в банку с мазью и обрабатывала его царапины, вздрагивая всякий раз, когда вздрагивал он, и говорила ему «извините». Потом взяла его лапищу обеими руками, повернула ее и смазала ободранные суставы.

— Кто это был? — спросила она, глядя на руки. — Вашингтон или Уоррен?

Макмерфи посмотрел на нее.

— Вашингтон, — сказал он и ухмыльнулся. — Об Уоррене позаботился Вождь.

Она отпустила его руку и повернулась ко мне. Я мог разглядеть маленькие птичьи косточки, проступавшие у нее на лице.

— Вы что-нибудь повредили?

Я помотал головой.

— А что с Уорреном и Вашингтоном?

Макмерфи сказал ей, что в следующий раз, когда она их увидит, они, возможно, будут щеголять в пластырях. Сестра кивнула и опустила голову.

— Тут не так, как у нее в отделении, — сказала она. — Много похоже, но не все. Военные сестры, которые ведут дела, словно в военном госпитале. Они сами немного больные. Иногда я думаю, что всех незамужних сестер после тридцати пяти следует увольнять.

— Во всяком случае, всех незамужних военных сестер, — добавил Макмерфи. Он спросил, как долго мы сможем пользоваться ее гостеприимством.

— Боюсь, что не очень долго.

— Боитесь, что не очень долго? — переспросил Макмерфи.

— Да. Иногда я предпочитаю подержать пациентов здесь, вместо того чтобы отсылать назад, но главное слово — за ней. Нет, думаю, что вы не пробудете здесь слишком долго — я хочу сказать — в вашем нынешнем состоянии.

Кровати в буйном были все расстроены — или слишком туго натянуты, или слишком слабо. Нам выделили две соседние кровати. Они не стали завязывать меня простыней, но оставили у кровати маленький тусклый ночник. Посреди ночи кто-то закричал:

— Я начинаю кружиться, индеец! Посмотри на меня, посмотри на меня!

Я открыл глаза и увидел длинные желтые зубы, отсвечивающие прямо у моего лица. Это был парень с протянутой рукой.

— Я начинаю кружиться! Пожалуйста, посмотри на меня!

Двое санитаров оттащили его от меня и вывели из спальни, а он все смеялся и кричал:

— Я начинаю кружиться, индеец! — и потом просто смеялся.

Он повторял это и смеялся всю дорогу от спальни по коридору, пока снова не наступила тишина и я мог расслышать, как тот, другой, говорит:

— Ну, в данном случае я умываю руки.

— Ты в одну секунду завел себе приятеля, Вождь, — прошептал Макмерфи и повернулся на бок.

Остаток ночи я почти не спал, я видел перед собой желтые зубы и голодное лицо парня, просившего: «Посмотри на меня! Посмотри на меня!» Или я все-таки задремал, но он все просил и просил. Это лицо, желтое, изголодавшееся, неясно вырисовывалось из темноты, висело прямо передо мной, чего-то хотело... о чем-то просило. Я удивлялся, как Макмерфи ухитряется спать, когда со всех сторон его окружают и надоедают ему просьбами сотни таких лиц, две сотни таких лиц, тысяча таких лиц.

В буйном завывала сирена, чтобы разбудить пациентов. Внизу просто включали свет. Она была похожа на звук, который издает гигантская точилка для карандашей, затачивающая что-то ужасно твердое. Едва заслышав сирену, мы с Макмерфи вскочили и сели в кроватях, и уже готовы были улечься обратно, когда громкоговоритель объявил, чтобы мы подошли к сестринскому посту. За ночь моя спина затекла так, что я едва мог согнуться; по тому, как долго возился Макмерфи, я понял, что у него то же самое.

– Что у них сегодня для нас по программе, Вождь? – спросил он. – Дыба? Попытки? Надеюсь, ничего, что требовало бы особых усилий, а то я чувствую себя совсем разбитым!

Я сказал ему, что особых усилий не потребуется, но больше ничего не сказал, потому что, пока мы не явились на сестринский пост, я сам не был уверен, и сестра, на этот раз уже другая, спросила: «Мистер Макмерфи и мистер Бромден?» – и вручила каждому по маленькому бумажному стаканчику.

Я заглянул в свой стаканчик, там лежали три красные капсулы.

У меня в голове зажужжало, и я не могу этого остановить.

– Погодите, – говорит Макмерфи. – Это ведь те самые пилюли, от которых разом вырубаетесь, не так ли?

Сестра кивает и поворачивает голову, посмотреть, есть ли кто сзади.

Макмерфи возвращает стаканчик со словами:

– Нет, мадам, от повязки на глаза я отказываюсь. Лучше дайте мне выкурить сигаретку.

Я тоже возвращаю свой стаканчик, и она говорит, что должна позвонить, проскользнула мимо нас в кабинет доктора, и уже висит на телефоне.

– Мне жаль, что я тебя в это втянул, Вождь, – говорит Макмерфи.

Я едва слышу его за шумом телефонных проводов, свистящих в стенах. Чувствую, как мысли в голове понеслись с пугающей быстротой – словно с ледяной горки.

Мы сидим в дневной комнате, нас окружили эти лица, когда в дверь входит Большая Сестра, собственной персоной, в сопровождении двух здоровых черных парней, на шаг позади нее. Я стараюсь уменьшиться, сморщиться на стуле, скрыться от нее, но уже слишком поздно. Слишком много людей смотрит на меня; внимательные взгляды пригвоздили меня к месту.

– Доброе утро, – говорит она, ее обычная улыбка снова на месте.

Макмерфи отвечает: «Доброе утро», а я молчу, даже когда она и мне громко говорит: «Доброе утро». Смотрю на черных парней: у одного заклеен нос, а рука подвешена на перевязи, серая кисть свисает из рукава, словно дохлый паук, а другой двигается так, словно у него ребра в гипсовом корсете. Оба слегка ухмыляются. Они могли остаться дома, но разве пропустят такое. Я ухмыляюсь в ответ – просто чтобы их позлить.

Большая Сестра мягко и терпеливо разговаривает с Макмерфи о том, как безответственно он поступил, позволил поддаться гневу, словно маленький мальчик, – разве вам не стыдно?

Она рассказывает о том, как все пациенты в нашем отделении на собрании группы вчера вечером согласились с персоналом, что, возможно, будет полезно применить к нему шоковую терапию – если он не осознает своих ошибок. Все, что от него требуется, – признать, что он был не прав, продемонстрировать стремление к разумному контакту, и на этот раз назначение будет отменено.

Лица вокруг все смотрят и смотрят. Большая Сестра говорит, что выбор за ним.

– Да? И у вас есть бумага, которую я должен подписать?

– В данный момент нет, но если вы чувствуете в этом необходи..

– И почему бы вам не добавить туда пару-тройку вещей типа того, что я участвовал в заговоре, целью которого было свержение правительства, и что я считаю жизнь в вашем отделении просто райской, как на этих чертовых Гавайях, и прочую чепуху в таком духе.

– Я не могу поверить, что это...

– А после того как я все подпишу, вы принесете мне одеяло и пачку сигарет от Красного Креста. Фу-у-ух, этим китайским коммунистам есть чему у вас поучиться, леди.

– Рэндл, мы пытаемся помочь вам.

Но он уже на ногах и, почесывая живот, шагает мимо нее и черных парней к карточным столам.

– Так, хорошо, где у вас тут покерный стол, ребята?

Сестра смотрит ему вслед, а потом идет к сестринскому посту позвонить по телефону.

Два цветных санитары и один белый с вьющимися светлыми волосами ведут нас в главный корпус. Всю дорогу Макмерфи болтает с белым санитаром как ни в чем не бывало.

Трава покрыта толстым слоем инея, и два цветных санитары окружены белыми клубами своего дыхания, словно локомотивы. Солнышко временами выглядывает из-за облаков, и иней сверкает под его лучами, вся земля в искорках. Воробьи нахохлились на морозе и чирикают, выискивая зернышки среди искристого инея. Трава хрустит у нас под ногами, проходим мимо нор земляных белок, где я видел щенка. Мороз уходит в норы и скрывается там.

Я чувствую мороз у себя в животе.

Мы подходим к двери, из-за нее доносится такой звук, будто пчелы жужжат. Перед нами двое мужчин, шатаются от красных капсул. Один кричит, как ребенок:

– Это мой крест, благодарю тебя, Господи, это все, что у меня есть, благодарю тебя, Господи...

Другой парень ждет и все повторяет:

– Хрен вам, хрен вам.

Это спасатель из бассейна. И он тихонько плачет.

Я не буду плакать и кричать. Пока Макмерфи здесь – не буду.

Техник просит нас снять обувь, и Макмерфи спрашивает у него, не нужно ли нам еще разодрать на себе штаны и побрить головы. Техник отвечает, что такого удовольствия нам не доставят.

Металлическая дверь смотрит на нас глазами-заклепками.

Дверь открывается и всасывает первого парня внутрь. Спасатель застыл не шевелясь. Из-за черной панели поднимается луч, похожий на неоновый дымок, упирается ему в лоб со следами клемм и тащит его, словно поводок собаку. Луч описывает вокруг него круги – три раза, прежде чем дверь закрывается, его лицо искажено страхом.

– И – раз, – хрипит он. – И два! И три!

Слышу, как они вскрывают ему лоб, словно крышку люка, лязг и рычание заклинивших зубцов.

Дым поднимается из открывшейся двери, выезжает каталка, на ней лежит первый парень, и он отводит от меня взгляд. Это лицо. Каталка возвращается назад и вывозит спасателя. Слышу, как комментаторы произносят его имя.

– Следующая группа, – говорит техник.

Пол холодный, морозный, похрустывающий под ногами. Над головой тонко поют лампы дневного света, длинные, белые ледяные трубки. Чувствуется запах графитной смазки, как в гараже. Слышен запах кислоты и страха. В комнате одно окно, наверху, маленькое, и на улице вижу нахохлившихся воробьев, рассеянных на проводах, словно коричневые бусины. От холода они попрыгали головы в перья. Что-то начинает вдвигать ветер в мои пустые кости, все сильнее и сильнее. Воздушная тревога! Воздушная тревога!

– Не ори, Вождь...

Воздушная тревога!

– Успокойся. Я пойду первым. У меня черепаха слишком крепкая, чтобы они ее пробили. А если не смогут справиться со мной, то с тобой – и подавно.

Взбирается на стол без посторонней помощи и раскидывает руки по сторонам, чтобы подогнать себя точно по тени. Выключатель защелкивает зажимы на запястьях и лодыжках, прижимая его к тени. Чья-то рука снимает с него часы – выиграл у Скэнлона, – роняет рядом с приборной панелью, они открываются. Зубцы, колесики и длинная упругая спираль выскакивают и застревают с этой стороны панели.

Он выглядит так, будто ни капли не боится. И улыбается мне.

Ему накладывают графитовую мазь на виски.

– Что это? – спрашивает он.

– Проводник, – говорит техник.

– Помазали меня проводником. А терновый венец мне наденут?

Они стирают лишнее. Он поет, от этого у них руки начинают дрожать.

– Возьми, дружок, репейное масло...

Они надевают ему такие штуки вроде наушников – корона из серебряных шипов поверх графитовой мази у него на висках. Они пытаются заткнуть ему рот куском резиновой кишки, которую он должен закусить.

– ...Смешай его с зубной пастой.

Поворачивают какие-то ручки, и машина задрожала, две механические руки подхватывают паяльники и опускают на него. Он подмигнул и заговорил со мной сквозь зубы, он что-то рассказывает, говорит сквозь резиновую трубку, пока паяльники не опускаются достаточно низко к серебру у него на висках – над ними аркой вспыхивает свет, он выгибается, словно дуга, держится только на запястьях и лодыжках, и в воздухе раздается звук через резиновую трубку, звук вроде «ху-у-х», и он полностью покрывается искрящимся инеем.

А за окном воробьи, дымясь, попадали с проволоки...

Они вывезли его на каталке все еще дергающегося, лицо побелело от холода. Коррозия. Кислота из аккумулятора. Техники повернулись ко мне.

Смотрят на следующего. Ну и лось. Я его знаю. Держи его!

Такие вещи уже не подчиняются воле.

Держи его! Больше никаких ребят без секонала.

Зажимы впиваются мне в руки и ноги.

Графитовая мазь полна железных вкраплений, она царапает мне виски.

Он что-то сказал, когда подмигнул. Сказал мне что-то.

Мужчины склоняются, подносят два железных штыря к кольцу у меня на голове.

Машина наваливается на меня.

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА...

Побежал вприпрыжку, спустился вниз по склону. Не можешь вернуться назад, не можешь идти вперед, смотришь прямо в дуло – и ты мертв, мертв, мертв.

Мы сходим с буйволиной тропы в камышах, которая бежит рядом с железной дорогой. Прикладываю ухо к рельсу, он обжигает мне щеку.

– Ничего, – говорю я, – ни в эту, ни в ту сторону на сто миль...

– Торопись, – отвечает папа.

– Разве мы не так слушаем буйволов – втыкаешь нож в землю, зажимая ручку в зубах, стадо слышно далеко.

– Торопись, – снова говорит папа и смеется.

По ту сторону рельсов скирда пшеницы стоит с прошлой зимы. А под ней мыши, говорит собака.

– Мы пойдем вверх по рельсам или вниз?

- Пойдем через рельсы, так говорит собака.
- Эта собака не может идти по следу.
- Она сможет. Тут всюду птицы, вот что говорит старая собака.
- Лучшая охота – рядом с железной дорогой, вот что говорят старики.
- Лучше идти через рельсы, к скирде пшеницы, так говорит собака.

Идем через дорогу. Вижу – люди везде, вдоль рельсов, стреляют по фазанам. Похоже, наша собака забежала слишком далеко вперед и подняла всех птиц.

Она поймала трех мышей.

..Человек, Человек, ЧЕЛОВЕК, ЧЕЛОВЕК... широкоплечий и здоровый, глаз подмигивает, как звездочка.

О господи! Снова муравьи, на этот раз они меня здорово достали, кусачие, сволочи. Помнишь, когда мы нашли этих муравьев, которые на вкус были как укропные зернышки? А? Ты сказал, что это не укроп, а я сказал, что они, и твоя мама сильно ругалась, когда об этом услышала: «Учит ребенка есть жуков!»

Хороший индейский мальчик должен знать, как выжить, съедая все, что может съесть и что не съест его самого раньше.

Мы – не индейцы. Мы – цивилизованные, ты это помни.

Ты говорил мне, папа, когда умру, пришпиль меня к небу.

Мамина фамилия была Бромден. Она и сейчас Бромден. Папа сказал, он родился с одним только именем, выпал и шлепнулся в него, словно теленок на расстеленное одеяло, когда корова не хочет ложиться. Ти А Миллатуна, Самая Высокая Сосна На Горе, и, ей-богу, я был самым большим индейцем в штате Орегон, а может быть, и во всей Калифорнии и Айдахо в придачу. Таким уродился.

И, ей-богу, ты самый большой глупец, если думаешь, что добрая христианка возьмет себе такое имя – Ти А Миллатуна. Ты родился с именем, ну что ж, я тоже родилась с именем. Бромден. Мэри Луиза Бромден.

И когда мы переедем в город, говорит папа, с этим именем нам будет намного легче получить карточку сощобеспечения.

Парень с отбойным молотком кого-то догоняет, уже догнал, молоток не выпускает. Я снова вижу вспышки света, мешанину цветов.

Тинг. Тингл, тингл, в ноги – дрожь. На кого ты стал похож. Гром гремит, земля трясется, поп на курице несется... тили-тили, тили-бом, бежит курица с ведром... один на запад, другой на восток, а третий – над кукушкиным гнездом...

..Ай люли-люли-люли, прилетели журавли... прилетели, подхватили, тебя с собою унесли.

Моя старая бабушка твердит это нараспев, игра, в которую мы можем играть часами, сидя рядом с сушилками для рыбы, отгоняя мух. Игра называется тингл-тингл-тэнглту. Я вытянул обе руки, она по очереди зажимает мои пальцы, по одному пальцу на каждый слог.

Тингл, ти-нгл, тэ-нгл ту (семь пальцев), гром гремит, земля трясется, поп на курице несется (шестнадцать пальцев, и на каждый слог ее темная, похожая на клешню рука загибает мне палец, и уже все мои ногти смотрят на нее, словно маленькие лица, и просят, чтобы журавли подхватили и унесли тебя).

Я люблю эту считалочку, и я люблю бабушку. Мне не нравится поп, который несется на курице. Мне он не нравится. Мне нравятся журавли, что летят над кукушкиным гнездом. Я люблю их, и я люблю бабушку, пыль в ее морщинах.

В следующий раз вижу ее, лежащую неподвижно, как камень, она лежит мертвая, посреди Дэлз, на тротуаре, вокруг стоят в цветных рубахах индейцы, погонщики – много людей. Они везут ее на городское кладбище, чтобы похоронить там.

Я помню горячие, неподвижные, готовые разразиться бурей вечера, когда зайцы бросались под колеса дизельных грузовиков.

Джой Рыба-в-Бочке получил по контракту двадцать тысяч долларов и три «кадиллака». И он не ездил ни на одном, потому что не умел водить.

Вижу, как играют в кости.

Вижу это изнутри, как будто я сам на дне стаканчика. Я – грузило, меня держит кость, единицей ко мне. Они бросают кости, чтобы выпал змеиный глаз, а я – грузило, шесть глыб вокруг меня – словно белые подушки, обратная сторона кости – шестерка, которая всегда должна выпадать, когда они бросают. А как выпадет другая кость? Готов спорить, что выпадет единица. Змеиный глаз. Они жульничают, переворачивают ее крючком, а я – грузило.

Посмотрите-ка, вы проиграли. Эй, леди, дом пустой, а ребенку нужна пара новых лодочек. Ваша не пляшет. В другой раз повезет!

Облапошили.

Вода. Я лежу в луже.

Змеиный глаз. Вижу его снова. Вижу над собой этот номер один: ему не удастся обжудить народ своими фальшивыми костями в переулке, за продуктовым магазином – в Портленде.

Переулок похож на тоннель, холодно, потому что уже вечер, солнце заходит. Позвольте мне... повидаться с бабушкой. Пожалуйста, мама.

Что он сказал, когда подмигнул?

Один – на запад, другой – на восток.

Не стой у меня на пути.

К черту, сестра, не стой у меня на пути, Пути, ПУТИ!

Я качусь. В другой раз повезет! Черт. Крутят снова. Змеиный глаз.

Школьный учитель говорит мне: парень, у тебя светлая голова, из тебя выйдет...

Выйдет кто, папа? Тот, что ткет ковры, как Дядя Бегущий И Прыгающий Волк? Тот, что плетет корзины? Или еще один пьяный индеец.

Я спрашиваю: рядовой, вы ведь индеец, не так ли?

Да, это так.

Ну что ж, должен сказать, что вы неплохо говорите по-английски.

Да.

Ну хорошо... обычного на три доллара.

Они не были бы такими наглыми, если бы знали, что бывает, когда мы с вискисмешиваемся вместе. Не простой индеец, черт побери...

Он кто... что это такое?.. шагает не в ногу, слышит другого барабанщика.

Снова змеиный глаз. Эй, парень, эти кости что-то холодные.

После похорон бабушки мы с папой и дядей Бегущий И Прыгающий Волк выкопали ее. Мама с нами не пошла; она говорила, это неслыханно. Подвешивать труп на дерево! От этого любой умом тронется.

Дядя Бегущий И Прыгающий Волк и папа провели двадцать дней в вытрезвителе при тюрьме Дэлз, как последние пьяницы, за надругательство над мертвыми.

Но она — наша мать, черт ее побери!

Это не имеет значения, ребята. Вы должны были оставить ее там, где похоронили. Не знаю, когда вы, чертовы индейцы, этому научитесь. А теперь скажите, где она. Будет лучше, если вы сами расскажете.

А пошел ты знаешь куда, бледнолицый, сказал дядя Бегущий И Прыгающий Волк, скручивая себе сигарету. Я ни за что не скажу.

Высоко, высоко, высоко в холмах, высоко на постели из дубовых ветвей, она гладит ветер старой рукой и считает облака старой считалочкой... прилетели журавли...

Что ты сказал мне, когда подмигнул?

Играет оркестр. Посмотри на небо, сегодня — Четвертое июля.

Кости отдыхают.

Они снова напустили на меня машину... Я хотел бы знать...

Что он сказал?

...Знать, как Макмерфи снова сделал меня большим.

Он сказал: «Хрен вам».

Они там. Черные парни в белых куртках пялятся на меня из-за двери, а потом войдут и обвинят меня в том, что я промочил все шесть подушек. Я лежу на них! Номер шесть. Я думал, что комната — это кости. Номер один, змеиный глаз, тоже тут, все кружится, белый светс потолка... это — то, что я видел... в этой маленькой квадратной комнатке... похоже, уже стемнело. Как долго я был без сознания? Напустили немножко тумана, но я не собираюсь в него нырять, не собираюсь в нем прятаться. Нет... больше никогда...

Я встаю, медленно поднимаюсь, чувствуя, как затекла шея. Белые подушки на полу изолятора промокли – я их описал, пока был без сознания. Я вообще ничего из этого не помню, но я тру глаза ладонями и пытаюсь прочистить башку. Я стараюсь. Раньше никогда не старался прийти в себя.

Спотыкаясь подошел к маленькому круглому окошку в двери комнаты, затянутому тонкой проволокой, и постучал. Я видел, как санитар идет по коридору с подносом для меня, и знал, что на этот раз я их победил.

* * *

Бывало, что после шоковой терапии я не мог опомниться недели по две, жил словно в тумане, все перед глазами дрожало и расплывалось, в общем, это было как тот рваный край, за которым начинается сон, как та серая граница между светом и тьмой, или между сном и бодрствованием, между жизнью и смертью, когда сознание к тебе уже вернулось, но ты еще не можешь понять, какой сегодня день, или кто ты такой, и есть ли смысл вообще возвращаться – и так целых две недели. Если у тебя нет причин просыпаться, ты можешь слоняться в этой серой зоне неопределенно долгое время, но, если тебе это не нравится, это я понял, ты можешь начать бороться, чтобы вырваться из нее. На этот раз я вырвался из нее меньше чем за день, быстрее чем когда-либо.

И когда туман окончательно выветрился у меня из головы, мне показалось, что я вынырнул после долгого, глубокого погружения, выскочил на поверхность после того, как провел под водой сотню лет. Это был последний сеанс, который они мне провели.

На той же неделе они провели с Макмерфи еще три сеанса. Как только он приходил в себя и начинал подмигивать окружающим, являлась мисс Рэтчед с доктором, и они спрашивали его, не готов ли он одуматься, осознать свое поведение и вернуться в отделение для проведения курса. И он приподнимался, не сомневаясь, что все лица в буйном обращении к нему, и говорил сестре, что он очень сожалеет, что может отдать за свою страну только одну жизнь, и что она может поцеловать его в красно-розовую задницу, но он проклятому вражескому кораблю не сдастся. Да!

Потом вставал, отвешивал парочку поклонов ребятам, которые улыбались ему в ответ, а Большая Сестра вела доктора на пост, чтобы позвонить в главный корпус и подтвердить очередной сеанс.

Однажды, когда она уже повернулась, чтобы уйти, он ухватил ее за край халата и ушипнул пониже спины, так что ее лицо стало такого же цвета, как и его огненные волосы. Если бы там не было доктора, который и сам прятал ухмылку, она вlepила бы Макмерфи пощечину.

Я попытался уговорить Макмерфи подыграть ей, чтобы прекратить эти назначения, но он только смеялся и посылал меня к черту. Все, что они делают, – тратят на него заряд своей батареи, – пустая трата времени.

– Когда я выйду отсюда, первая же телка, которая оседлает старого рыжего Макмерфи, психопата мощностью десять тысяч ватт, засияет, словно автомат для пинбола, и заплатит серебром! Нет, я не боюсь их маленькой машинки с батарейками.

Он упорно твердил, что ему это не причиняет вреда. Он даже не станет принимать эти свои капсулы. Но всякий раз, когда громкоговоритель объявлял, что ему следует воздержаться от завтрака и приготовиться пройти в первый корпус, на его челюсти играли желваки и лицо бледнело. Он выглядел осунувшимся и испуганным – то самое задорное лицо, отражение которого я видел в лобовом стекле машины по пути с побережья.

К концу недели я покинул буйное и вернулся обратно в свое отделение. Я хотел сказать Макмерфи до расставания множество вещей, но он только что прибыл с процедуры и сидел в углу, не отводя глаз с мячика для пинг-понга, словно они были прикреплены к нему проволочками. Цветной санитар и еще один белый свели меня вниз, впустили в наше отделение и заперли за мной дверь. После буйного все здесь казалось ужасно спокойным. Я прошел в дневную комнату и по ряду причин задержался в дверях; все посмотрели на меня, посмотрели по-другому, не так, как смотрели бы раньше. Их лица светились – так, словно они смотрели на блестящую вставную панель.

– Итак, прямо у себя перед глазами, – принялся разглагольствовать Хардинг, – вы видите того самого дикого человека, который сломал руку... черному парню! Хей-хей, поглядите, поглядите!

Я ухмыльнулся им в ответ, понимая теперь, что чувствовал Макмерфи все эти месяцы, когда эти лица оживлялись и веселели при виде его.

Все подошли ближе и попросили рассказать им обо всем, что произошло. Как он вел себя там? Что делал? И правда ли то, что, как нашептывают в гимнастическом зале, они устраивают ему ежедневную электрошоковую терапию, а с него – как с гуся вода, и что он заключает с техниками пари насчет того, как долго удержит глаза открытыми после того, как ему наложат электроды.

Я рассказал им все, что мог, и, похоже, никто даже не задумался о том, почему это я – тот самый парень, которого они считали глухим и немым с тех самых пор, когда впервые с ним познакомились, – говорит и слушает как любой другой. Я сообщил, что все ими услышанное – чистая правда, и добавил парочку рассказов от себя. Они так хохотали над некоторыми шуточками Макмерфи насчет Большой Сестры, что двое Овощей под мокрыми простынями на стороне Хроников заухмылялись, а потом и зашлись от хохота, как будто понимали, в чем дело.

Когда на следующий день Большая Сестра лично вынесла проблему пациента Макмерфи на обсуждение группы и сказала, что по неким необъяснимым причинам он, похоже, не реагирует на электрошоковую терапию, поэтому, вероятно, можно посоветовать применить более решительные меры для установления с ним контакта, Хардинг откликнулся:

– Да уж, это возможно, мисс Рэтчед, да, но из того, что я слышал о ваших делах с Макмерфи наверху, у него не наблюдается никаких трудностей в установлении контакта с вами.

Это вывело Большую Сестру из равновесия, и она разволновалась до такой степени, что не сразу смогла собраться с мыслями снова, и все в комнате тем временем смеялись над ней.

Она поняла, что Макмерфи, находясь наверху, где ребята не могли видеть вмятин, которые она на нем оставляла, стал больше, чем был когда-либо, вырос до такой степени, что почти стал легендой. Человека, которого не видят, трудно заставить выглядеть слабым, решила она, и стала строить планы его возвращения в отделение. Она рассчитывала, что ребята своими глазами увидят, что он так же уязвим, как и любой другой мужчина. Да и ему будет трудно продолжать строить из себя героя, сидя целыми днями в

дневной комнате в состоянии ступора после шока. Ребята это предчувствовали, они понимали, что, пока он будет находиться в отделении в назидание всем остальным, она станет назначать ему шок всякий раз, как он из него выйдет. Так что и Хардинг, и Скэнлон, и Фредериксон, и я принялись обсуждать, как бы нам убедить Макмерфи в том, что наилучшим решением для него, да и для всех заинтересованных лиц, будет его побег из отделения. И в субботу, когда его перевели обратно в отделение, — он протопал в дневную комнату, словно боксер на ринг, закинув руки за голову, и объявил, что чемпион вернулся, — наш план был готов. Мы собирались дождаться темноты, поджечь матрасы, а когда придут пожарные, вытолкать его за дверь. Этот план казался нам настолько удачным, что мы и не думали, что Макмерфи сможет отказаться.

Но мы забыли о том, что это был как раз тот самый день, когда он устраивал свидание, — эта девушка, Кэнди, должна была пробраться в отделение, чтобы увидеться с Билли.

Они привели его в отделение утром, около десяти.

— Веселье по полной программе, ребята! Они проверили мои штепселя, прочистили наконечники, и я засиял, словно искрящийся генератор модели «Т». Вы никогда не пользовались такими штуками на Хеллоуин? Бз-а-ам! Довольно забавно, даже приятно.

И он принялся шляться по отделению, такой большой, больше, чем когда-либо, опрокинул под дверью сестринского поста ведро с грязной водой, в которой моют швабры, подложил квадратный кусочек масла на носок белой замшевой туфли мелкого черного парня, так что тот и не заметил, и задыхался от хохота во время обеда, пока масло таяло, окрашивая туфлю в цвет, который Хардинг определил как «самый вызывающий желтый». Он был больше, чем когда-либо, и всякий раз, как принимался подметать щеткой пол поблизости от сестры-практикантки, она вскрикивала, закатывала глаза и, постукивая каблучками, убегала от него по коридору, потирая бок.

Мы рассказали ему о своем плане побега, а он заявил, что торопиться не стоит, и напомнил о свидании Билли.

— Мы ведь не можем разочаровать парнишку Билли, верно, ребята? Только не теперь, когда он готов расстаться с невинностью и разменять ее на наличные. И если мы постараемся, то сегодня ночью устроим хорошенькую маленькую вечеринку. Я бы даже сказал, что это будет моя прощальная вечеринка.

В эти выходные Большая Сестра работала — не желала пропустить его возвращения — и устроила нам собрание, чтобы решить кое-какие вопросы. На собрании она еще раз попыталась выступить со своим предложением применить к Макмерфи более решительные меры, настойчиво убеждая доктора обдумать подобного рода действия, «пока не оказалось слишком поздно, чтобы помочь пациенту». Большая Сестра говорила, а Макмерфи вертелся как юла, моргал, зевал и отпрыгивал с такой яростью, что она, в конце концов, вспыхнула, а когда это случилось, Макмерфи принялся, как припадочный, кивать доктору и остальным пациентам, демонстрируя, что совершенно согласен со всем, что она сказала.

— Вы знаете, возможно, она права, док; посмотрите, сколько пользы принесли мне несколько жалких вольт. Может быть, если мы удвоимнапряжение, я смогу принимать восьмой канал, как Мартини. Я уже пытался лежать в кровати и вызывать галлюцинации, но не увидел ничего, только четвертый канал с новостями и погодой.

Большая Сестра прочистила горло, пытаясь снова обрести контроль над собранием:

– Я не говорила, что нам следует обдумать увеличение шока, мистер Макмерфи...

– Мадам?

– Я предлагала подумать над операцией. Очень простой, в самом деле. У нас есть успехи в устранении агрессивных тенденций в конкретных случаях, сопровождавшихся враждебностью...

– Враждебностью? Мадам, я дружелюбен, словно младенец. На протяжении двух последних недель не вытряс душу ни из одного санитаря. И теперь уже нет причины делать какое-либо обрезание, разве не так?

Она выставила вперед свою улыбку, умоляя его осознать, сколько в ней искренности и сочувствия:

– Рэндл, речь не идет об обрезании...

– Кроме того, – продолжал он, – не будет никакого проку в том, чтобы их обкорнать; у меня в тумбочке есть запасная пара.

– Запасная... пара?

– Здоровых, словно бейсбольные мячи, док.

– Мистер Макмерфи! – Ее улыбка треснула, словно стекло, когда она поняла, что смеются над ней.

– Но другая пара тоже достаточно велика, чтобы считаться нормальной.

И он продолжал в том же духе до тех пор, когда пришла пора готовиться ко сну. К тому времени в отделении воцарилась праздничная атмосфера, словно перед большой ярмаркой. Мужчины шептались о том, что, вполне возможно, ожидается вечеринка, если девушка прибудет с выпивкой. Все пытались поймать взгляд Билли, хихикали и подмигивали ему всякий раз, как он смотрел. А когда мы выстроились в очередь для приема лекарств, Макмерфи прошел вперед и спросил маленькую сестру с распятием и родимым пятном, не может ли он получить парочку витаминов. Она выглядела удивленной, но сказала, что не видит причины ему отказать, и выдала несколько пилюль размером с птичье яйцо. Он положил пилюли в карман.

– Разве вы не собираетесь их проглотить? – спросила сестра.

– Я? О господи, конечно, нет. Мне не нужны витамины. Я взял их вот для этого мальчишки Билли. Мне кажется, в последнее время у него изможденный вид, – очень похоже, что малокровие.

– Но тогда почему вы не отдадите их Билли?

– Отдам, сладкая моя, отдам, только дождусь полуночи, когда они очень ему понадобятся. – И двинулся к спальне, зацепив рукой, словно крюком, пылающую шею Билли, одарив Хардинга подмигиванием, а меня – тычком своего огромного большого пальца, когда проходил мимо, и оставил сестру с вытаращенными глазами проливать воду себе на ноги на сестринском посту.

Вам стоило бы узнать кое-что о Билли Биббите: на лице у него были морщины, а в волосах пробивалась седина, но он все еще выглядел словно мальчишка с оттопыренными ушами, веснушчатым лицом и выпирающими зубами,

босоногий мальчишка, насвистывающий что-то себе под нос на одном из цветных календарей, с куканом бычков, валяющимся перед ним в пыли – и тем не менее, он не был таким. Увидев его стоящим рядом с другими мужчинами, вы всегда с удивлением обнаруживали, что он ничуть не ниже любого из них, и при ближайшем рассмотрении вовсе не лопоух, и зубы у него не торчат вперед, да и веснушек нет, и что ему, правду сказать, тридцать или около того.

Я только один раз слышал, как он говорил про свой возраст, честно сказать, просто подслушал, когда он беседовал в вестибюле со своей мамашей. Она работала там в справочной, плотная, крепко сбитая леди с волосами, которые каждые несколько месяцев меняли цвет – от белокурых к голубым, а потом – к черным, и снова к белокурым. Она жила по соседству с Большой Сестрой и, насколько я понял, была ее дорогой и близкой подругой. Куда бы мы ни отправлялись, Билли всякий раз обязан был остановиться и склониться к ней алую пылающую щеку, чтобы получить поцелуй. И это приводило всех нас в такое же смущение, как и самого Билли, именно по этой причине никто и никогда не дразнил его за это, даже Макмерфи.

Однажды после полудня, даже не вспомнить, как давно это было, мы задержались по дороге на терапию и расселись в вестибюле на больших пластиковых диванах снаружи, на полуденном солнышке, пока один из черных парней названивал своему букмекеру, а мамаша Билли воспользовалась случаем, чтобы оставить работу. Она вылезла из-за стола, взяла своего мальчика за ручку и вывела его на улицу посидеть на травке. Я как раз оказался неподалеку. Она сидела там на траве очень спокойно и ровно, согнувшись ровно посередине и вытянув прямо перед собой круглые ноги в чулках, и цветом напоминала мне болонскую колбасу. Билли лежал рядом с ней, положив голову ей на колени, и позволял щекотать ему ухо пушистым одуванчиком. Билли говорил о том, что ему пора присмотреть себе жену и когда-нибудь отправиться в колледж. Мамаша щекотала его одуванчиком и смеялась над такими глупостями:

– Солнышко, у тебя еще куча времени для всего такого. У тебя вся жизнь впереди.

– Мама, мне т-т-т-ридцать один год!

Она рассмеялась и пощекотала его ухо травинкой:

– Солнышко, неужели я выгляжу как мать мужчины средних лет?

Мать Билли сморщила носик, раскрыла губы ему навстречу, изобразила что-то вроде поцелуя, и я вынужден был признать, что она вообще не выглядит ничьей матерью. Я не мог поверить себе, не мог поверить тому, что Билли тридцать один год, пока не придвинулся достаточно близко, чтобы разобрать дату его рождения на повязке на запястье.

В полночь, когда Гивер и остальные черные ребята, а также Большая Сестра закончили дежурство, и старый цветной медбрат, мистер Теркл, приступил к своим обязанностям, Макмерфи и Билли уже вскочили с кровати и, как мне представлялось, принимали витамины. Я вылез из кровати, натянул пижаму и отправился в дневную комнату, где они разговаривали с мистером Терклом; Хардинг, Скэнлон, Сефелт и некоторые другие парни тоже пришли. Макмерфи расписывал мистеру Терклу, что их ожидает, когда придет девушка, – вернее, напоминал, потому что все выглядело так, словно они вдоль и поперек обсудили подробности еще за пару недель до ожидаемого события. Макмерфи говорил, что требуется всего ничего, – просто разрешить девушке влезть в окно, вместо того чтобы рисковать, впуская ее через вестибюль, где может оказаться ночная надзирательница. А после этого – открыть изолятор. Разве это не настоящий райский уголок для любовников, – хоть

медовый месяц там проводи. Исключительно уединенное место. («А-а-х, Макмерфи», — только и пытался выговорить Билли.) И выключить свет. Так что надзиратель ничего не сможет разглядеть. И закрыть двери спальни, чтобы не разбудить всех слюнявых Хроников в отделении. И вести себя тихо; мы же не хотим их беспокоить.

— Ах, М-м-м-ак, давай, — сказал Билли.

Мистер Теркл все продолжал кивать и трясти головой, похоже было, что он наполовину спит. Но когда Макмерфи сказал: «Полагаю, что дело чудненько улажено», мистер Теркл ответил: «Нет, не ф-фполне» — и продолжал стоять, ухмыляясь, в белой куртке, с лысой желтой головой, качающейся на конце шеи, словно шарик на палочке.

— Ну, давай, Теркл. Тебе тоже кое-что перепадет. Она должна принести с собой пару бутылок, — настаивал Макмерфи.

— Следует прибавить, — сказал мистер Теркл.

Его голова покачивалась и тряслась. Он действовал так, словно был вполне способен бодрствовать. Я слышал, что днем он работает в другом месте, где-то на ипподроме.

Макмерфи повернулся к Билли:

— Теркл требует более выгодного контракта, Билли-Бой. Насколько дорога тебе потеря застарелой девственности?

Но прежде чем Билли сумел справиться с заиканием и ответить, мистер Теркл покачал головой:

— Не в этом дело. Не в деньгах. Она ведь принесет с собой побольше, чем бутылку, не так ли, эта сладкая штучка? Вы, ребята, могли бы поделиться со мной кое-чем большим, нежели просто бутылка, разве не так? — И он ухмыльнулся во все лицо.

Билли чуть не взорвался, пытаясь, преодолев заикание, выговорить что-то насчет того, что только не Кэнди, только не его девушка! Макмерфи отвел его в сторону и сказал, чтобы на этот счет он не волновался, — к тому времени, когда Билли закончит со своим делом, Теркл будет уже таким сонным и таким пьяным, что не сумеет засунуть свою морковку даже в лохань для стирки.

Девушка снова опаздывала. Мы сидели в дневной комнате в пижамах и слушали, как Макмерфи и мистер Теркл травят армейские байки, передавая один другому сигарету мистера Теркла. Они очень смешно ее курили: затягивались и держали дым в легких, пока у них глаза не лезли на лоб. Хардинг спросил, что за сигарету они курят и отчего у нее такой подозрительный запах, и мистер Теркл ответил высоким, задыхающимся голосом:

— Это обыкновенная старая сигарета. Хи-хи, да-да. Хочешь затяжку?

Билли нервничал все больше и больше, он боялся, что девушка не придет, очень боялся. Он то и дело спрашивал, почему все мы не идем спать, а сидим здесь в холоде и темноте, словно собаки, которые на кухне ждут объедков, но мы только ухмылялись ему в ответ. Никто из нас не хотел спать; было так приятно расслабиться в полутьме и слушать, как Макмерфи и мистер Теркл рассказывают байки. Никого не клонило в сон, более того, никто не тревожился о том, что уже пробило два часа ночи, а девушка все еще не появилась. Теркл предположил, что она, может быть, опаздывает

потому, что в отделении темно и она не может понять, в какое окно ей влезать. Макмерфи сказал, что это – несомненная правда, и оба они принялись бегать туда-сюда по коридорам, поворачивая все выключатели, они даже готовы были включить большие лампы в спальне, которые зажигались при подъеме, когда Хардинг остановил их, сказав, что тогда и все остальные мужчины повыскакивают из кроватей, чтобы получить свою долю удовольствия. Они с ним согласились и вместо этого включили все лампы в кабинете доктора.

Едва они осветили отделение так, что в нем наступил ясный день, раздался стук в стекло. Макмерфи подбежал к окну и прислонил к стеклу лицо, прикрыв его обеими руками от света, чтобы что-нибудь разглядеть. А потом повернулся и улыбнулся нам.

– Она явилась из тьмы, словно сама красота, – произнес он, ухватил Билли за запястье и подтащил к окну. – Впусти девушку, Теркл. Позволь этому психу оседлать ее.

– Стой, Мак-м-мерфи, подожди. – Билли мигал, словно мул.

– Я тебе не м-м-мамочка, Билли-Бой. Теперь уже слишком поздно отступить. Тебе придется пройти через это. Вот что я тебе скажу: я поставил пять долларов на то, что ты утрахаешь эту малышку до смерти, понял? Открывай окно, Теркл.

В темноте показались две девушки. Кэнди и та, другая, которая не явилась на рыбалку.

– Вот свезло, – пробормотал Теркл, помогая им влезть в окно. – Тут на всех хватит.

Все мы бросились ему помогать; девушкам пришлось задрать узкие юбки до самых трусиков, чтобы пролезть в окно.

– Ты, чертов Макмерфи! – воскликнула Кэнди и с такой яростью бросилась его обнимать, что едва не разбила бутылки, которые держала за спиной в каждой руке. Она немножко покачивалась, а ее волосы выбились из пучка, который она соорудила на макушке. Я подумал, что она лучше выглядит с распущенными волосами, с такой прической, какая была у нее во время рыбалки. Она жестом указала на другую девушку с бутылкой, которая как раз влезала в окно:

– Сэнди пришла. Она взяла и бросила того маньяка из Бивертон, за которого вышла замуж, разве это не дикость?

Девушка прыгнула на пол, поцеловала Макмерфи и сказала:

– Привет, Мак. Мне очень жаль, что я долго не показывалась. Но с этим кончено. Просто не могла вынести столько развлечений: белые мыши в наволочке, червяки в кольдкреме и лягушки в бюстгальтере. – Она пожала плечами и махнула перед собой рукой, словно хлыстом, точно стирая всякую память о муже, который слишком любил животных. – Господи Иисусе, что за маньяк.

Обе девушки были одеты в юбки и свитера, на ногах – нейлоновые чулки, без туфель, обе покраснелись и хихикали.

– Нам пришлось спрашивать дорогу, – объясняла Кэнди, – в каждом баре, куда мы по пути заходили.

Сэнди обвела комнату широко раскрытыми глазами:

– У-у-у, Кэнди, детка, где это мы очутились? Неужели это правда? Мы что, в сумасшедшем доме? Ребята!

Она была крупнее Кэнди, может быть, лет на пять старше и попыталась собрать свои гнелые волосы в элегантный узел на затылке, но они выбивались и прядями падали на пухлые, молочно-белые щеки. Она выглядела словно деревенская телка, которая пытается выдать себя за леди из общества. Ее плечи, грудь и бедра были чересчур широки, а ухмылка – слишком большой и открытой, чтобы ее можно было назвать прекрасной, но она была хороша собой и полна здоровья, – одним пальцем держала за колечко галлон красного вина, и он болтался у нее в руке, словно сумочка.

– Скажи мне, Кэнди, как, как, как такая дикая вещь могла случиться с нами? – Она крутанулась вокруг себя и застыла, расставив ноги и хихикая.

– Такие вещи не случаются, – торжественно сообщил девушке Хардинг. – Такие вещи бывают только в фантазиях, когда лежишь ночью без сна, мечтаешь и боишься рассказать об этих мечтах своему психоаналитику. В действительности – не здесь. Это вино – не реально; ничто из того, что вы видите, не существует. А теперь – пошли отсюда.

– Привет, Билли, – сказала Кэнди.

– Только гляньте на эту телку, – ухмыльнулся Теркл.

Кэнди неуклюже протянула одну из бутылок Билли:

– Я принесла тебе подарок.

– Такие вещи есть дневные грезы Кующего терновые венцы, – изрек Хардинг.

– Подружка! – сказала девушка по имени Сэнди. – Во что мы с тобой ввязались?

– Ш-ш-ш. – Скэнлон сердито посмотрел вокруг: – Если вы будете так орать, разбудите остальных ублюдков.

– В чем дело, скупердяй? – хихикнула Сэнди, делая новый поворот вокруг себя. – Боишься, что нас на всех не хватит?

– Сэнди, я мог бы догадаться, что ты принесешь этот чертов дешевый портвейн.

– Боже! – Она остановилась, глядя прямо на меня. – Открой эту, Кэнди. Ну и Голиаф – не фигу себе?!

Мистер Теркл сказал: «Горячие девочки» – и запер решетку, и Сэнди снова воскликнула: «Боже!» Все мы сбились в странную маленькую стайку посередине дневной комнаты, тесня друг друга и оправдываясь: никто не знает, что делать, – никогда не бывали в такой переделке. И я просто не знаю, сколько бы эта восторженная, неумная суматоха и толкотня по всей дневной комнате продолжались, если бы в двери отделения, дальше по коридору, не звякнул ключ, – это подействовало на всех так, словно завывала сигнализация.

– О господи боже, – простонал мистер Теркл, шлепая по лысой макушке, – это надзирательница явилась подпалить мою черную задницу.

Мы все побежали в уборную, выключили свет и стояли в темноте, слушая дыхание друг друга. Мы слышали, как надзирательница бродит по отделению и окликает мистера Теркла громким, почти испуганным шепотом.

Ее голос, мягкий и встревоженный, становился все громче.

– Мистер Теркл! Мистер Теркл! – звала она.

– Да где он, черт побери, – прошептал Макмерфи, – почему не отвечает?

– Не волнуйся, – отозвался Скэнлон. – Она не станет смотреть в сортире.

– Но почему он не отвечает? Может быть, перебрал...

– Парень, о чем ты говоришь? Я в полном порядке, если перебрал бы, то не с такого крошечного траханого косяка, – раздался откуда-то из темноты уборной голос мистера Теркла.

– Господи Иисусе, Теркл, что ты здесь делаешь? – Макмерфи старался, чтобы его голос звучал твердо, и одновременно пытался удержаться от смеха. – Выметайся отсюда и узнай, чего она хочет. Что она подумает, если не найдет тебя?

– Конец наш близок, – сказал Хардинг и уселся. – Аллах, будь милосерден.

Теркл открыл дверь и, выскользнув наружу, встретил надзирательницу в коридоре. Она пришла посмотреть, что означают все эти включенные лампы. Какая была необходимость поворачивать все выключатели в отделении? Теркл сказал, что повернул не все выключатели, – свет в спальне выключен, так же как и свет в уборной. Она сказала, что это не оправдание того, чтобы зажечь все остальные лампы; что за нужда во всей этой иллюминации? Теркл не сумел сразу найти ответа, и во время долгой паузы я слышал, как наши в темноте передают друг другу бутылку. Там, в коридоре, надзирательница повторила вопрос, и Теркл сказал ей, что, ну, он просто убирался, натирал кое-где пол. Тогда она захотела знать, почему в таком случае уборная – единственное место, которое он по инструкции должен содержать в чистоте, – погружена во мрак? И бутылка снова пошла по кругу, пока мы ждали, что он ответит. Она дошла до меня, и я сделал глоток. Я чувствовал, что мне это необходимо. Я мог расслышать, как Теркл все время глотает слова, там, в коридоре, невразумительно бекая и мекая, пытаюсь что-то сказать.

– Он спекся, – прошептал Макмерфи. – Кто-нибудь должен пойти и помочь ему.

Я услышал, как зашипел унитаз передо мной, дверь открылась и в свете, идущем из коридора, показался Хардинг, выходящий наружу, подтягивая пижаму. Я слышал, как надзирательница вскрикнула при виде него, а он попросил ее его извинить, просто он ее не видел, ведь так темно.

– Вовсе не темно.

– Я хотел сказать, в уборной. Я всегда выключаю свет, чтобы добиться лучшей работы кишечника. Эти зеркала... понимаете, когда лампы отражаются в зеркале, мне кажется, что я сижу на скамье подсудимых и высокий суд вынесет решение о наказании, если все не пройдет как надо.

– Но санитар Теркл сказал, что он здесь убирал...

– И могу добавить, – хорошо сделал свое дело, учитывая затруднения, которые доставлял ему недостаток света. Не желаете ли посмотреть?

Хардинг толкнул дверь, открылась маленькая щелка, и луч света упал на кафельный пол уборной. Я увидел краешек спины надзирательницы, которая удалялась со словами, что склоняется к тому, чтобы принять предложение Хардинга, но ей еще нужно произвести обход. Я слышал, как хлопнула дверь, открылась в коридор, – надзирательница покинула отделение. Хардинг крикнул ей вслед, чтобы она поскорее возвращалась со следующим визитом. Все выбежали наружу и стали пожимать ему руку и хлопать по спине в благодарность за то, как он все это ловко разрулил.

Мы стояли там, в холле, и вино снова пошло по кругу. Сефелт сказал, что с нашего позволения выпил бы этой водки, если бы было с чем ее смешать. Он спросил мистера Теркла, нет ли в отделении чего-нибудь такого, чтобы добавить в нее, и Теркл сказал, что нет ничего, кроме воды. Фредериксон спросил, как насчет сиропа от кашля.

– Они время от времени дают мне немного из кувшина, полгаллона величиной, он стоит в аптеке. Не так плох на вкус. У тебя есть ключ от этой комнаты, Теркл?

Теркл сказал, что надзирательница единственная, у кого ночью есть ключи от аптеки, но Макмерфи попросил разрешения позволить ему попробовать открыть замок. Теркл ухмыльнулся и лениво кивнул. Пока они с Макмерфи трудились над замком аптеки с помощью канцелярских скрепок, девушки и остальная часть компании принялись бродить вокруг сестринского поста, открывая папки и читая записи.

– Посмотрите сюда, – предложил Скэнлон, размахивая одной из этих папок. – Говорят о том, что история болезни должна быть полной. Они достали даже мой табель за начальную школу. Вот он. А-ах, ужасные оценки, просто ужасные.

Билл и его девушка нашли его папку. Она отошла назад, чтобы посмотреть его историю.

– Взгляни, Билли! Это – френик и это – пат? Непохоже на то, чтобы все эти штуки у тебя были.

Другая девушка открыла вспомогательный шкафчик и спросила, на кой фиг сестрам сдались все эти бутылочки для горячей воды, миллион бутылочек, а Хардинг сидел на столе Большой Сестры и пожимал плечами в ответ на все вопросы разом.

Макмерфи и Терклу удалось, наконец, открыть дверь в аптеку и вытащить из холодильника бутылку густой, вишневого цвета жидкости. Макмерфи поднес бутылку к свету и прочитал вслух этикетку:

– Искусственный ароматизатор, краситель, лимонная кислота. Семьдесят процентов нейтральных веществ – это, должно быть, вода, – двадцать процентов алкоголя – это хорошо – и десять процентов кодеина. Осторожно: наркотические вещества могут вызывать привыкание. – Он снял крышку с бутылки и попробовал микстуру. Закрыв глаза, облизнулся, сделал еще глоток и снова прочел красную этикетку. – Ну хорошо, – сказал он и щелкнул зубами, словно их только что наточили, – если мы будем принимать это понемножку, но с водкой, я думаю, все будет в порядке. А как насчет кубиков льда, Теркл, старина?

Смешанный в бумажных медицинских стаканчиках с водкой и портвейном, сироп был похож на детский напиток, но имел крепость кактусового вина, которое возили в Дэлз, холодный и смягчающий, пока ты его пьешь, но горячий и яростный, когда попадает внутрь. Мы выключили свет в дневной комнате и уселись там, попивая коктейль. Первую пару стаканчиков мы опрокинули так,

словно это было лекарство, мы принимали его серьезно, молча исподтишка смотрели друг на друга, ожидая, не убьет ли кого-нибудь это питье. Макмерфи и Теркл разрывались между выпивкой и сигаретами Теркла и снова принялись хихикать, обсуждая, как здорово было бы уложить ту маленькую сестру с родинкой, которая ушла в полночь.

– Я бы боялся, – сказал Теркл, – что она отхлестает меня большим старым крестом, который у нее на цепочке. Хотел бы ты, чтобы над тобой надругались такой штукой, а?

– А я бы боялся, – сказал Макмерфи, – что как раз в тот момент, когда я обнажу свое оружие, она потянется к моей заднице с термометром и начнет мерить мне температуру!

Это проняло всех. Хардинг перестал смеяться раньше других, чтобы присоединиться к шутникам.

– Или еще хуже, – предположил он. – Она просто ляжет под тебя с этой смертельной сосредоточенностью на лице и сообщит тебе – о Господи Иисусе, послушайте, – сообщит, какой у тебя пульс!

– О нет... О мой Бог...

– Или даже просто ляжет под тебя и сможет одновременно сосчитать твой пульс и измерить температуру – без инструментов!

– О боже, о, пожалуйста, не надо...

Мы хохотали до тех пор, пока не повалились со стульев и кушеток, кашляя и плача от хохота. Девушки так устали от смеха, что два или три раза пытались подняться на ноги.

– Я должна... пойти пописать, – сказала здоровая девица и двинулась, покачиваясь и хихикая, в сторону уборной, но перепутала двери и ввалилась в спальню, пока мы все утихомиривали друг друга, прижимая пальцы к губам и ожидая, когда она заявит протест, после чего услышали рев старого полковника Маттерсона: «Подушка это... лошадь!» – и он выехал из спальни прямо ей навстречу в своем кресле на колесиках.

Сефелт отвез полковника обратно в спальню и лично показал девушке, где находится уборная, сообщив ей, что ею пользуются исключительно мужчины, но он постоит у двери, пока она будет там, и станет охранять ее от посягательств на частную жизнь, будет оберегать от всех посетителей, черт возьми. Она торжественно поблагодарила его, пожала ему руку, и они отсалютовали друг другу. Пока она сидела там внутри, полковник снова выехал из спальни в своем кресле, и у Сефелта руки все время были заняты тем, чтобы не пускать его в уборную. Когда девушка вышла из двери, он пытался ногой отражать атаки кресла на колесиках, стоя в дверном проеме и одновременно ведя перепалку то с одним парнем, то с другим. Девушка помогла Сефелту отвезти полковника обратно в кровать, а потом они оба двинулись вдоль по коридору, вальсируя под музыку, которой никто не слышал.

Хардинг пил, смотрел на них и качал головой:

– Это не происходит. Это все – всего лишь плод совместной работы Кафки, Марка Твена и Мартины.

Макмерфи с Терклом вдруг забеспокоились насчет того, что в отделении все еще слишком много света, и принялись ходить туда-сюда по коридору, обесточивая каждый источник света – вплоть до крошечных ночников,

расположенных на уровне колена, пока отделение не погрузилось в темноту – черную, как смола. Теркл вытащил фонарики, и мы принялись играть в салочки, носясь туда-сюда по коридору в креслах на колесиках, взятых со склада, и здорово проводили время, когда вдруг услышали припадочные крики Сефелта и бросились к нему, чтобы обнаружить распростертым на полу в судорогах рядом с этой девушкой, Сэнди. Она сидела на полу, отряхивая юбку, и смотрела на Сефелта.

– Никогда не испытывала ничего подобного, – произнесла она с благоговейным трепетом.

Фредериксон опустился на колени рядом с другом и сунул бумажник ему между зубов, чтобы не дать прикусить язык, а также помог застегнуть штаны.

– Ты в порядке, Сиф? Сиф?

Сефелт, не открывая глаз, поднял безвольную руку, вытащил изо рта бумажник и ухмыльнулся слюнявым ртом.

– Со мной все нормально, – сказал он. – Дайте мне лекарства, и я отвяжусь еще разок.

– Лекарства, – через плечо бросил Фредериксон, все еще не вставая с колен.

– Лекарства, – повторил Хардинг и, покачиваясь, двинулся с фонариком в дневную комнату.

Сэнди смотрела на него сияющими глазами. Она сидела рядом с Сефелтом, в изумлении поглаживая рукой его голову.

– Может быть, принесешь и мне что-нибудь! – пьяным голосом прокричала она вслед Хардингу. – Никогда не испытывала ничего подобного, даже близконе было.

Где-то в коридоре послышался звон стекла, и Хардинг вернулся с двумя пригоршнями пилюль. Он побросал их в Сефелта и женщину, словно посыпал могилу пригоршней земли. И воздел глаза к потолку:

– Великий милосердный Боже, прими двух этих бедных грешников в свои объятия. И держи двери открытыми для всех нас, потому что Ты – свидетель конца, полного, бесповоротного, фантастического конца. Я, наконец, осознал, что происходит. Это – наша последняя гулянка. Мы обречены отныне и навеки. Мы должны собрать все свое мужество перед решающим часом и лицом к лицу встретить нашу грядущую судьбу. На рассвете нас всех расстреляют. Сотня миллилитров на каждого. Мисс Рэтчед выстроит нас вдоль стены, где мы встретимся с ужасным человеком с короткоствольным ружьем, которое он станет заряжать милтауном! Торазином! Либриумусом! Стелазинумом! И при взмахе ее шпаги, ба-ах! Они наспигуют нас транквилизаторами вплоть до потери существования.

Он привалился к стене и сполз на пол, пилюли выпали у него из рук и заплясали во всех направлениях, словно красные, зеленые и оранжевые жуки.

– Аминь, – сказал он и закрыл глаза. Девушка на полу разгладила юбку над своими длинными натруженными ногами и посмотрела на Сефелта, который все еще ухмылялся и подергивался в конвульсиях рядом с ней под светом фонарика:

– Никогда в жизни даже близко не испытывала ничего подобного. Даже наполовину.

Речь Хардинга если не отрезвила народ, то, во всяком случае, заставила всех осознать серьезность того, что мы делаем. Ночь была на исходе, и кое-кому стали приходить в голову мысли об утреннем прибытии персонала. Билли Биббит и его девушка заметили, что уже пятый час, и, если все путем и если остальные не возражают, они хотели бы, чтобы мистер Теркл открыл им изолятор. Они прошествовали туда через арку из сияющих лучей фонариков, а все остальные направились в дневную комнату, чтобы посмотреть, не следует ли там немного прибраться. Теркл окончательно вырубился после того, как вернулся из изолятора, и нам пришлось закатить его в дневную комнату в кресле на колесиках.

Пока я шел за ними следом, до меня неожиданно дошло, что я пьян, по-настоящему пьян, что голова моя пылает, что я ухмыляюсь и шатаюсь от выпитого, — в первый раз со времен армии, что я напился вместе с дюжиной ребят и парочкой девчонок — прямо здесь, в отделении Большой Сестры! Пить, и бегать, и смеяться, и ухаживать за женщинами прямо в центре самого непобедимого оплота Комбината! Я стал вспоминать прошедшую ночь, то, что мы делали, и почти не мог себе поверить. Мне понадобилось все время напоминать себе, что это происходило на самом деле, что мы сделали это. Мы просто открыли окно и впустили все это сюда, как впускают свежий воздух. Возможно, Комбинат и не был всемогущим. И кто остановит нас, кто запретит нам сделать все это снова, теперь, когда мы поняли, что можем? И кто удержит нас от того, чтобы делать что-то другое, все, что нам хочется? Я пришел в такое хорошее расположение духа, думая обо всем этом, что издал радостный вопль и схватил Макмерфи и Сэнди, которые шли впереди меня. Я сгреб их обоих, держащихся за руки, и бежал всю дорогу до дневной комнаты, а они вопили и пинались, словно дети. Я чувствовал себя превосходно.

Полковник Маттерсон снова поднялся с постели, с ясными глазами и полный нравоучительных уроков, и Скэнлон отвез его обратно в кровать. Сефелт, Мартини и Фредериксон заявили, что они лучше тоже отправятся баиньки. Макмерфи, я, Хардинг, девушка и мистер Теркл остались, чтобы прикончить сироп от кашля и решить, что теперь делать со всем этим бардаком, который мы устроили в отделении. Мы с Хардингом вели себя так, словно были единственными, кто по-настоящему успокоился об этом; Макмерфи и большая девушка просто сидели там, тянули сироп, и улыбались, и потихоньку пожимали друг другу руки в темноте, а мистер Теркл отрубился и заснул. Хардинг сделал все возможное, чтобы пробудить в них совесть.

— Это всецело твоя вина, что данная ситуация стала исчерпывающе запутанной, — сказал он.

— Трепло, — отозвался Макмерфи.

Хардинг хлопнул рукой по столу:

— Макмерфи, Теркл, похоже, вы не понимаете, что произошло здесь сегодня ночью. В отделении для душевнобольных, в отделении мисс Рэтчед! Вон будет просто... выше крыши!

Макмерфи укусил девушку за мочку уха. Теркл кивнул, открыл один глаз и сказал:

— Это правда. Завтра она нам устроит, точно.

— Однако у меня имеется план, — не унимался Хардинг.

Он поднялся на ноги, сказал, что Макмерфи, очевидно, зашел слишком далеко, чтобы лично справиться с ситуацией, так что кто-то еще должен взять это бремя на себя. И пока говорил, он выпрямлялся все больше и трезвел на глазах. Он говорил серьезным настойчивым голосом, а его руки двигались, рисуя в воздухе подтверждения словам. Я был рад, что он здесь и что он возьмет все на себя.

Его план состоял в том, что мы должны связать Теркла и сделать вид, будто Макмерфи оглушил его, связал с помощью, ну, скажем, полос разорванной простыни, отобрал у него ключи, вломился в аптеку, разбросал лекарства, устроил разгром среди папок, чтобы позлить Большую Сестру, — в это она поверит, — а потом отпер решетку и сбежал.

Макмерфи сказал, что все это выглядит словно телевизионный сценарий, настолько смехотворно, что вполне может сработать, и одарил Хардинга комплиментом за ясность ума. Хардинг объяснил, что у плана имеются безусловные преимущества: благодаря ему остальные ребята будут избавлены от проблем с Большой Сестрой, а Теркл сохранит работу, а кроме того, это позволит Макмерфи покинуть отделение. Он сказал, что Макмерфи мог бы попросить девушек отвезти его в Канаду, Тихуану или даже в Неваду, если он того хочет, и там он будет в полной безопасности; полиция никогда особо не усердствует, чтобы поймать тех, кто отправляется в самоволку из больницы, потому что девяносто процентов из них всегда через пару дней возвращаются, сломленные, пьяные, в поисках свободной койки и дармового питания. Некоторое время мы говорили об этом и заодно прикончили сироп от кашля. В конце концов мы замолчали. Хардинг уселся на место.

Макмерфи перестал обнимать девушку и перевел взгляд с меня на Хардинга, размышляя. На его лице снова появилось это странное, усталое выражение. Он спросил, а как насчет нас, почему бы нам не взять свою одежду и не смыться отсюда с ним вместе?

— Я еще не готов, Мак, — сказал ему Хардинг.

— Тогда почему ты думаешь, что я готов?

Некоторое время Хардинг в молчании смотрел на него и улыбался, а потом сказал:

— Нет, ты не понимаешь. Я буду готов через пару недель. Но я хочу сделать это сам, лично, выйти прямо через парадную дверь, со всеми этими канцелярскими бумажками и прочими сложностями. Я хочу, чтобы моя жена ждала меня в машине как раз вовремя, чтобы отвезти. Я хочу, чтобы они знали, что я способна это.

Макмерфи кивнул:

— А как насчет тебя, Вождь?

— Думаю, я в порядке. Просто пока не знаю, куда я хотел бы отправиться. И кто-то должен остаться здесь на пару недель после твоего ухода — присмотреть, чтобы все не соскользнуло обратно.

— А как насчет Билли, Сефелта, Фредериксона и остальных?

— Я не могу говорить за них, — сказал Хардинг. — У них свои проблемы, как и у всех нас. Они во многих отношениях — больные люди. Но в конце концов, главное во всем этом — следующее: сейчас они — больные. Но больше не кролики, Мак. Может быть, однажды они станут здоровыми людьми. Не могу сказать.

Макмерфи обдумывал его слова, глядя на тыльную сторону своих ладоней. Затем снова посмотрел на Хардинга:

– Хардинг, что это такое? Что случилось?

– Ты имеешь в виду все это?

Макмерфи кивнул.

Хардинг покачал головой:

– Не думаю, что смогу дать тебе ответ. О, я, конечно, в состоянии привести тебе фрейдистские причины, всякие причудливые слова, которые звучат тем убедительнее, чем больше ты их произносишь. Но то, что тебе нужно, – это причина причины, и я не в силах тебе ее объяснить. Да и никто другой, правду сказать. Моя личная причина? Вина. Стыд. Страх. Самоуничижение. Я в самом раннем детстве открыл, что... если быть добрым, то я бы сказал, – отличаюсь от других. Это лучшее слово, более общее, чем какое-нибудь другое. Я позволял себе определенные вещи, которые наше общество считает постыдными. И заболел. Дело было не в вещах, я не думаю, что в них, дело было в ощущении, будто огромный, беспощадный указующий перст общества устремлен на меня – и величественный голос миллионов скандирует: «Стыд. Стыд. Стыд!» Таков образ действия общества по отношению ко всякому, кто от него отличается.

– Я отличаюсь, – сказал Макмерфи. – Но почему со мной ничего такого не случилось? Люди обзывали меня психом то по одному поводу, то по другому, насколько я могу припомнить, но вот посмотри-ка – это не свело меня с ума.

– С ума тебя сводит совсем не это. Я не думаю, что моя причина – единственная. Хотя одно время, пару лет тому назад, в свои лучшие годы, я всерьез полагал, что общественное порицание – единственная сила, которая ведет тебя по дороге к безумию, но ты заставил меня пересмотреть мою теорию. Есть что-то еще, что ведет людей, сильных людей вроде тебя, вниз по этой дороге.

– Да? Не то чтобы я признавал, что иду по этой дороге, но что же это такое – что-то еще?

– Это – мы. – Хардинг описал перед собой рукой мягкий белый круг и повторил: – Мы.

Макмерфи в сердцах произнес: «Трепло!», ухмыльнулся и встал, подняв за собой девушку. Украдкой бросил взгляд на тусклые часы:

– Почти пять. Мне нужно немного вздремнуть перед большим побегом. До наступления дня еще, как минимум, два часа; давай позволим Билли и Кэнди побыть вместе еще немножко. Я смоюсь в шесть. Сэнди, сладкая моя, может быть, часок в спальне нас немного протрезвит? Что ты на это скажешь? Завтра нам предстоит долгая дорога, куда-нибудь в Канаду или в Мексику, или куда-нибудь в этом роде.

Теркл, Хардинг и я тоже поднялись. Всех нас все еще здорово качало, мы все еще были пьяны, но какое-то зрелое и печальное чувство пробивалось через туман опьянения. Теркл сказал, что выгонит Макмерфи с девчонкой из кровати через час.

– Разбуди и меня тоже, – попросил Хардинг. – Я хочу стоять у окна с серебряной пулей в руке и спрашивать: «Чё там за чувак в маске?», когда ты ускачешь вдаль...

– Черт вас побори, ребята, оба отправляйтесь в кровать, и я даже тени вашей больше не желаю видеть. Понятно?

Хардинг кивнул, но ничего не ответил. Макмерфи протянул ему руку, и Хардинг ее пожал. Макмерфи откинулся назад, словно ковбой, вываливающийся из салуна, и подмигнул:

– Приятель, ты снова сможешь стать самым главным психом среди ненормальных, когда Большой Мак освободит тебе дорогу.

Он повернулся ко мне и нахмурился:

– Не знаю, что может выйти из тебя, Вождь. Тебе нужно подыскать себе дело по душе. Может быть, ты сможешь найти работу, изображая плохого парня на телевизионных соревнованиях по армрестлингу. Но в любом случае не вешай нос.

Я пожал ему руку, и все мы двинулись в спальню. Макмерфи велел Терклу разорвать пару простыней и решить, какими узлами он предпочитает, чтобы мы его связали. Теркл сказал, что сделает это. Я улегся в кровать в сером свете спальни и слышал, как Макмерфи с девушкой тоже легли. Я чувствовал себя одновременно оочечневшим и согревающимся. Я слышал, как мистер Теркл открыл в коридоре дверь в обитую войлоком комнату, и слышал долгий, громкий звук отрыжки, пока дверь закрывалась за ним. Мои глаза привыкли к темноте, и я видел, как Макмерфи и девушка устраиваются, укладываясь поудобнее, больше похожие на двух уставших маленьких детей, чем на взрослых мужчину и женщину, которые улеглись вместе в кровать, чтобы заняться любовью.

И именно так и обнаружил их черный парень, когда явился включать свет в нашей спальне в шесть тридцать.

* * *

Я довольно много думал о том, что случилось потом, и пришел к выводу, что это должно было случиться, и случилось бы тем или иным образом, в то время или в другое, если бы даже мистер Теркл разбудил Макмерфи и двух девушек и выпустил их из отделения, как и было задумано. Большая Сестра каким-нибудь образом все равно узнала бы о том, что произошло, может быть, ей достаточно было бы поглядеть на лицо Билли, и она сделала бы то, что сделала, находился бы Макмерфи в отделении или уже нет. И Билли сделал бы то, что сделал, и Макмерфи все равно услышал бы об этом и вернулся.

Вынужден был вернуться, потому что не смог бы сидеть за стенами больницы, играя в покер или рено в Карсон-Сити или где-нибудь еще, и позволить Большой Сестре сделать последний ход и сыграть свою последнюю партию, позволить ей проделать все это прямо у него под носом. Это было похоже на то, что он подписался на всю игру и у него не имелось способа нарушить сделку.

Как только мы начали подниматься с кровати и бродить по отделению, история о том, что произошло ночью, стала распространяться, словно огонь, она передавалась вполголоса от одного к другому. «Чтоони сделали?» – спрашивал кто-нибудь, кто не принимал в этом участие. «Проститутка? В

спальне? Господи Иисусе». И не только проститутка, сообщали ему другие, но и нажравшаяся до положения риз. Макмерфи собирался отправить ее подальше, прежде чем явится дневная смена, но слишком крепко спал. «Да ладно, что за пургу вы нам тут гоните?» Ничего не пургу. Чистая правда – все до последнего слова. Я сам в этом участвовал.

Те, кто принимал участие в нашей ночной оргии, принялись рассказывать о ней с оттенком тихой гордости и удивления, так, как рассказывают люди, которые видели, как горел большой отель или как прорвало плотину, – очень твердо и уважительно, потому что подобные аварии происходят не каждый день, – но чем дольше они рассказывали, тем меньше твердости было в их голосе. Всякий раз, как Большая Сестра и ее торопливые черные ребята обнаруживали что-нибудь новенькое вроде пустой бутылки из-под сиропа от кашля или пару кресел на колесиках в конце коридора, похожих на неоседланных лошадок в луна-парке, это вызывало в памяти очередную порцию ночных воспоминаний, которые непременно тут же нужно было рассказать ребятам, которые в этом не участвовали, и которые могли посмаковать ребята, которые там были. Черные санитары согнали всех в дневную комнату. Сейчас Хроники и Острые были похожи друг на друга, сбитые в кучу общим ощущением смущения и восторга. Два старых Овоща сидели в своих мокрых кроватях, хлопая глазами и жуя деснами. Все еще были в пижамах и шлепанцах, кроме Макмерфи и девушки; она была почти одета, не считая туфель и нейлоновых чулок, которые теперь были переброшены у нее через плечо, а Макмерфи был в своих черных трусах с белыми китами. Они сидели рядышком на диванчике, держась за руки. Девушка снова задремала, а Макмерфи прислонился к ее плечу с удовлетворенной и сонной ухмылкой.

Наша мрачная тревога почему-то уступила место радости и веселью. Когда Большая Сестра обнаружила кучку пилюль, которыми Хардинг посыпал Сефелта и девушку, мы принялись фыркать и хрипеть, чтобы удержаться от смеха, а к тому времени, как они обнаружили мистера Теркла в обитой войлоком комнате и вывели его, моргающего и стонущего, обернутого сотней ярдов рваных простыней, словно мумия с похмелья, мы заревели. Большая Сестра восприняла наше обострившееся чувство юмора без особого энтузиазма – на лице ее красовался лишь след от маленькой приклеенной улыбки; и каждая смешинка исчезала в глубине ее глотки до тех пор, как нам не стало казаться, что в любую минуту она может рвануть, словно надутый пузырь.

Макмерфи перевесил свою голую ногу через подлокотник дивана, надвинул пониже кепку, чтобы свет не резал покрасневшие глаза, и продолжал облизываться языком, который выглядел так, словно его покрыли шеллаком из этого сиропа от кашля. Он выглядел больным и ужасающе усталым, прижимал кончики пальцев к вискам и зевал, но, как бы плохо ему тогда ни было, он все еще сохранял ухмылку и один или два раза зашел даже так далеко, что громко рассмеялся над парочкой вещей, которые продолжала обнаруживать Большая Сестра.

Когда она прошла в комнату, чтобы позвонить в главное здание и доложить об отставке мистера Теркла, Теркл и девушка Сэнди воспользовались случаем, снова отперли решетку, помахали нам на прощание и припустили вприпрыжку через двор, спотыкаясь и оскальзываясь на влажной, сверкающей на солнце траве.

– Он не закрыл за собой решетку, – сказал Хардинг Макмерфи. – Давай, беги за ними!

Макмерфи застонал и открыл один глаз, налитый кровью, словно насиженное яйцо:

– Ты шутишь? Я не смогу даже головупротиснуть в это окно, оставьте меня в покое.

– Друг мой, не могу поверить, что ты целиком и полностью отдаешь себе отчет...

– Хардинг, черт бы побрал тебя и твои умные слова в придачу; все, в чем я целиком и полностью отдаю себе отчет сегодня утром, что я все еще наполовину пьян. И болен. Правду сказать, я думаю, что ты тоже все еще пьян. Вождь, а как насчет тебя – ты все еще пьян?

Я сказал, что мои щеки и нос ничего не чувствуют, если это, конечно, может что-то означать.

Макмерфи разок кивнул и снова закрыл глаза; он уронил голову на грудь и соскользнул ниже на стуле, его подбородок уперся в грудь. Он чмокнул губами и улыбнулся, словно во сне.

– Боже, – сказал он, – вы до сих пор пьяные.

Хардинг все еще был озабочен. Он продолжал твердить, что лучшее, что сейчас может сделать Макмерфи, – это быстренько одеться, пока старушка Ангел Милосердия сидит в комнате и названивает доктору, чтобы доложить ему об обнаруженных ею зверствах, однако Макмерфи продолжал повторять, что нечего особо волноваться; он ведь не сделал ничего, что было бы хуже его прежних прегрешений, так ведь?

– Я устроил им самую лучшую вечеринку, – сказал он.

Хардинг умыл руки и отошел, предсказывая верную гибель.

Один из черных парней заметил, что решетка отперта, запер ее и отправился на сестринский пост за большой конторской книгой, вернулся обратно, проводя пальцем по списку, громко читая вслух имена тех, кого узнавал. Список был составлен в алфавитном порядке, только задом наперед, чтобы вычеркивать убывших, так что он добрался до имени Билли только под самый конец. Он молча оглядел комнату, удерживая палец у последнего имени в книге.

– Биббит. Где Билли Биббит? – Его глаза расширились. Он думал, что Билли ускользнул прямо из-под его носа, и о том, мог ли он его поймать. – Кто видел, куда делся Билли Биббит, вы, чертовы тупицы?

И тут ребята вспомнили, где Билли; в толпе снова раздались шепот и смешки.

Черный парень вернулся на пост, и мы видели, как он разговаривает с Большой Сестрой. Она с размаху бросила трубку на рычаг и вышла из двери вместе с черным парнем, который бежал позади; ее прическа растрепалась под белой шапочкой, и пряди свисали вдоль лица, словно серые сопли. Между бровей и под носом у нее выступили капельки пота. Она потребовала, чтобы мы сказали ей, куда делся беглец. Ответом стал дружный смех, и ее глаза обежали круг мужчин.

– Итак? Он не сбежал, верно? Хардинг, он все еще здесь, в отделении, не так ли? Скажите мне, Сефелт, скажите мне!

С каждым словом она выстреливала в них взглядом, вонзая стрелы в лица, но у мужчин уже был иммунитет к ее яду. Их глаза встречали ее взгляд; их ухмылки издевательски копировали былую уверенную улыбку, которую она утратила.

– Вашингтон! Уоррен! Идемте со мной, проверим комнаты.

Мы поднялись и последовали за спешащей тройцей, которая открывала по очереди лабораторию, ванную комнату, кабинет доктора... Скэнлон прикрывал улыбку узловатой рукой и шептал:

– Э, ну разве не смешно выйдет со стариной Билли?

Мы все кивали.

– И Билли не единственный, с кем сыграют шутку, я только теперь об этом подумал; помните, кто там с ним?

Большая Сестра добралась до двери изолятора – в самом конце холла. Мы толкались, чтобы не пропустить зрелища, толпились и вытягивали шеи из-за спины Большой Сестры и двух черных ребят, пока она отпирала замок и открывала дверь. В комнате, лишенной окон, было темно. В темноте раздался писк и шорох, а потом Большая Сестра вошла в комнату и обрушила свет прямо на Билли и девушку, мигающих сослепу на этом матрасе на полу, словно две совы в гнезде. Большая Сестра проигнорировала взрыв смеха у себя за спиной.

– Уильям Биббит! – Она изо всех сил старалась, чтобы ее голос был холодным и твердым. – Уильям... Биббит!

– Доброе утро, мисс Рэтчед, – сказал Билли, не делая даже попытки встать и застегнуть пижаму. Он взял руку девушки в свою и ухмыльнулся: – Это Кэнди.

Язык Большой Сестры колыхнулся в ее костлявой глотке:

– О, Билли, Билли, Билли, – мне так стыдно за тебя.

Билли еще не до конца проснулся, чтобы отреагировать на ее попытки его пристыдить, а девушка возилась рядом, пытаясь отыскать чулки под матрасом, двигаясь медленно и неуверенно. Она казалась такой сонной и теплой. Наконец она оставила свое сонное ощупывание, подняла глаза и улыбнулась ледяной фигуре Большой Сестры, стоящей со скрещенными руками, затем вдруг решила посмотреть, нет ли на ее свитере пуговиц, и снова принялась вытаскивать нейлоновые чулки, застрявшие между матрасом и полом. Оба они двигались словно толстые коты, от пуза напившиеся теплого молока, разомлевшие на солнышке; полагаю, что они тоже были еще немного пьяны.

– О, Билли, – сказала Большая Сестра так, словно была до такой степени разочарована, что могла сорваться на крик. – Подобная женщина. Дешевая! Низкая! Крашенная...

– Куртизанка? – продолжил Хардинг. – Иезавель? – Большая Сестра обернулась и попыталась пригвоздить его взглядом, но Хардинг продолжал: – Не Иезавель? Нет? – Он в раздумье почесал затылок. – А как насчет Саломеи? Она – легендарная злодейка. А может быть, подойдет слово «бабенка». Ну, я просто пытаюсь помочь.

Большая Сестра повернулась обратно к Билли. Он сосредоточился на том, чтобы подняться на ноги, перевернулся и встал на четвереньки, бодая воздух, словно корова, затем оттолкнулся руками, встал на одну ногу, потом на другую и выпрямился. Он выглядел польщенным своим успехом, словно и не замечая всех нас, столпившихся у двери, поддразнивающих его криками «ура!».

Громкие разговоры и смех вились вокруг Большой Сестры. Она перевела взгляд с Билли и девушки на нашу группу, стоящую у нее за спиной. Лицо, сделанное из эмали и пластика, оседало. Она закрыла глаза и напряглась, чтобы унять дрожь, собираясь с силами. Она знала, что это было, она стояла, прислонившись спиной к стене. Когда ее глаза открылись снова, они были очень маленькими и неподвижными.

— Одно, что огорчает меня, Билли, — сказала она, и я мог слышать, как изменился ее голос, — как твоя бедная мать перенесет подобное.

Она получила ту реакцию, которой добивалась. Билли вздрогнул и прижал руку к щеке, словно она была обожжена кислотой.

— Миссис Биббит всегда так гордилась твоим благоразумием. Я знаю, она и сейчас гордится. А этот поступок ужасно ее расстроит. А ты знаешь, что происходит, когда она расстраивается, Билли; ты знаешь, как сильно бедная женщина может заболеть. Она очень чувствительна. В особенности в том, что касается ее сына. Она всегда с такой гордостью говорила о тебе. Она всег..

— Нет! Нет! — Его рот работал изо всех сил. Он потряс головой, умоляя ее: — Вам н-не н-н-нужно!

— Билли, Билли, Билли, — сказала она. — Мы с твоей матерью — старые подруги.

— Нет! — закричал он. Его голос царапал белые голые стены изолятора. Он поднял подбородок, чтобы кричать прямо в лунообразный светильник на потолке. — Н-н -нет!

Мы перестали смеяться. Мы смотрели, как Билли, складываясь, оседает на пол, голова запрокидывается, колени выдвигаются вперед. Он водил руками по зеленой штанине. Он тряс головой в панике, словно мальчишка, которому пригрозили поркой, как только срежут ивовый прут. Большая Сестра прикоснулась к его плечу, чтобы успокоить. От ее прикосновения он дернулся, как от удара.

— Билли, мне бы не хотелось, чтобы она поверила во что-нибудь такое — но что остается думать?

— Н-н-н-не г-г-говорите, м-м-миссис Рэтчед. Н-н-н-не..

— Билли, мне придется ей все сказать. Мне ненавистна мысль о том, что ты мог вести себя подобным образом, но, в самом деле, что еще мне остается думать? Я нахожу тебя на матрасе, с подобного сорта женщиной.

— Нет! Я этого не д-д-делал. Я просто.. — Его рука снова дернулась к щеке и застыла там. — Это она делала.

— Билли, эта девушка не могла затащить тебя сюда силой. — Большая Сестра покачала головой. — Пойми, я бы с радостью поверила во что угодно ради твоей бедной матери.

Рука поползла по его щеке, оставляя длинные красные следы.

— Она д-д-делала. — Билли огляделся вокруг. — И М-м-м-макмерфи! Он делал. И Хардинг! И все ост-т-тальные! Они д-д-дразнили меня, обзывали меня!

Теперь его лицо обратилось к Большой Сестре. Он не смотрел ни в одну сторону, ни в другую, только прямо ей в лицо, словно оно состояло не из обычных черт, словно оно было спиралью, гипнотизирующей спиралью сливочно-белого, голубого и оранжевого цветов. Он сплотнул и подождал, не

скажет ли она что-нибудь в ответ, но она молчала; ее умения, ее фантастическая механическая сила возвращалась к ней, наполняя ее, анализируя ситуацию и докладывая ей, что все, что ей нужно делать, – это сохранять спокойствие.

– Они з-з-заставили меня! Пожалуйста, мисс Рэтчед, они зас-зас-ЗАС!..

Она проверила радиус своего действия, и Билли уронил лицо, всхлипывая от облегчения. Она положила руку ему на шею и притянула его щеку к своей накрахмаленной груди, поглаживая его плечо, одновременно окидывая нашу группу медленным, презрительным взглядом.

– Все в порядке, Билли. Все в порядке. Никто больше не будет тебя обижать. Все в порядке. Я объясню твоей маме.

Она продолжала смотреть на нас. Было так странно слышать этот голос, мягкий, успокаивающий и теплый, словно подушка, выходящий из губ, твердых, словно фарфор.

– Все хорошо, Билли. Пойдем со мной. Ты можешь подождать в кабинете доктора. Нет причин принуждать тебя сидеть целый день в дневной комнате с этими... твоими друзьями.

Она отвела его в кабинет, поглаживая склоненную голову и повторяя: «Бедный мальчик, бедный маленький мальчик», пока мы в молчании не побрели обратно по коридору и не уселись в дневной комнате, не глядя друг на друга и ни слова не говоря. Макмерфи сел последним.

Хроники, встречавшиеся нам на пути, переставали кружиться при нашем появлении и забивались в свои щели. Я уголком глаза посмотрел на Макмерфи, стараясь, чтобы это не было заметно. Он сидел на стуле в углу, давая себе секундную передышку перед тем, как вступить в следующий раунд – в длинном ряду следующих раундов. Того, с чем он боролся, вы не могли прекратить раз и навсегда. Все, что вы могли сделать, – это продолжать бороться до тех пор, пока у вас не кончатся силы, и тогда кто-то другой займет ваше место.

Телефон на сестринском посту разрывался от звонков, большое количество начальства явилось, чтобы увидеть свидетельства преступления. Когда, наконец, явился доктор собственной персоной, каждый из этих людей наградил его таким взглядом, словно происшествие спланировал он лично, или, по крайней мере, все сделано с его одобрения и согласия. Он побелел и трясся под их взглядами. С первого взгляда было ясно, что он уже слышал большую часть того, что произошло здесь, в его отделении, но Большая Сестра снова изложила ему все – медленно, во всех деталях, так что мы тоже могли слышать. Теперь мы слушали как надо – мрачно, не перешептываясь и не хихикая. Она говорила, доктор кивал и вертел свои очки, моргая глазами, до того водянистыми, что я боялся, как бы он не забрызгал ее. Она закончила, рассказав ему о Билли и о трагическом опыте, через который мы заставили пройти бедного мальчика.

– Я оставила его у вас в кабинете. Судя по его состоянию, предлагаю вам посмотреть его прямо сейчас. Он прошел через ужасное испытание. Я содрогаюсь при мысли о том, какой вред мог быть нанесен бедному мальчику. – Она подождала, пока доктор не содрогнется тоже. – Я думаю, вы должны пойти и поговорить с ним. Он нуждается в большом сочувствии. Его состояние достойно сожаления.

Доктор кивнул снова и зашагал к своему кабинету. Мы смотрели, как он уходит.

— Мак, — сказал Скэнлон. — Послушай, ты же не думаешь, что любого из нас можно взять на такой ерунде? Это плохо, но мы знаем, кого следует винить, — мы не виним тебя.

— Нет, — сказал и я, — ни один из нас тебя не винит.

И от всей души пожалел, что не прикусил язык, когда увидел, как он на меня посмотрел. Он закрыл глаза и расслабился. Было похоже, что он чего-то ждет. Хардинг поднялся и прошел мимо него и уже открыл было рот, желая что-то сказать, когда вопль доктора прорезал тишину коридора, уничтожая общий ужас, и понимание отразилось на лицах у всех.

— Сестра! — вопил он. — Ради бога, сестра!

Она побежала, и трое черных парней побежали следом за ней по коридору — туда, откуда все еще кричал доктор. Но ни один из пациентов не поднялся на ноги. Мы знали, что нам больше делать нечего, а только сидеть и ждать, когда она войдет в дневную комнату, чтобы сообщить нам то, о чем мы все и так знали, — о событии, которое должно было произойти.

Она направилась прямо к Макмерфи.

— Он перерезал себе горло, — сказала она и подождала в надежде на ответ. Макмерфи не поднял на нее глаз. — Он открыл стол доктора, нашел кое-какие инструменты и перерезал себе горло. Бедный, жалкий, непонятый мальчик убил себя. И сейчас он сидит там, в кресле доктора, с перерезанным горлом. — Она подождала снова, но он все еще не поднимал глаз. — Сначала Чарльз Чесвик, а теперь Уильям Биббит! Надеюсь, вы, наконец, удовлетворены. Играть человеческими жизнями — вести азартную игру с человеческими жизнями, — словно вы думаете, что вы — Бог!

Она повернулась и ушла на сестринский пост, закрыла за собой дверь, оставив после себя пронзительный, убийственно холодный звук, звенящий в трубках дневного света у нас над головами.

Моей первой мыслью было попытаться остановить его, сказать, что он всегда выигрывал, и пусть она получит этот свой последний раунд, но другая, более важная мысль целиком и полностью уничтожила первую. Я неожиданно с кристальной ясностью осознал, что ни мне, ни кому бы то ни было из нас его не остановить. Ни доводы Хардинга, ни моя попытка удержать его силой, ни поучения старого полковника Маттерсона, ни хватка Скэнлона, ни все мы вместе не сможем подняться и остановить его.

Мы не могли остановить его, потому что были теми, ради кого он все это делал. Его толкала вперед не Большая Сестра, это была наша нужда, которая заставила его медленно подняться со стула, упершись обеими своими большими руками в кожаные подлокотники, оттолкнуться, подняться и встать, словно один из этих киношных зомби, послушных приказу, посылаемому им сорока хозяевами. Это ради нас он продолжал держаться неделями, оставался стоять после того, как его руки и ноги отказывались его держать, мы неделями заставляли его подмигивать, и ухмыляться, и смеяться, и продолжать играть еще долго после того, как его чувство юмора иссохло между двумя электродами.

Мы заставили его встать, рывком подтянуть свои черные трусы, словно это были бриджи для верховой езды, и сдвинуть назад его черную кепку, — одним пальцем, словно это был десятизарядный «стетсон», медленными, механическими жестами, — и, когда он двинулся вперед по полу, можно было слышать, как железом звенят его голые пятки, выбивая искры на кафеле.

И только в последний миг – после того, как он выбил стеклянную дверь, ее лицо повернулось к нему в ужасе, навеки похоронившем любые другие маски, которые она могла бы попытаться использовать снова. И она закричала, когда он схватил ее и сорвал с нее халат, – спереди, сверху донизу, она закричала снова, когда два мозолистых круга двинулись к ее шее, становясь все больше и больше, они стали больше, чем кто-либо когда-либо мог себе представить, теплые и розовые на просвет. Только в последний миг, когда начальство осознало, что три черных парня не собираются ничего предпринимать, а лишь стоят и смотрят, и что они не справятся с ним без их помощи, – только тогда доктора, надзиратели и сестры рычагом отвели эти тяжелые красные пальцы от белой плоти ее шеи, которые впились в нее так, словно это были ее собственные кости, с пыхтением оторвали его от нее, и только после этого в его лице показались первые признаки того, что он может быть другим, а не только здравомыслящим, упрямым, настойчивым человеком, выполняющим тяжелую обязанность, дело, которое в конечном счете должно быть сделано, нравится ему это или нет.

Он издал крик. В последний раз, падая на спину и на секунду показав нам свое лицо, рванувшись вперед, прежде чем его задавила на полу куча белых халатов, он позволил себе крикнуть.

Звук животного, полного страха и загнанного в угол, звук ненависти и отказа от борьбы, открытого неповиновения. Если вы когда-нибудь загоняли енота, или кугуара, или рысь, то это было похоже на последний звук, которое загнанное, подстреленное и падающее животное издает, когда собаки набрасываются на него, когда ему, наконец, больше нет ни до чего дела, кроме самого себя и смерти.

Я болтался по отделению еще пару недель, чтобы посмотреть, что будет дальше. Все изменилось. Сефелт и Фредериксон выписались вместе, восстав против медицинских советов, а через два дня еще трое Острых ушли, а еще шестерых перевели в другое отделение. Было большое расследование насчет вечеринки в отделении и насчет смерти Билли, и доктору дали понять, что его прошение об отставке будет принято благосклонно, а он послал их куда подальше, – если захотят, могут его уволить.

Большая Сестра неделю лежала в терапии, так что некоторое время в отделении заправляла маленькая сестра-японка из буйного, – это дало ребятам шанс многое изменить в политике отделения. К тому времени, когда Большая Сестра вернулась, Хардинг даже добился того, что нам снова отперли ванную комнату, и теперь сам вел игру и принимал ставки, стараясь, чтобы его воздушный, тонкий голосок звучал так же, как рев Макмерфи. Он как раз сдавал, когда ее ключ повернулся в замке.

Мы все покинули ванную комнату и вышли в коридор, чтобы встретить ее и спросить о Макмерфи. Когда мы приблизились, она отпрыгнула на два шага, и на секунду я подумал, что она сейчас побежит. Ее лицо было синим и распухшим и с одной стороны потеряло форму, потому что один глаз был полностью закрыт, а шею поддерживал тяжелый бандаж. И новая белая форма. Некоторые из ребят захихикали над ее передком: поскольку эта форма была меньше размером, более туго обтягивала ее грудь и была накрахмалена сильнее, чем ее старый халат, она уже больше не могла скрыть того факта, что мисс Рэтчед – женщина.

Улыбаясь, Хардинг подошел ближе и спросил, что слышно о Маке.

Она вытащила из кармана халата маленький блокнот и карандаш, написала: «Он вернется» – и пустила его по кругу. Бумага дрожала у нее в руке.

– Вы уверены?

Прочитав написанное, Хардинг жаждал подтверждения. Мы слышали всякое, говорили, что он вырубил двух санитаров в буйном, забрал их ключи и сбежал, что его отправили назад в исправительную колонию, – и даже что сестра, которая теперь занималась им, пока они не найдут нового доктора, назначила ему специальную терапию.

– Вы точно знаете? – повторил Хардинг.

Большая Сестра снова вытащила свой блокнот. Суставы у нее не гнулись, и руки, которые стали белее, чем когда-либо, летали над блокнотом, словно руки тех цыган из пассажа, которые за пенни готовы предсказать вам удачу. «Да, мистер Хардинг, – написала она, – я бы не стала говорить, если бы не была уверена. Он вернется».

Хардинг прочел бумажку, затем разорвал ее и бросил в нее обрывки. Она вздрогнула и подняла руку, чтобы защитить от бумаги поврежденную часть своего лица.

– Леди, я думаю, что в вас всякого дерьма – через край.

Она уставилась на него, и ее руки на секунду взлетели над блокнотом, но потом она повернулась и прошла прямо на сестринский пост, засовывая карандаш и блокнот в карман халата.

– Гм, похоже, наша беседа была несколько беспорядочной, – произнес Хардинг. – Но, честно говоря, когда вам сообщают, что в вас полно дерьма, что вы можете написать в ответ?

Она попыталась привести свое отделение в порядок, но это было трудно, потому что призрак Макмерфи все еще бродил по коридорам, открыто смеялся на собраниях и пел в уборной. Она больше не могла править при помощи своей бывлой силы, во всяком случае выписывая замечания на листках бумаги. Она теряла своих пациентов – одного за другим. После того как Хардинг выписался и его увезла жена, а Джорджа перевели в другое отделение, из нашей группы, той, что была на рыбалке, осталось только трое – я, Мартини и Скэнлон.

Я пока не хотел уходить, потому что Большая Сестра казалась мне слишком уверенной в себе; похоже, она ожидала еще одного раунда, и я оставался на тот случай, если это произойдет. И однажды утром – к тому времени Макмерфи отсутствовал уже три недели – она сделала свой последний ход.

Двери отделения открылись, и черные ребята везли каталку с табличкой в ногах, на которой было написано жирными черными буквами: «МАКМЕРФИ РЭНДЛ, ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПАЦИЕНТ», и под этими буквами было подписано чернилами: «ЛОБОТОМИЯ».

Они втокнули каталку в дневную комнату и оставили стоять у стены, рядом с Овощами. Мы стояли в ногах каталки, читая табличку, а затем посмотрели на другой конец, на голову, которая была вдавлена в подушку: венчик рыжих волос, окружающих молочно-белое лицо, и только вокруг глаз – огромные лиловые синяки.

Последовала минута молчания, а потом Скэнлон повернулся и сплкнул на пол:

– А-а-а, вот как, старая сука решила провести нас, говно собачье. Это не он.

– Ничего похожего на него, – сказал Мартини.

– Она что, думает, мы совсем тупые?

– О, но они, тем не менее, проделали неплохую работу, – заметил Мартини, придвигаясь к голове. – Посмотрите. Они нашли даже сломанный нос, и этот долбаный шрам, и даже бачки.

– Точно, – проворчал Скэнлон, – но черт!

Я протиснулся мимо других пациентов, чтобы стать рядом с Мартини.

– Точно, они сумели бы подделать такие штуки, как шрамы и сломанный нос, – сказал я. – Но они не могут подделать этот взгляд. В этом лице ничего нет. Просто один из магазинных манекенов, разве я не прав, Скэнлон?

Скэнлон сплюнул снова.

– Прав, черт побери. Вы сами видите, дело совершенно ясное. Всякий это может видеть.

– Посмотрите сюда, – сказал один из пациентов, поднимая простыню, – татуировки.

– Точно, – кивнул я, – они могут подделать татуировки. Но руки, а? Руки? Они не могут этого сделать. У него руки были огромные!

Остаток дня мы со Скэнлоном и Мартини насмеялись над тем, что Скэнлон называл дурацким облезлым представлением, лежащим на каталке, но шли часы, и опухоль у него на глазах начала опадать, и я видел, что все больше и больше ребят подходит, чтобы поглядеть на фигуру. Я видел, как они подходили, делая вид, что направляются к стеллажу с журналами или к фонтанчику для питья, но так, чтобы украдкой бросить еще один взгляд на его лицо. Я смотрел и пытался представить, что бы он сделал. Я был уверен только в одном: его нельзя оставлять вот так сидеть в дневной комнате, с именем, напечатанным на табличке, все те долгие двадцать или тридцать лет, чтобы Большая Сестра могла использовать его в качестве примера того, что может случиться с вами, если вы станете сопротивляться системе. В этом я был уверен.

В ту ночь я дождался, пока звуки в спальне не сообщат мне о том, что все уснули, и подождал, пока черные парни окончат обход. А потом повернул голову на подушке, так чтобы видеть соседнюю кровать. Я часами слушал его дыхание, потому что они ввезли каталку в спальню и переложили носилки на кровать. Я слышал, как легкие всхрипывают и останавливаются, а потом начинают работу снова, надеясь, что, пока я слушаю, они остановятся, – ради всего святого! – но похоже было, что этому не бывать.

В окно смотрела холодная луна, струящая в спальню свет, похожий на снятое молоко. Я сел в кровати, и моя тень упала поперек тела, словно разрезала его пополам между плечами и бедрами, оставив только черное пространство. Опухоль спала настолько, что глаза его открылись; они смотрели прямо в лунный свет, неспящие, потускневшие оттого, что были открыты так долго, не моргая, так что теперь походили на грязные запалы в запальной коробке. Я двинулся, чтобы поправить подушку, и глаза ухватили движение и последовали за мной, когда я встал и прошел несколько футов между кроватями.

Здоровый, крутой парень имел крепкую хватку к жизни. Он долго боролся против того, чтобы ее у него забрали, молотя вокруг руками и мечась из стороны в сторону так сильно, что я наконец вынужден был улечься сверху целиком, и ножницы его отбивающихся ног били по моим, пока я прижимал

подушку к лицу. Я лежал поверх этого тела, и мне показалось, что прошли дни, пока метание не прекратилось. Пока тело какое-то время не пролежало неподвижно, а потом один раз содрогнулось и затихло. Тогда я скатился с него. Я поднял подушку, и в лунном свете увидел, что выражение его лица не изменилось, оно осталось пустым, смертный конец был просто последней мукой. Я протянул большие пальцы и опустил веки и держал их так, пока они не застыли. А потом я лег в кровать.

Некоторое время я лежал, натянув простыню себе на лицо, и думал, что все сделал очень тихо, однако голос Скэнлона, свистящий с его кровати, дал мне понять, что не совсем.

– Не волнуйся, Вождь, – сказал он, – не волнуйся. Все в порядке.

– Заткнись, – прошептал я. – Спи давай.

Некоторое время было тихо, потом я снова услышал его свистящий шепот.

– Кончено? – спросил он.

Я сказал ему, что да.

– Господи Иисусе, – произнес он тогда, – она узнает. Ты это понимаешь, правда? Конечно, никто ничего не сможет доказать – любой может отбросить коньки после операции, как вот он отбросил, такое все время происходит, – но она узнает.

Я промолчал.

– Будь я на твоём месте, Вождь, я рвал бы отсюда когти. Да, сэр! Вот что я тебе скажу. Ты смываешься отсюда, а я скажу, что я видел, как он встал и ходил по спальне после того, как ушел, и таким образом тебя прикрою. Это – самый лучший выход, как думаешь?

– О да, что-то вроде этого. Просто попроси их открыть дверь и выпустить меня.

– Нет. Один раз он тебе показал, ты вспомнишь, если подумаешь. В ту, самую первую неделю. Помнишь?

Я ему не ответил, и он больше ничего не сказал, и в спальне снова наступила тишина. Я полежал еще несколько минут, а потом поднялся и стал одеваться. Одевшись, потянулся к тумбочке Макмерфи, вытащил его кепку и попытался ее натянуть. Она была мне слишком мала, и мне вдруг стало стыдно оттого, что я пытаюсь ее нацепить. Я бросил ее на кровать Скэнлона и вышел из спальни. Когда я выходил, он произнес:

– Не волнуйся, приятель.

Лунный свет, проникавший в ванную комнату через оконные решетки, освещал горбатый, тяжелый силуэт контрольной панели, поблескивал на хромовой арматуре и стеклянных водомерах так холодно, что я почти мог слышать, как они щелкнут при ударе. Я сделал глубокий вздох, наклонился и взялся за рычаги. Я расставил ноги и почувствовал, как тяжесть вдавила их в пол. Я расставил ноги шире и услышал, как проволоочки и соединения вырывает из пола. Хром охлаждал мою шею и голову. Я прислонился спиной к решетке, а потом отпустил и позволил силе инерции пронести панель сквозь решетку и стекло с великолепным треском. Стекло засверкало в лунном свете, словно чистая холодная вода, окропляющая спящую землю. Задышавшись, я одну секунду думал о том, что ухожу и оставляю Скэнлона и некоторых других ребят, но потом услышал в коридоре, как скрипят бегущие башмаки черных ребят, и,

положив руку на подоконник, спрыгнул вслед за панелью в море лунного света.

Я бежал через двор в том направлении, куда – я видел – бежала собака, в сторону шоссе. Я помню, что на бегу делал громадные прыжки, и мне казалось, что проходит слишком много времени, пока моя нога в очередной раз коснется земли. Я чувствовал, словно лечу. Свободен. Никто не станет беспокоиться, гоняться за тем, кто убежал в самоволку, я это знал, и Скэнлон сможет справиться с любыми вопросами насчет мертвого тела – нет никакой нужды нестись вот так. Но я не останавливался. Пробежал несколько миль, прежде чем смог остановиться и двинуться вдоль по насыпи к шоссе.

Меня подвез один парень, мексиканец, который направлялся на север с грузовиком, полным овец, и я рассказал ему такую замечательную историю о том, что я – профессиональный индейский борец, и мафия попыталась запереть меня в сумасшедшем доме, что он тут же остановился и дал мне кожаную куртку, чтобы прикрыть мою зеленую пижаму, а еще десять баксов на еду, пока я не доберусь автостопом до Канады. Прежде чем он уехал, я заставил его написать мне свой адрес и сказал ему, что пришлю деньги, как только скоплю немного.

Я мог сразу же ехать в Канаду, но подумал, что сделаю по дороге остановку в Колумбии. Мне хотелось побродить по Портленду и вдоль Худ-Ривер, побывать в Дэлз, чтобы посмотреть, не осталось ли там каких-нибудь ребят, которых я знал когда-то, кто не допился до полных чертиков. Мне хотелось узнать, что они поделывали с тех пор, как правительство попыталось купить их право быть индейцами. Я даже слышал, что кое-кто из племени принялся достраивать старые ветхие деревянные дома вокруг большой гидроэлектростанции, ценой в миллион долларов, и они все еще ловят лосося в водопаде. Я многое отдал бы, чтобы посмотреть на это. А больше всего мне снова хотелось увидеть страну, оставшуюся вокруг того, что было поглочено, просто чтобы опять прочистить себе мозги.

Я долго был в отъезде.

* * *

notes

Примечания

1

Дэлз – участок реки Колумбия в ущельях, одно из самых сложных мест для навигации и район, где были наиболее часты набеги индейцев. После сооружения плотины Бонневилла пороги скрылись под водой. (Примеч. ред.)

